

**БОРИС  
ПАНКИН**

---

**СТО  
ОБОРВАННЫХ  
ДНЕЙ**

ЭПОХА  
НМЧННАП

Оформление  
Л. Безрученкова

Панкин Б. Д.  
П63 Сто оборванных дней.— М. Совершенно секретно.  
1993.— 272 с.

О ста днях на посту министра иностранных дел СССР События после августа 1991 года, лица и маски, размышления и прогнозы

Книга рассчитана на широкого читателя

П 4804020000—007  
940(02)—93 без объявления

ББК 38

ISBN 5—85275—055—7

© Б. Д. Панкин, 1993 г.  
© Л. Е. Безрученков, оформление, 1993 г.

ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ — ДРАМАТИЧЕСКОЕ

Я и сейчас не могу себе дать в этом отчета — действительно ли было в голосе Горбачева, когда он позвонил мне в четыре часа дня 18 ноября, что-то такое, что заставило меня насторожиться? Или я домыслил это позднее? Но нет было, было нечто, если не в голосе, то в самом воздухе тех дней. Днем мы с ним принимали эмира Кувейта. Горбачев был как-то по-особому внимателен, даже ласков со мной. Постоянно ссылался в разговоре с эмиром на «нашего министра иностранных дел» и по каждому вопросу интересовался моим мнением. Но когда во время короткой паузы между переговорами и завтраком в честь высочайшего гостя я попытался обсудить с президентом несколько вопросов, он, обычно охотно принимавший такой способ ведения дел, предложил поговорить в более спокойной обстановке.

— Ты будешь у себя во второй половине дня? Добро, я тебе позвоню.

Позвоню — значит подниму телефонную трубку большого, цвета слоновой кости аппарата, на котором с помощью перфоленты выбито: министр иностранных дел.

Признаться, Президент не всегда был аккуратен в своих обещаниях. Да и дела, с которыми я к нему обратился, не были при всей их важности такими уж неотложными. Так что, вернувшись на Смоленскую и погрузившись, после собеседований с эмиром, во внутриминистерские дела, я совсем забыл о возможном звонке, и когда аппарат, точно такой же как у Президента, только с надписью «Горбачев» издал-таки свой характерный, сразу узнаваемый, не лишенный мелодичности звук, я внутренне встрепенулся.

— Не заседаешь? — спросил Горбачев. — Можешь подъехать?

Еще бы я не мог.

— Ну, давай подъезжай...

Черный ЗИЛ, из тех самых, что возили некогда членов Политбюро и потому назывались членовозами, домчал меня от Смоленской площади до Боровицких ворот буквально за пять минут.

Снова спрашивала себя, показалось мне это тогда или было на самом деле, но и постовые в Кремле козыряли как-то особенно старательно, и лифт на «Высоту» — так называли служебную резиденцию Президента — подали заблаговременно, и секретарь в приемной открыл двери к Горбачеву с особой предупредительностью.

Положение мое, министра иностранных дел, было по тогдашним меркам столь высоким, что усматривать в этих знаках внимания предвестие какого-то нового повышения или благоволения, было бы просто беспредметно. Если они что-то действительно и означали, то только сочувствие...

Так что когда Горбачев, встретив меня посередине кабинета и усадив в одно из кресел, традиционно стоявших перед его письменным столом, сказал:

Ты знаешь, мы все-таки подумали (кто бы это — мы, по нынешнему-то дефициту начальства? — Б. П.), что надо, чтобы Шеварднадзе вернулся.

Я, кажется, даже не удивился, чем немало озадачил собеседника. Что угодно он был готов, по-видимому, ожидать от меня, только не этого непонятного ему спокойствия.

Он говорил, что учреждает для меня должность государственного советника по международным вопросам, по американскому образцу, о том, что хочет, чтобы мы были вместе — он, Шеварднадзе и я, а я только и ждал, когда он закончит, чтобы сказать, что мне это не подходит.

Конечно,— сказал он, словно угадав мои мысли,— можно и в послы... Это пожалуйста... Ты же понимаешь, что для меня это...— жестом хозяина он провел рукой с востока на запад:— Хочешь Вашингтон, хочешь Париж...

— Лондон,— сказал я с видом человека, который, как я это и сам осознал лишь позднее, только и ждал, что ему вот-вот будет предложено что-то в этом роде.

Михаил Сергеевич был явно в некотором замешательстве. С одной стороны, он не мог, наверное, не испытывать облегчения от того, что я не собирался устраивать ему сцен, задавать ненужные вопросы, упрекать в несправедливости или, хуже того, в неблагодарности. С другой стороны, именно это, возможно, и задевало, вернее, интриговало его. Тем более что я упорно отказывался от такой заманчивой, в его представлении, роли, как советник Президента, советский вариант Скоукрофта, Бжезинского, раннего Киссинджера... Как было объяснить ему, привыкшему менять рядом с собой людей как перчатки, что я не создан, ну не рожден и все тут для того, чтобы состоять при ком-то, будь это даже сам Горбачев. Большое ли, малое ли дело, но свое. Словом, в тот вечер он отпустил меня подумать до утра, хотя я упорно твердил, что на 99 процентов мой выбор уже сделан.

На следующее утро,— по иронии судьбы это было утро 19 ноября,— ровно три месяца назад в Москве начался путч, в моем кабинете снова зазвонил телефонный аппарат, на котором было написано «Горбачев».

— Ты сейчас свободен? (Я только хмыкнул в ответ.) Ну тогда приезжай. Прямо сейчас. Через сколько будешь?

— Не из Праги лететь,— ответствовал не без мрачного юмора я и тут же пожалел о своей бестактности.— Через пятнадцать минут самое позднее.

— Шеварднадзе здесь,— сказал мне как бы между прочим мой охранник, расположившийся, как положено, на переднем сиденье, рядом с шофером черного торжественного ЗИЛа, и показал на маленькую белую «вольво», стоявшую неподалеку от знаменитого кремлевского «крылечка», к которому мы подъехали.

И в дверях этого знаменитого подъезда, и в лифте, который вел на «Высоту», и в приемной Горбачева все было как вчера, только все, кто встретился мне на пути, кивали и козыряли еще усерднее.

В кабинете, в том кресле, в котором вчера устроился я, сидел теперь Шеварднадзе. Мы поздоровались как старые знакомые, какими и были.

— Ну,— без паузы спросил хозяин кабинета,— как поживают твои 99 процентов?

— Превратились в сто,— ответил я и по выражению его лица понял, что сегодня мое упорство уже облегчало ему жизнь. Нетрудно было догадаться, что Шеварднадзе отнюдь не импонировала идея иметь какого-то там Скоукрофта при Президенте, и Горбачев, страстно уговаривавший меня вчера стать его внешнеполитическим советником, сегодня оказался бы снова в неловком положении, согласясь я в конце концов с ним.

— Ну что ж,— сказал он, не очень искусно разыгрывая разочарование, и потянулся рукой к кнопкам на большом телефонном табло слева от него,— тогда будем сейчас вызывать Мейджора.

Такой у нас был вчера разговор: в случае, если сойдемся в конце концов на Англии, он тут же позвонит премьер-министру и спросит его согласия. В таких экстраординарных случаях его обычно дают без промедления. Тогда оба сообщения о новых назначениях могли бы опубликовать в один день. А ему уже явно не терпелось объявить о назначении Шеварднадзе. Да и мое новое назначение обещало обернуться сенсацией. Температура же в обществе в ту пору была такова, что лидеры испытывали прямо-таки физиологическую потребность беспрерывно подбрасывать в костер политических страсти новые и новые поленья или охапки хвороста в виде неожиданных назначений и отставок, непредвиденных указов и т. п.

Связаться с Джоном Мейджором, которому, таким образом, выпадала высокая честь первому на Западе узнать о назначении нового министра иностранных дел, удалось не сразу — он был где-то в дороге, между Даунинг-стрит, 10 и Букингемским дворцом. И так как я всем своим видом показывал твердое намерение дождаться разговора, можно представить себе, какие миленькие сорок-пятьдесят минут провели мы втроем — Горбачев, Шеварднадзе и я, в кабинете Президента СССР, в котором и ему самому предстояло оставаться немногим более месяца...

Наконец секретарь вошел и сказал, что Джон Мейджор на проводе. В кабинет пригласили переводчика, знаменитого Павла Палаженко, который одновременно с Горбачевым снял отводную трубку. Президент, поздоровавшись и поинтересовавшись житьем-бытьем английского премьера, изложил ему суть дела. Тот — о благословенное английское воспитание! — тут же, без паузы передал поздравления новому министру и сказал «добро пожаловать» новому послу Советского Союза в Великобритании, или, как он выразился официально, «при Сент-Джеймском дворе»...

— Но есть один вопрос, — сказал он, и я кожей почувствовал, как он замялся на том конце провода. — Я должен согласовать это с Ее Величеством Королевой. Я уверен, Михаил, что у нее не будет никаких возражений, что она будет счастлива приветствовать Бориса Панкина послом при своем дворе, но я должен с нею это согласовать.

— Сколько это потребует времени, Джон? — спросил Горбачев с видом ребенка, у которого стали вдруг отнимать только что подаренную игрушку.

— А когда ты хотел бы объявить об этих назначениях? Горбачев посмотрел на меня, на Шеварднадзе, потом на часы:

— В девять часов вечера по-московскому. Это как раз будет программа новостей, которую у нас смотрят практически все.

— Ну тогда все в порядке, — сказал английский премьер. — Тогда я успею. Я позвоню тебе и уверен, что не возникнет никаких проблем.

И они начали прощаться, — процедура, состоящая у нас из гораздо меньшего числа фраз, чем у англичан, которые при этом непременно должны пожелать здоровья и глобального благополучия не только собеседнику, но и всем, о ком заходила речь. Нас же с Эдуардом Амвросиевичем словно ветром выдуло из кабинета, хозяин которого тоже был в тот момент, вероятно, счастлив остаться, наконец, наедине с самим собой.

Через два часа, — я их провел в своем кабинете, ничего никому не говоря и не отменяя никаких предстоявших встреч и визитов, Горбачев позвонил снова:

— Ну, — сказал он, — Королева тебя благословила. — И стал снова сетовать по поводу того, что я отказался от поста Государственного советника: — А я-то думал, что втройне будем делать внешнюю политику — я, ты и Шеварднадзе. Мне оставалось только поблагодарить, по возможности вежливее, за такое высокое доверие.

Ну а потом... Что было потом? Было грянувшее как гром с ясного неба объявление об этих назначениях, и естественно, что всех в ту пору больше занимала весть о новом министре, чем о новом после в Великобритании...

А еще до этого, то есть до официального объявления, — письма, вернее, телефонограмма и телефаксы от премьер-министра Джона Мейджа, министра иностранных дел Дугласа Хэрда, посла Великобритании в Москве Родерика Брейтвайта: «...я стал уважать Вашу приверженность демократическим ценностям...», «...иметь в Лондоне представителя Советского Союза, чей вклад в реформы и демократические идеалы не подлежит сомнению...». Чуть позднее пришли письма от Джеймса Бейкера: «...Мне доставило огромное удовольствие работать с тобой в этот удивительный период, а особенно наше тесное сотрудничество во время подготовки мадридской конференции. Ты отлично сработал перед лицом тяжелых испытаний, и я восхищаюсь твоими неутомимыми усилиями на благо своей страны»; от моего доброго друга Рудольфа Сланского, посла Чехословакии: «...выразить Вам в эти минуты уважение и благодарность за все, что Вы за последние недели сделали для Союза, для мира и моей страны».

Ей-богу же, стоило заработать отставку, чтобы получить такие письма, думал я уже в третий раз с момента разгрома путча, купаясь в тепле человеческих чувств, и в те минуты — хотите верьте, хотите нет — был даже рад тому что все так получилось. Наивные надежды, посетившие меня и девять лет назад, когда я собирался послом в Стокгольм, возродились вновь: будет больше времени поразмыслить, обдумать, а там и попробовать написать обо всем, что с тобой произошло за эти неполные три месяца...

Но почему, собственно говоря, я называю свои надежды наивными? Ведь роман-то о Константине Симонове написан — вот они, занявшие целый чемодан, полторы тысячи страниц, которые, кстати, имеют уже и своего издателя... Не было только времени привести их окончательно в порядок.

док... Да, работа советского посла, будь то в Швеции или Праге, куда меня «перебросили» те же Горбачев с Шеварднадзе, конечно, не синекура. Но, побывав теперь и в кресле министра иностранных дел, или «первого дипломата страны», я мог убедиться, что все на свете относительно. Трудно было по крайней мере в тот момент представить себе что-нибудь более изнурительное, чем тот, правда, одушевляющий ад, та «сладкая каторга», на которой я находился после молниеносного отзыва из Праги. Вот оглянувшись в Лондоне и засяду за свои «Оборванные сто дней». В тот момент я не мог, конечно, и предполагать, что эти три моих первых месяца были последними не только для меня в роли министра, но и для всей страны — в том ее качестве и обличье, к которому привык мир за последние семь с половиной десятков лет. Не догадывались об этом, я уверен, и сами создатели Содружества Независимых Государств. А между тем я еще не успею вручить своих верительных грамот Королеве, а в Беловежской Пуще будет поставлена последняя точка в истории СССР.

Не могли этого предполагать тогда и не предполагали, конечно же, ни Горбачев, ни тем более Шеварднадзе, который во второй свой приход на Смоленскую площадь поистине оказался министром на час.

Но это все позднее. А что еще было тогда?

Была коллегия МИД СССР, где Горбачев представил во второй уже раз Шеварднадзе и поблагодарил меня. Мы тоже с Эдуардом Амвросиевичем кого-то за что-то благодарили. Всем, кажется, было неловко, кроме меня, и поэтому я выглядел бодрее других. Я сказал, что горжусь и всю жизнь буду гордиться тем, что в трудную и опасную для страны минуту, в ее исторический час был призван на пост министра иностранных дел и надеюсь, что оправдал это обращение ко мне.

Сказал еще, что с удовольствием еду в Лондон, тронут сердечными словами привета, прозвучавшими из «туманного Альбиона». Ну и что Борис Николаевич Ельцин просил меня быть и его представителем, послом России.

Он звонил мне незадолго до этой церемонии.

Были потом пространные интервью — мои и Шеварднадзе, были многочисленные отклики — в прессе и в эфире... И был отлет из Москвы и прилет в Лондон... И было вручение Королеве верительных грамот Президента за две недели до того, как Горбачев перестал им быть... И настал день, когда последний раз был спущен над посольством советский флаг и поднят флаг России...

И снова были интервью, теперь уже в Лондоне, и ответы на вопрос, кого же вы теперь представляете. И была в этих интервью фраза о том, что собираюсь написать книгу о своих трех месяцах в роли министра иностранных дел. И было время, когда энтузиазм потенциальных издателей сменился скепсисом — поезд ушел, ибо кому будет интересно читать об отставке министра, когда в отставку тут же ушел и Президент... Что Президент? Целая страна, великая держава, семья с лишним десятилетий державшая мир в напряжении, ушла, рухнула в небытие... И было время, когда автору этих строк казалось порой, что его оппоненты правы.

Кстати ли перед лицом таких потрясений расписывать собственные беды, обиды и свершения?

Что ж, сто дней в жизни одного человека, как бы ни важны они были для него самого, могут не значить ничего для истории. Но когда они, эти сто дней, оказываются последними в жизни государства... Да какого... Государства-гиганта, которое на протяжении десятилетий, по сути, в течение всего того периода, который человечество до самого последнего времени называло новой эрой, доминировало на земном шаре, приводя в ужас каждым своим движением одну часть человечества в восторг, другую... Тогда эти сто дней приобретают совсем иное звучание... Сто дней последней великой империи на Земле.

— Что вы бунтуете, молодой человек? — сказал будто бы, по легенде, молодому Ленину полицейский чиновник. — Ведь перед вами — стена.

Он имел в виду царскую Россию.

— Стена, да гнилая, ткни — и развалится, — ответил, по той же легенде, Ленин.

И действительно: ткнул и она развалилась.

Лет сорок спустя — неужели всего лишь сорок? — подобный же диалог произошел, говорят, между Гитлером и кем-то из его приближенных.

— Ведь это колосс, — сказали фюреру, воодушевленному планами нападения на Советский Союз.

— Колосс, да глиняный, — не задумываясь ответил тот. И тоже попробовал ткнуть. Но развалился в конечном счете не Советский Союз, чья доминирующая в мире роль как раз после второй мировой войны и началась, а Третий рейх, гитлеровская империя.

И что же? Проходит еще сорок лет, точнее, сорок шесть с половиной лет, и этот колосс, не подвластный, казалось бы, ни времени, ни какому-то внешнему воздействию — шутка ли, при самом зарождении своем нашествие двунаде-

сяти языков выдержал, в зрелом возрасте гитлеровского циклопа сокрушил,— рухнул сам, подточенный изнутри, без какого бы то ни было внешнего воздействия, и, кажется, чуть ли не по своей воле.

Так стоят или не стоят мессы его последние сто дней? Тем более что отслужить ее предстоит человеку, который волею то ли судьбы, то ли обстоятельств оказался в числе тех, кто был в самом эпицентре агонии?

Так рассуждали и издатели, вдохновлявшие меня поскорее сесть за письменный стол.

Впрочем, было ли это агонией? И кому, вернее, чему суждено было скончаться под ножом трех, известных теперь всему миру, хирургов на операционном столе в Беловежской Пуще? Той ли самой «империи зла», по провидчески найденному выражению Рейгана, или некоему едва народившемуся существу, чье рождение роковым образом осталось незамеченным? Был ли, впрочем, операционным столом тот исторический теперь зал заседаний, где собирались указанные хирурги? И не перепутали ли они его с анатомическим театром, а себя — с патологоанатомами? — позволю себе и такой вопрос, на который мне же и предстоит ответить.

...Не правда ли — катаклизмы социальные и общественные тем и отличаются от землетрясений природных, всяческих наводнений, ураганов и извержений вулканической лавы, что они не проходят бесследно... В природе время затягивает даже самые бездонные раны. И следы от падения Тунгусского метеорита бесчисленные экспедиции изучают теперь в глухой сибирской тайге чуть ли не с микроскопом в руках.

Раскололась где-нибудь в пустыне или в безбрежной латиноамериканской саванне земля от сейсмического толчка девятибалльной силы, и смотришь — только пар вперемешку с песком клубится над заваленной землею или древесиной трещиной, которая еще вчера ужасала, над оползнем, похоронившим все живое вокруг.

Сотрясения социумов поначалу не впечатляют внешне, особенно в нашу эпоху, когда даже революции, как, например, в Чехо-Словакии, входят в историю с эпитетами бархатная, нежная... Те же дома, те же заводы и университеты, города и веси стоят на земле, те же люди в них живут, работают, учатся и развлекаются... Кажется, просто поменялись ролями. Еще раз, как поется в попираемом теперь Интернационале, кто был ничем — становится всем. И наоборот, естественно.

И только испытующий взгляд, только придирчивый анализ

засвидетельствует: хоть и кружатся словно на детской карусели порой одни и те же лица на общественной и политической орбите, а изменения произошли необратимые, комуто даже кажется, непоправимые. И корни сегодняшних дней уходят невообразимо глубоко в прошлое...

Давно и хорошо известен закон — время то ползет улиткой, а то несетя стремглав. Если, конечно, измерять его не календарными годами и месяцами, а событиями и потрясениями.

В этом смысле те три с небольшим месяца, которые начались печально знаменитым путчем Янаева, Язова, Крючкова и других на неделю раньше первого звонка Горбачева в Прагу (о нем разговор ниже), а закончились в Беловежской Пуще на две недели позже второго звонка (о котором я только что рассказал), эти три с половиной месяца, пожалуй, не имеют себе равных по насыщенности и драматизму в истории нашей страны — мне вот сейчас долго пришлось бы объяснять, что я имею в виду под словом «нашей»,— да и всего нашего голубого шарика, такого, кажется, одинокого во Вселенной...

Для меня же, вскочившего не своею волей на эту карусель после девяти лет посольского бытия, сначала в Стокгольме, потом в Праге, куда я попал сразу после «бархатной революции», время и вовсе неслось вскачь необъезженным скакуном, которого мне предстоит теперь оседлать, пусть и не с хлыстом, а с пером в руках...

Чем дальше я углублялся в свое давнее и недавнее прошлое, тем с большим воодушевлением убеждался: судьбе угодно было распорядиться так, что находясь довольно длительное время как бы в отдалении от того кипящего котла, в котором с апреля 1985 года варились все прорабы и герои перестройки, все предатели и жертвы ее, я в то же время какими-то невидимыми нитями был тесно связан с ней и ее главными действующими лицами еще задолго до того, как само это слово стало что-то значить в нашей жизни.

С Борисом Николаевичем Ельциным, например. С ним я впервые встретился в тот момент, когда перестройка приближалась уже к зениту своего драматического развития, а он сам находился в эпицентре ожесточенных дискуссий, склок и баталий, когда попытки утихомирить новоявленного Ваську Буслаева «по-хорошему» перемежались с поисками хорошего же кнута для него,— то в виде партийного «розыска» за антипатриотичные высказывания, то с помощью насилиственного купания в Москве-реке или «писем трудающих»... Он, всего-навсего председатель одного из парламент-

ских комитетов, прилетел буквально на несколько часов в Стокгольм поучаствовать в представлении своей книги «Против шерсти». Я встретил его в аэропорту, и на следующий день вся шведская пресса была переполнена нашими портретами и догадками: что бы это значило, что советский посол «лично» решил встретить рядового — формально — да к тому же еще и опального парламентария. Парадоксально, но факт — шведских ньюсменов волновал тогда не столько «далекий» Ельцин, сколько «свой» Панкин, к которому успели привыкнуть, если не сказать больше, за последние шесть лет. Журналисты гадали — о прозорливости или престодушии посла свидетельствует эта встреча, и что за ней последует — нагоняй, увольнение, а, может быть, со временем, наоборот — поощрение?

Через год с небольшим, уже послом в Чехо-Словакии, я встречал его в Праге. Председатель Верховного Совета РСФСР — впереди, примерно через месяц, выборы первого президента России — семь кандидатов на одно место. Позади, не далее как неделю назад, неудачная поездка во Францию — «строит козни Горбачеву». Да и здесь в Праге — головная боль для хозяев — хоть и сочувствуют, хоть и демократы: пригласить-то пригласили, а вот по какому разряду принимать, чтобы и гостя симпатичного не обидеть, и Горбачева, который того и гляди прикажет перекрыть трубу с нефтью, не обидеть? Президент одно думает, парламент — другое, Дубчек — третье. Хорошо хоть, что все при этом уже советуются с послом. В конце концов недостаток красных ковров и почетных караулов компенсировали сидением до глубокой ночи в «гавеловской пивной», а провожать высокого, но все же республиканского уровня гостя, отмахнувшись от всех протокольных предписаний, приехал сам Дубчек, председатель общенационального парламента — не чешского и не словацкого, а именно общенационального. Перед этим он попросил меня «устроить как-то так», чтобы хоть на несколько минут остаться с гостем наедине. Благо переводчик ему, Дубчеку, владеющему русским языком с детских лет, не понадобится. Через стеклянные двери ВИПа виделся насупленный лик Бориса Николаевича, запомнилась лихорадочная жестикуляция Дубчека. Вышли к нам явно растроганные друг другом, с увлажненными взорами. «Пообещал, что не будет ссориться с Горбачевым, руку мне на руку положил и рассказал, что не обижается, — шепнул мне человек-легенда. — Я сказал ему: вы двое — залог стабильности и демократии. И больше никто».

Я еще подумал, что примерно то же самое говорил ему

применительно к Чехо-Словакии — о нем и Гавеле. Правда, убеждаться в этом приходилось в основном Вацлава Гавела.

Прошаясь в аэропорту в Братиславе, куда я последовал за делегацией не без риска вызвать неудовольствие министерского моего начальства — Бессмертных, а то и выше, Ельцин после секундного, но запомнившегося колебания: не подведу ли, мол, посла, — открыл в ответ на протянутую ему руку свои богатырские объятия... Мы вспомнили об этом почти год спустя во время его короткого визита в Лондон, прощаясь в аэропорту Хитроу — Президент и посол России...

...Геннадия Янаева я видел в последний раз в Праге, за полтора с небольшим месяца до путча. Он приехал по поручению Горбачева принять участие в последнем заседании Политического консультативного комитета и вместе с Вацлавом Гавелом, Лехом Валенсой, Желю Желевым и другими лидерами стран — участниц Варшавского Договора, этого печально знаменитого пакта, подписать акт о его распуске. Самому Михаилу Сергеевичу претила мысль остаться в истории членом этой «похоронной команды», вот он и послал вместо себя своего вице-президента, который, как отмечала наблюдательная пресса, не аплодировал, когда все аплодировали, и единственный из ораторов на этой исторической тризне даже рискнул сказать несколько добрых слов в адрес приснопамятного покойника.

А в остальном он за те сутки в Праге показал себя простецким малым, который ничуть не кичился своим положением второго человека в стране и отнюдь не против был пропустить рюмку-другую водки, не говоря уж о знаменитом чешском пильзенском, со своим давним, еще с комсомольских лет знакомым, ныне послом в Чехо-Словакии.

Да, мы знали друг друга с середины шестидесятых годов, когда почти одновременно стали членами бюро ЦК ВЛКСМ. Он заведовал всей международной жизнью комсомола, я — «Комсомольской правдой», которая была в известной оппозиции Центральному комитету этой могущественной организации. Да, представьте себе, в оппозиции, ибо это только со стороны кажется, что ночью все кошки серы и что «все они одним миром мазаны». Вот и вспоминали мы с Геной Янаевым в Праге, как он (вместе, кстати, с Борей Пуго, тогдашним секретарем ЦК по социалистическим странам) приезжал по поручению бюро в «Комсомолку», чтобы снимать из номера очередную еретическую статью ее главного редактора, то бишь автора этих строк.

Сыр-борз загорался обычно вокруг моих литературно-

критических опусов. В то время как секретарям ЦК, и в первую очередь, конечно, «самому» Павлову, то есть первому самому главному секретарю, нравились Всеволод Кочетков, Анатолий Софонов, Анатолий Иванов, Владимир Фирсов, Петр Прокурик, Георгий Марков, «Комсомолка» голосовала, в том числе и первом ее главного редактора, за Андрея Вознесенского, за Александра Твардовского, Чингиза Айтматова, Даниила Гранина, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, ну и так далее... Литературные же споры в нашей стране в ту пору имели свою политическую подоплеку. И вообще все тогда имело, как известно, свою политическую изнанку — длина женских платьев, ширина мужских брюк (крамольными становились то слишком широкие, то слишком узкие), прически, бороды, не говоря уж о крестике на шее или кольце на руке мужчины...

Вспоминали мы все это с Геной, вспоминали и смеялись и дивились, каждый, впрочем, про себя, тому, как все поворачивается в жизни. Пришла перестройка и «крамольника» шестидесятых держат как бы на обочине, в то время как былые ортодоксы оказались на самом острие борьбы за демократию.

Впрочем, Борис-то Пуго, в пору молодости нашей отличавшийся известным простодушием (что, быть может, и привело его в конечном счете в лагерь путчистов), изумлялся этому вслух еще раньше, когда года за два до моего переезда в Прагу навестил меня в Стокгольме, где он, тогда первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии, был гостем шведской правоверной из правоверных, коммунистической партии.

— Ну ладно,— говорил, смешно пучка глаза Пуго, которого мы в комсомольскую бытность звали не иначе как Боря-телок,— я понимаю, что Сергей Павлович (Павлов) посыпал в «Комсомолку» Камшалова, ну там, Попцова — это по их, идеологов, части, но я-то тут при чем, я-то этим не занимался.

Позднее, впрочем, ему всем пришлось заниматься, когда послужной список его — во времена «застоя», а потом и в процессе перестройки — стал расти и распухать просто как по волшебству: Председатель КГБ Латвии, а потом и первый секретарь, Председатель КПК, а потом и ЦКК — КПК, наконец, министр внутренних дел Советского Союза...

Так или иначе, но эффект нашего общения — с одним в Праге, с другим в Стокгольме — был таков, что я, дивившийся до тех пор их стремительному и мало понятному для меня, с точки зрения императивов перестройки, восхож-

дению, пожалуй, не меньше изумился их появлению в качестве главарей путча. До такой степени, что даже в своем интервью чехословацкому телевидению совершенно искренне обращался к Янаеву с призывом одуматься и, пока не поздно, исправить ошибку, пусть и роковую.

Александр Николаевич Яковлев. Имя это на Западе уже не услышишь без слов «архитектор перестройки». Сколько оттенков, если вдуматься, звучит теперь, когда выражение это произносят по ту или другую сторону наших границ. (Где они, впрочем, теперь проходят, эти границы?)

Трудно в это поверить, но четверть века с небольшим назад мы с ним оказались... выдвиженцами брежневской эпохи. Так уж, представьте себе, получилось. В 1965 году, через несколько месяцев после свержения Хрущева, Яковleva, тогда заведующего сектором в отделе пропаганды ЦК КПСС, назначили первым заместителем заведующего этого отдела, меня еще через некоторое время, — главным редактором «Комсомольской правды». Лишнее свидетельство того, что Брежnev, придя, а вернее, будучи поставлен у власти в качестве временной, проходной фигуры, не имел тогда ни команды своей, ни четких представлений, кто и для чего ему нужен. Просто заполнял вакансии. Зато позднее он, по общему мнению, научился разбираться в этом лучше, чем кто бы то ни было другой — до или после него.

Наша первая встреча, вернее, стычка с А. Н., как я позднее привык за глаза его называть, состоялась... из-за футбольной команды «Спартак». Мы ее в «Комсомолке» «раздолбали» — за меценатство, зазнайство, неуважение к зрителям и проч. — и очень гордились своей смелостью. А. Н., оказывается, был страстным болельщиком «Спартака». Состоялось крупное объяснение, в ходе которого я старался доказать, что «столь высокое заступничество» лишь подтверждает правоту наших тезисов. Яковлеву за «Спартак» было обидно, но строптивость редактора, кажется, пришла по вкусу. Во всяком случае, когда мы напечатали отвергнутую ранее «Правдой» скандальную по тем временам статью Бурлацкого и Карпинского, покусившихся ни много, ни мало на принципы партийного руководства искусством, — теперешнему читателю уже надо, пожалуй, напомнить, что когда-то такие принципы были священное священной коровы у индуистов, — он за нас вступил гораздо энергичнее, чем за свой любимый «Спартак». Только благодаря ему я в тот раз и удержался в редактором кресле, заработав «строгача».

А вскоре он и сам отличился — не спросясь высшего партийного руководства, напечатал в «Литературке» статью,

отдававшую, по словам критиков справа, жидо-масонством. На той высоте, где разгорелись эти баталии, заступиться за него было некому, вот он и «загремел» послом в Канаду, на целых девять лет. Дело в том, что наряду с так называемыми «невыездными», кому запрещен был выезд за границу, существовала еще и категория, правда, немногочисленная, «невъездных», состоявшая в основном из послов и старших дипломатов. В 1982 году, незадолго до смерти Брежнева, к их компании был причислен и я. Тогда же, в 73-м, меня вслед за Яковлевым тоже сдвинули с места и отправили из «Комсомолки» создавать Агентство по авторским правам.

— Иди, иди,— буркнул Яковлев, когда мы его провожали из Шереметьева в Канаду,— в прессе тебе все равно теперь дороги перекрыты.

Дважды потом маршруты председателя Агентства приводили меня в Оттаву. С самолета, естественно, прямо к Яковлеву. Он как будто бы только этого и ждал: с ходу запирал все окна и двери, включал так называемую «шумовку», чтобы не подслушали — ни свои, ни чужие,— и начинал клясть Брежнева и его команду. Однажды мы с этой же целью отправились гулять по огромному заснеженному городскому парку, рядом с его резиденцией, и так ругали и кляли наши порядки, так спорили, что сбились с дороги, а когда захотели вернуться, то оказалось, что посол даже не знает своего адреса.

Никак Яковлев не мог прижиться на чужой почве, хоть и водил дружбу с Пьером Трюдо.

— Когда Горбачев приезжал, то же самое было,— лаконично информировал меня при встрече А. Н., возвращенный в Москву Андроповым. Горбачев побывал в Канаде будучи секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству.

В апреле 1985 года я в Стокгольме вспомнил эти слова, и меня потом уже не удивлял ни родившийся в западной прессе «лейбл»—«архитектор перестройки», ни стремительное восхождение А. Н. по ступеням власти.

Он же при каждой нашей встрече в Москве — как раньше, он ко мне чуть ли не с самолета, так теперь я к нему — недоуменно разводил руками:

— Не пойму, слушай, в чем тут дело. Раз подошел к нему насчет тебя — молчит. Второй раз подошел — опять молчит. Ты случаем не сталкивался с ним где-нибудь на узкой дорожке?

Что я мог ответить? Что Горбачев и я учились одновременно в университете, но я узнал об этом только из газет, когда напечатали его биографию. Что, когда он был секре-

тарем Ставропольского крайкома партии, я отдыхал в том же маленьком санатории, что и его жена и дочка, даже за одним столом с ними почти месяц сидел...

Да что там говорить! Работа ли моя, характер ли, судьба ли тому виною или причиной, только какое бы «завидное» место ни освобождалось, общественный отдел кадров — то бишь общественное мнение спешило назначить меня на это место. Какое бы ни засветилось на политическом горизонте времен перестройки новое имя, всякий раз оказывалось, что для меня это старый знакомый.

Бурбулис и Травкин, тогда еще практически никому не известные, особенно Бурбулис, оказались в числе советских парламентариев, приехавших в Стокгольм по моему зову — изучать «шведскую модель», и, кажется, именно тогда пленились рыночной экономикой.

Травкин, помню, поражал собеседников остротой и едкостью своих характеристик Горбачева, Лигачева, Медведева и других, по его убеждению, «отставших от жизни» лидеров перестройки.

Бурбулис, не уступая коллеге в резкости, переводил сказанное им на мудреный философский язык. Далеко пойдет,— качали головами старшие дипломаты посольства, из тех, кого со времен Ильфа и Петрова зовут «пикейными жилетами». А кое-кто, как потом выяснилось, не только качал, но и писал в Москву, мол, вот какие пошли депутаты и вот кого привечает посол.

На второй или третий месяц работы в Праге я случайно встретил Бурбулиса на улице — он направлялся в представительство Аэрофлота зарегистрировать билет. Оказывается, «приехал по частному приглашению и не хотел компрометировать». К тому времени он уже ходил в откровенных еретиках, открыто причисляя себя к ельцинскому лагерю, хотя и не все в декларациях и действиях Бориса Николаевича одобрял.

Я, естественно, потащил Бурбулиса в посольство. На следующий день он, по моему настоянию, выступил перед дипломатами и прессой. «Твердолобые» тогда еще были у нас в преобладающем большинстве. Ну и шум они подняли, когда гость дал уничтожающую характеристику только что закончившемуся учредительному съезду российской компартии и ее лидерам — Полозкову и Чикину! Военный атташе, громогласно причислявший себя к академическим друзьям генерал-полковника Макашева, аж вскочил с места, когда Бурбулис позволил себе неуважительно отзываться о его старшем коллеге.

Пришлось мне, в который уже раз, напомнить, что мы живем в эпоху плюрализма и гласности.

...С Егором Гайдаром я встретился впервые, когда ему было, наверное, лет четырнадцать. Со своим отцом, моим давним другом, тогда корреспондентом «Правды» в Югославии, он жил в Белграде. Я как-то заночевал у них, по дороге из Софии в Будапешт, с двумя моими спутниками, корреспондентами «Комсомолки». Егор, при всей своей младости, был страшно увлечен перипетиями югославских политических и экономических реформ и сыпал терминами, один замысловатее другого.

— Егор,— пошутил я,— ты бы как-нибудь попроще, чтобы дяди могли тебя понять.

Когда двадцать лет спустя мы встретились с ним в Лондоне, во время визита сюда Российского Президента, он сказал, что эпизод этот — строка из семейного фольклора. Вы увидите, сколько раз на моих глазах лица превращались в маски, а кажущееся лицедейство оборачивалось страданием.

Шеварднадзе... Наша первая встреча произошла в 1956 году, в Тбилиси, вставшем на защиту Сталина, которого только что дезавуировал Хрущев на знаменитом XX съезде КПСС... Да, была и такая страница в истории грузинского народа, перелистнуть которую ему пришлось, и были танки, брошенные Хрущевым.

Подумать только — народ, поднявшийся на защиту чести тирана, и танки, посланные против народа — во имя гуманизма и демократии. Какая фантазия могла бы придумать такую дьявольскую комбинацию. Будто Сталин мстил за себя из могилы, вернее, из-под крыши Мавзолея, где он возлежал еще тогда в саркофаге рядом с Лениным.

Шеварднадзе руководил в ту пору комсомолом Грузии, а я, молодой, но, очевидно, подававший надежды журналист «Комсомолки», был направлен редактором «написать хорошо о простых грузинских людях», успокоить страсти.

Через несколько лет, уже во времена Брежнева, мы снова встретились в Тбилиси — теперь уже главный редактор «Комсомольской правды» и министр внутренних дел Грузии. Министр, как бы предваряя идеи перестройки, вел тогда смертельно опасную игру против партийного лидера, члена Политбюро ЦК КПСС Мжаванадзе, к которому вели все нити насилия и коррупции, разлагавших республику.

Тут я лучше предоставлю слово помощнику Шеварднадзе журналисту Тимуру Степанову-Мамаладзе. Он был первым человеком, которого новый министр позвал в конце 1985 года

в Москву из Тбилиси, а в 1992-м из Москвы в Тбилиси. Отвечая на вопрос журнала «Огонек» о причинах столь неожиданного поворота в своей карьере, Мамаладзе пишет: «...Но до того был один случай, который очень меня к нему (Шеварднадзе) расположил. Был я тогда собкором «Комсомолки». В Тбилиси проходил очередной съезд комсомола Грузии. На нем присутствовал тогдашний главный редактор «Комсомольской правды» Б. Д. Панкин. В своем выступлении, произнеся здравицу грузинскому комсомолу, он затем его покритиковал. Мало того, в кулуарах позволил себе оспорить отрицательное мнение Василия Павловича Мжаванадзе о «Новом мире» Твардовского...

Сразу же вокруг него образовался вакуум. Пустота. Никто не подходил, как к зачумленному. Вдруг вижу: идет к нему седой мужчина и пожимает руку. Это был Шеварднадзе, тогда министр внутренних дел республики. Я понял, что это был не просто жест поддержки — несогласия со всеобщей готовностью подлаживаться под «верховное» мнение. Движение против течения, наперекор ему. В тогдашних условиях, когда от первого лица зависело все и вся, такой поступок требовал недюжинного мужества».

Потом были встречи советского посла в Швеции на Смоленской площади со своим новым министром. И была шифровка ministra послу в Стокгольм: «Борис Дмитриевич! В силу известных причин европейское направление вышло сейчас на передний план нашей внешней политики. Особенно бурно и неординарно развиваются события в странах Восточной Европы. Не буду скрывать, что нынешний уровень работы совпосольств в этих странах уже не удовлетворяет... Вот почему принято решение направить послами туда наиболее квалифицированных, опытных дипломатов, которые могли бы... помогать руководству страны вырабатывать и осуществлять политику на этом важном направлении. С учетом всех этих обстоятельств мы имеем в виду внести предложение о назначении Вас послом в Чехословакскую Республику...» И подпись — Э. Шеварднадзе. И дата — 27 февраля 1990 года. День, когда закончился двухдневный визит в СССР президента Вацлава Гавела, который был означен в декларацией, где мы впервые осудили вторжение войск Варшавского Договора в ЧССР.

Вот когда я почувствовал, что ветер истории задул и в мои паруса. Кажется мне, что он дует в них и по сей день. В те самые часы и минуты, когда я пишу эту книгу.

А началось все то же — с телефонного звонка. Раздался он не в моем служебном кабинете в Праге — по инструкции не полагается, чтобы междугородный телефон стоял у посла,— а в соседней комнате, где сидит мой секретарь. Он-то и зашел ко мне, я еще успел заметить, без вызова, и сказал будничным голосом:

— Борис Дмитриевич, Михаил Сергеевич звонит.

— Какой Михаил Сергеевич? — автоматически отреагировал я, недовольный тем, что секретарь вошел без спроса: с моим заместителем, советником-посланником Александром Лебедевым, мы как раз ломали голову над одной деликатной проблемой.

— Ми-ха-ил Сер-гее-е-вич, — уже с выражением повторил секретарь, и если он в ту минуту и был взволнован, то отнюдь не перспективой получить от меня нагоняй за нарушение правил.

Лебедев оказался сообразительнее меня. «Что ты стоишь?» — говорил его взгляд. Я выбежал из кабинета. В тесной душной будке снял с рычажков телефонную трубку:

— Я слушаю...

— Здравствуй, Борис Дмитриевич, — в трубке знакомый голос, который я, однако, работая семь с лишним лет послом в Стокгольме, а теперь уже больше года в Праге, слышал по телефону не так уж часто. — Борис Дмитриевич, — повторил Горбачев, не дожидаясь моего ответа, — ты можешь сейчас прилететь в Москву?..

— Если вы вызываете, конечно, — ответил я, но в голосе прозвучал вопрос, которого не мог не услышать Президент.

— Тогда прилетай сегодня же, сейчас же, и прямо ко мне, в Кремль... Прямо из аэропорта... Речь идет о назначении тебя министром иностранных дел СССР...

Было ли для меня неожиданным это предложение? И да, и нет. Почему — я скажу об этом позже. В ту минуту я только и сказал:

— Прилечу, раз вы вызываете, но насчет назначения должен подумать...

— Ну вот в самолете и подумаешь, — с удивившим меня оттенком облегчения в голосе сказал Горбачев и повесил там у себя в Кремле трубку. Не опасался же он, что я вообще откажусь прилететь? Впрочем, в ту пору — это было на седьмой день после разгрома путча — он мог всего ожидать от тех, к кому обращался. Кстати, он всегда и всем, даже

малознакомым ему людям, говорил — ты. Старая партийно-комсомольская привычка. Я, правда, не слышал, чтобы кто-нибудь на это обижался.

Когда я вышел из душной и тесной будки, лоб мой был в испарине. В глазах Лебедева я не увидел удивления. Только вопрос...

— Горбачев, — сказал я, — вызывает в Москву. Собирается назначить министром иностранных дел...

Я оглянулся — не слышит ли нас кто-нибудь еще? В комнате нас было трое. Хобби моего молодого секретаря, Игоря, было — никогда и ничему не удивляться. Во всяком случае делать вид. Он уже держал в руках расписание полетов Аэрофлота: Прага — Москва.

— Борис Дмитриевич, ближайший самолет вылетает через час.

— Если надо будет, задержим, — с неприсущей ему властью с голосе сказал Александр Александрович. — Вызывай машину, — продолжал он, обращаясь к секретарю, и в мою сторону: — Надо ехать собираться. Полчаса тебе хватит?

Словом, где-то через час, задержав рейс не больше, чем минут на двадцать, я уже сидел в салоне первого класса Ил-62, а в ушах у меня все еще звучало: «Отстреливайся до последнего патрона».

Это был голос моей жены. Увидев меня в неурочный час в дверях нашей резиденции, она всполошилась — в посольской жизни действительно каждую минуту может произойти что-то непредвиденное, — особенно теперь, после моего заявления в поддержку законной власти. Узнав, в чем дело, бурно запротестовала и пыталась, правда, безуспешно, взять с меня слово, что я ни в коем случае не дам согласия. И оставалась при своем неприятии моего нового поста все последующие сто дней.

Действительно, что же я все-таки скажу Горбачеву? Ведь лету от Праги до Москвы всего три часа. А там — полчаса-час до Кремля...

Утверждать, однако, что только этот вопрос и был у меня тогда в голове, было бы явной неправдой. Согласитесь, не каждый день случается такое: еще каких-нибудь полтора часа назад сидел на работе, занимался рутинными делами, и вот уже летишь в самолете по вызову Президента, который намеревается сделать тебя ни больше, ни меньше министром иностранных дел страны, и какой — одной из двух супердержав!

Дипломат и литератор, а если хотите, литератор и дипломат, я давно уже привык все более или менее значитель-

ное из того, что случается со мной, переживать дважды — сначала — в реальности, потом — над чистым листом бумаги. Не поручусь, что в те часы, в самолете, на десятитысячной высоте, я уже не начал писать эту книгу. То есть все, начавшее в те часы происходить со мной, я уже видел не только изнутри, но и извне, как бы глазом стороннего наблюдателя.

Свою журналистскую карьеру, — это были последние месяцы жизни Сталина, — я начинал очеркистом. И помню, смертельно завидовал тем своим коллегам, которые клали на стол редактора опусы с лиху закрученным сюжетом — с прологом, кульминацией, развязкой, непременно оптимистической. Мне с сюжетами не везло. Счастливых историй как-то не попадалось. И поэтому все мои очерки поначалу выглядели репортажами, а потом стали тянуть на эссе — этические рассуждения на тему того или иного реального события. Теперь жизнь предлагала мне сюжет, в который не поверил бы ни один литературный критик, если бы не было доказательств того, что все это происходит на самом деле.

Я уже упомянул, что мы с моим советником-посланником Лебедевым перед самым звонком Горбачева занимались одним щепетильным делом. Да, совсем не ординарной была проблема, над которой мы в ту минуту — утром 28 августа 1991 года — ломали голову:

Дело в том, что 22 августа, на следующий день после разгрома путча, когда в эфире еще звучало наше с Сашей Лебедевым антипутческое заявление, я послал в Москву важную телеграмму, а точнее говоря, шифровку. Я обращал внимание на то, что ни в дни путча, когда около двадцати дипломатов посольства на оперативном собрании попросили поставить их подписи под нашим заявлением, которое уже облетело весь мир, ни позднее никто из тех, кто, по моим представлениям, был сотрудником либо одной («ближние соседи»), либо другой (« дальние соседи») разведки, своего отношения к путчу так и не высказал. Если сопоставить это с тем, что еще девятнадцатого августа, как мне «по секрету» передали, резиденты отправили по своим каналам телеграммы за подпись всех своих сотрудников в поддержку путчистов, то получилось, что люди чего-то ждали. Может быть, даже имели команду ждать? Кто знает, может быть, готовится выступить второй эшелон. Я не собирался поднимать панику. Я просто повторял свои давние предложения ускорить отъезд в страну большей части представителей этого «контингента», особенно тех, кто еще во времена Густава Гусака, первого секретаря Компартии Чехо-Слова-

кии, даже официально был представлен спецслужбам страны в качестве сотрудников КГБ и ГРУ, то есть военной разведки.

Ответ из Москвы подозрительно запаздывал. Мы прикидывали, почему? Может быть, это первый заместитель министра Квицинский, который в дни путча направил послам телеграммы с требованием «руководствоваться» указаниями ГКЧП, а теперь рассыпал указания, как искоренять его последствия, не «размечает» телеграммы руководству страны, а проще говоря, не выпускает за стены МИДа мои тревожные сообщения? А может быть, те, кого, как Квицинского, по горячим следам назначили в этих ведомствах исполнять обязанности руководства, отмалчиваются, потому что у них самих рыльца в пушку?

Вечером, накануне того дня, когда позвонил Горбачев, ко мне, один за другим с получасовым перерывом, попросились «главные» по линии той и другой службы. Примерно с таким интервалом я их и принял. И что же — каждый из них пришел с ответом от своего начальства на ту самую мою телеграмму. В одном случае отвечал Леонид Шебаршин, исполнявший несколько дней обязанности председателя КГБ, в другом — только что назначенный начальником Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Лобов. «По своим каналам», то есть через тех самых людей, о которых шла речь в моем послании, они мне сообщали, что в принципе, мол, беспокоиться нечего, народ у вас работает хороший, а то, что их многовато, так это с какой стороны посмотреть — что вы думаете, в ЦРУ, в Пентагоне их меньше, что ли?

Отпустив одного за другим моих посетителей, каждый из которых не просто пересказал, а показал мне тексты ответов, прямо мне и адресованных, мол, так и так «уважаемый Борис Дмитриевич», я сидел, как громом пораженный... Какое уж тут уважаемый... Я уж не говорю о содержании ответов, бог с ним, с этим содержанием... Но отправив мне их «по своим каналам», Шебаршин и Лобов, по сути, отдавали меня в руки своих людей, в случае обострения обстановки. Рассекречена святая святых — переписка посла с Центром. И кем? Теми, кто за секретность как раз и отвечает. Как же быть? Писать снова? Но к кому обращаться? К Горбачеву, к Ельцину? Но где гарантия, что мои сигналы дойдут до них? Вот над этим мы и ломали голову с Лебедевым с утра пораньше, когда раздался звонок из Кремля. Провожая теперь меня в Москву, он почти уже у трапа самолета вспомнил — по крайней мере теперь никому ничего

писать не надо, ты только не забудь рассказать обо всем Самому...

Так что и это было у меня в голове, когда я летел в Москву и упорно отказывался от настойчивых угощений стюардессы: конячку? Водочки? А может быть, вина или пива?

Нимфы Аэрофлота всегда с уважением относятся к пассажирам первого класса, тем более если это советский посол в той стране, куда они регулярно летают. На этот раз, как мне показалось, они были особенно предупредительны. Может быть, кто-то уже успел им шепнуть, куда и зачем я лечу?

Я, конечно, нимало не сомневался в том, что непосредственным толчком, импульсом к тому, чтобы сделать мне это предложение, для Горбачева было наше с Сашей заявление в ночь, вернее, в полночь с 20 на 21 августа 1991 года. Когда наш в три голоса — мой, Саши и Валентины, моей жены, — сочиненный текст, записанный моим ужасным почерком, попросту — каракулями, был продиктован по телефону моему старому знакомому, одному из «рыцарей Пражской весны» Мирославу Елинеку, который в свою очередь передал его «надежному человеку» в ЧТК, откуда нас, тем не менее довольно долго пытали, действительно ли этот текст принадлежит нам и все ли мы продумали, прежде чем обнародовать его, и когда мы снова уселись у телевизора, — на экране как раз был Шеварднадзе, выступающий на митинге на Манежной площади, — цифры, пробежавшие по экрану, показывали 1 час 30 минут ночи. Это время я и поставил под текстом, который тут же, у телевизора, перепечатал на машинке.

Саша тут же сел переводить его на английский, чтобы в случае обращения можно было бы передать его западным агентствам. Си-Эн-Эн, а может быть, СКАЙ-НЬЮС — обе программы были тогда в нашем распоряжении благодаря спутниковой тарелке-антенне, — вел свой «лайф» — прямую передачу из Москвы. Танки со скрежетом и грохотом продолжали двигаться по Садовому кольцу в направлении Белого дома России. В глазах все еще стояла страшная картина: две или три человеческие фигурки показались на броне одного из этих чудовищ и тут же, словно игрушечные оловянные солдатики, скатились вниз... Танк с завыванием повернулся вокруг своей оси... Жена забилась в истерику — это же дети, дети!

Какое-то время ничего невозможно было понять в клубах гари, в скрежете и грохоте, доносящихся с экрана. И вдруг голос то ли диктора, то ли журналиста произнес на англий-

ском несколько фраз, из которых явствовало, что штурм окруженного цепочками его защитников дома правительства России вроде бы отменен. Мы не верили своим ушам. Но вскоре воочию увидели на экране, что танки остановились. А потом и двинулись вспять.

К этому времени, — было уже, наверное, около трех часов ночи по-московскому времени, — пришла и жена Саши, Додо, грузинка по национальности, которую мы давно уже с печальным юмором звали эмигранткой. Теперь получалось, что мы все можем оказаться в таком же положении. Обрадовавшись появлению еще одного участника нашей сюрреалистической эпопеи, я предложил выпить по глотку виски «за успех нашего безнадежного дела», — шутка, которая давно уже стала привычной в общении людей нашего круга.

Все последующее мелькало теперь в моих беспорядочных воспоминаниях словно кадры видеокассеты, прокручиваемой с утроенной скоростью.

Поспать нам в ту ночь удалось не больше трех часов. Проснувшись, как от толчка, в шестом часу утра по-местному времени и включив тут же приемник, я услышал в эфире наши с Лебедевым фамилии. Понять, что же происходит в Москве, было невозможно.

Яглянул в окно. Полицейский, охранявший, в соответствии с правилами, резиденцию советского посла, разговаривал с какими-то двумя мужчинами в штатском. В такую рань. Кто такие? Власти ли чехословацкие прислали их проинструктировать дежурного? Или это — «соседи», выставившие демонстративно свои пикеты? А может быть, местные «бывшие»? Дело в том, что пресса здесь и раньше утверждала, что сотрудники расформированной новыми властями службы безопасности тайно поддерживают контакты с «агентами КГБ» под крышей посольства. Меня даже как-то вызывали по этому поводу в МИД. Вчера же в прессе было, что «эстебенцы» прямо-таки кружат вокруг принадлежащих советскому посольству зданий. После моей встречи 19 августа с пригласившим меня заместителем председателя правительства ЧСФР Павлом Рыхетским мы с Лебедевым не особенно стеснялись в выражениях относительно путчистов, и кто-то в МИД шепнул Рыхетскому на следующий день, что один из сотрудников английского посольства в Праге уже задавал вопрос — как поведут себя власти, если кто-либо из советских высокопоставленных дипломатов попросит политического убежища...

Резиденция советского посла в Праге — это отдельно от посольства стоящий трехэтажный особняк, построенный в

начале века. Высокие потолки, террасы, балконы. Потемневший, потершийся местами лак деревянных панелей, уютно поскрипывающие под ногами половицы. Тем ранним теплым августовским утром все это выглядело по-особому. Собираясь в посольство, я не мог не подумать о том, что, может быть, последний раз прохожу этими пронизанными солнечными лучами комнатами и залами. Жену, которая поднялась вместе со мной, хотя спала в ту ночь в другой комнате вместе с четырехлетней внучкой, била дрожь. Она заклинала меня соблюдать всяческую осторожность и говорила, что глаз не спустит с девочки и никого не пустит в дом без моего предварительного звонка. Кроме, конечно, Додо и Саши... Я уговаривал ее не волноваться, но и сам между тем абсолютно не представлял, что дальше будет. Странные мысли мелькали в голове — что машина, которую я только что вызвал, может не прийти. А если придет, нам могут не открыть ворота в посольство... Лифт вполне может застрять между этажами...

К счастью, ничего такого в то утро не случилось. Но и через неделю, сидя в мягким кресле салона первого класса самолета, уносящего меня в Москву по вызову Президента, я думал о том, что все это вполне могло произойти. Посол с девятилетним стажем, я только в те часы и дни по-настоящему осознал, в какой же степени я, да и любой другой на моем месте, зависим от всех этих так называемых служб, прежде всего от КГБ. Добрая третья дипломатов, я тут не говорю уж о ГРУ, — «они»... Радист, телефонист, дежурный комендант — «они»... То же и так называемый офицер по безопасности, которого как огня боятся сотрудники административно-технической службы — он, а не посол, для них — царь и бог, от того, что он напишет о них по своим таинственным «каналам», зависит все их будущее...

Свет, тепло, работа лифта, телефон, все другие коммуникации, словом, любая система жизнеобеспечения в «их» руках. И если в обычное, в более менее спокойное время ты осознаешь это лишь умом, то в редкие дни, подобные тем, что мы пережили во время путча, это ощущаешь всем существом.

Однако в то утро меня ждали не только заботы, но и радости. Еще до того, как я отправился в посольство, около восьми часов утра раздался звонок. Один из молодых наших дипломатов: «Борис Дмитриевич, извините, что так рано... Но душа не терпит. Спасибо за ваше заявление, спасибо, что сняли тяжесть с души. Я с вами...»

Через три минуты — еще звонок. Еще один дипломат и

те же примерно слова. Уже на самом пороге — третий звонок. Но на этот раз в трубке молчание. Испуганное или зловещее? Не слышно даже дыхания.

Ворота в посольство открылись как всегда. За ними — у дверей в офис — Лебедев. Вошли в кабинет — вслед за нами еще два-три человека, те, на кого и раньше можно было положиться...

В 8 часов — обычное наше утреннее совещание. Народу, правда, набилось больше, чем всегда. Я, как договорились с Сашей, зачитываю наше короткое заявление. Объясняю, тоже лаконично, почему мы так поступили. Выражаюсь более или менее дипломатично и даже не призываю никого последовать нашему примеру — пусть каждый решает сам. Саша позволяет себе больше. Он ведь еще совсем недавно работал в ЦК, со многими из путчистов сталкивался чуть ли не ежедневно. С «Крокодилом Геной» — Янаевым, с Великим Молчальником — Пуго, с Кабинетной мышью — Болдиным. Зловещая кучка заговорщиков превращается в его устах в компанию каких-то недотеп, нравственных недорослей. Один за другим встают дипломаты и высказываются в поддержку нашего заявления. Около двадцати человек! В какой-то момент мелькнуло в голове — уж не старые ли рефлексы срабатывают? Эффект замкнутой аудитории, в которой страшнее кошки — местного, самого близкого тебе пространственно начальства — зверя не бывает. Но нет, не все так просто. Ведь никто из «служб» ни слова не сказал. А может быть, тот же принцип? Их начальство ведь не в этом зале, оно — в Москве. Как ни поглядываю я то на одного, то на другого резидента, они стоически молчат, сидя рядом со мной и глядя прямо перед собой.

Ко мне склоняется мой помощник: по телефону раздаются беспрерывные звонки. Из МИДа Чехо-Словакии, из резиденции Президента, из правительства. А самое главное — пресса — и местная, и чуть ли не со всего мира.

Заседание наше, таким образом, поневоле подходит к концу. В представительском помещении уже ждет бригада с Пражского телевидения. Просят прочитать заявление в эфир. Читаю: «Советский посол в ЧСФР Борис Панкин и советник-посланник посольства Александр Лебедев выражают протест против варварских, незаконных действий сил ГКЧП против мирного населения и законных властей Союза ССР и России. Те, кто обещал спасти страну от гражданской войны, на самом деле ввергают в нее народ.

Посол и советник-посланник продолжают рассматривать себя как чрезвычайных и полномочных представителей за-

конно избранного государственного руководства страны, возглавляемого Президентом М. С. Горбачевым.

Мы все еще надеемся, что здравый смысл возобладает, и общими усилиями великая страна будет отведена от края пропасти, у которого она находится. Этой цели служит и наше заявление».

Вопросы — что вас побудило выступить, как вы представляете себе свое будущее, чем закончится путч? Отвечаю, как могу. В провидцы не записываюсь, но выражая надежду, что путчисты опомнятся, пока не пролилась еще большая кровь, и отдадут себя воле закона и законности. Обращаясь прямо к Янаеву. Ведь он совсем недавно в качестве вице-президента был в Праге, участвовал в последнем заседании стран Варшавского Договора. Под актом о роспуске этого детища «холодной войны» стоит его подпись. Говорю, для пущей убедительности, что его участие в ГКЧП, возможно, ошибка, роковая, но ошибка, и еще не поздно попытаться ее исправить. Пока не пролилась большая кровь...

Но как же идут дела в Москве? Как ни странно, только в этот момент, после уже, пожалуй, трехчасовой разлуки с радио и телевидением, я сам задаю себе вопрос. Из Москвы по шифросвязи вот уже много часов — ни слова. По телефону звонить некому — разве что домой, сыну или дочери? Не отвечают. Потом уже узнал — Алена с мужем — в редакции запрещенной «Независимой газеты», Алеша — на баррикадах у Белого дома... Вся надежда на радио, на «Эхо Москвы», на «Свободу», на Всемирную службу, Би-Би-Си.

Сообщения в эфире крайне противоречивые, даже путаные. Узнаю, что та страшная сцена, которую мы ночью видели на телевизионном экране, закончилась трагически — несколько человек были буквально раздавлены танками. Число жертв разные источники называют разное. (Только позднее стало известно, что погибших было трое.) Много раненых, в том числе — тяжело.

С одной стороны, начала заседать чрезвычайная сессия российского парламента, с другой — Пуго рассыпает по стране депеши внутренним своим войскам — встать на защиту Комитета. Сообщается, что ранен журналист чешской газеты «Студентские листы». Эта газета — опять на передовой, как в августе 1968 года.

Вот слышу, что на сессии объявлено предложение Крюкова Ельцину полететь вместе с ним в Форос к Горбачеву. Сессия решает, что для этой цели больше подходит российский премьер — Иван Степанович Силаев. И вот, узнаю,

он уже вылетает туда, только не с Крюковым, а с Руцким, с Бакатиным, с группой врачей (для освидетельствования Горбачева?), с командой американского телевидения...

Вскоре сообщают, что еще раньше туда же, в Форос, вылетело еще два самолета, по всей видимости, по линии ГКЧП...

Мюнхенская радиостанция «Свобода» цитирует сообщения эстонского радио, которое передало обращение командования Таллиннского гарнизона. В нем говорится, что «войсковые части подчиняются своему командованию, а через него — ГКЧП». «Свобода» же сообщает, что кто-то из командования Сибирским военным округом посетовал в своем интервью по телевидению, что, мол, пресса искажает облик ГКЧП, который ведет себя вполне демократично — издает Указы и не призывает, в отличие от российского правительства, к насильственным действиям...

А что у нас? Мой секретарь докладывает мне о звонке, якобы из полиции, о том, что в одном из зданий посольства подложена бомба. Просят дать разрешение их людям обыскать с собаками все служебные и жилые помещения. Прошу понадежнее уточнить, кто именно из полиции звонил и известно ли об этом в чехосlovakом МИДе... Оказывается, никто из полиции не звонил, и МИДу тоже об этом ничего не известно. Попутно, уже из проверенных, официальных источников, нам сообщили, что около моей резиденции и дома Лебедева пражские власти усилили охрану. Тут уж я звоню жене, подбадривая, что все идет более или менее нормально, но с внучки чтобы не спускала глаз... Она говорит, что и так держит ее почти на постельном режиме и беспрерывно читает сказки...

Лебедев приходит с жалобой на вице-консула — тоже «из них». Отказался выдать визу сотруднику секретариата СБСЕ, который летит в Москву в качестве независимого наблюдателя, и ссылается на какие-то указания, полученные «по их каналам». Вызываю вице-консула и с удовольствием стучу кулаком по столу: не те ли это самые инструкции, по которым вы вчера пытались снять в вестибюле портрет Горбачева? И что это еще за «свои каналы»? Для вас один канал обязателен — указание посла. Консультский деятель клятвенно заверяет, что виза будет выдана в течение получаса. Лебедев с усмешкой замечает, что человека словно подменили. Вчера, потерпев фиаско с портретом, он смотрел волком... Сейчас — почти ягненок. Надолго ли?

В радиообщениях мелькает, что установлена связь с Горбачевым, и Ельцин уже поговорил с ним по телефону.

Следующее, уже ближе к вечеру, сообщение — Горбачев вылетел в Москву...

...В нашем самолете я слышу усиленный микрофоном голос стюардессы: просьба пристегнуть привязные ремни и не курить... Время на раздумье заканчивалось. Сейчас в ВИП, потом в машину... Кремль, Горбачев... Если, конечно, ничего не изменилось за эти часы в самолете... Но что же я скажу...

Так случилось, что с Президентом я встретился только через пять часов после посадки в Шереметьеве. Сегодня, когда я вспоминаю о них, мне кажется, что они тянулись бесконечно и вместе с тем пролетели как один миг... Возможно ли такое? В тот вечер во всяком случае каждая задержка на моем столе стремительно начавшемся пути к креслу министра иностранных дел, казалась благом.

Референт группы обслуживания послов из МИДа встретил меня, как всегда, у самого трапа самолета, но о том, что нам надо ехать не в МИД, а в Кремль, он ничего не знал. Заместитель министра Петровский, которому я позвонил из ВИПа, приветствовал меня преувеличенно тепло и радостно «Ты не представляешь, как воспринято твое заявление, я как раз в это время был в Париже...» Но когда я попросил его заказать пропуск в Кремль для машины, которая приехала за мной в Шереметьево, словно онемел... Значит, и он ничего не знал, и не было смысла объяснять ему что-то по телефону...

По дороге референт морочил мне голову вопросами на тему, ожидать ли ему меня в Кремле с машиной или потом прислать по звонку. Мне было все равно, но я был благодарен ему за его многословие — оно отвлекало мысли и внимание от главного... А между тем от первых же соприкосновений с домашней действительностью розовый туман в моей голове рассеивался, и из «человека со стороны» я неотвратимо превращался в завзятого москвича, каковым и был, собственно, всю мою жизнь, до отлета в Стокгольм, в 1982 году...

Вот и Кремль... Как и следовало ожидать, нашу неказистую, потрепанную «Волгу» попридержали: сначала у Боровицких ворот — долго сверяли залапанный московской грязью номер, потом на повороте на Ивановскую площадь и, наконец, у самого уже «крылечка». В подъезде тоже довольно долго выясняли, кто я такой, куда иду... я и досадовал, и надеялся втайне, что вот-вот дадут мне от ворот поворот. Но нет, всякий раз недоразумение разъяснялось в мою, так

сказать, пользу, и я попадал в распоряжение следующей заставы. Так, будучи мимоходом оповещен, что «Михаил Сергеевич сейчас в Верховном Совете», я оказался наконец в «предбаннике» Анатолия Сергеевича Черняева, многолетнего помощника Горбачева, Толя Черняева, моего давнего и хорошего знакомого... Еще с незапамятных, недоброй памяти брежневских времен...

Вспомнилось, что на днях Горбачев, рассказывая о своем форосском заточении, назвал его «братьем».

Секретарь пошла доложить ему, из вежливости не закрывая за собой двери, и тут же пригласила меня в кабинет. Толя сидел в противоположном от двери углу, у телевизора, и к чему-то старательно прислушивался и присматривался. «Привет, садись», — буркнул он, протянув руку. Словно бы всего два-три часа прошло с тех пор, как мы с ним последний раз виделись.

Я тоже взглянул на экран. Ну понятно! Шла трансляция заседания Верховного Совета СССР. Горбачев на трибуне отвечал на вопросы и реплики депутатов.

Странное это было зрелище, которое мы с Черняевым созерцали на протяжении, наверное, полутора-двух часов. «Вот закончит с ними, вернется к себе и примет тебя», — пояснил мне Толя где-то в середине этой баталии на экране, другого слова не подберешь.

Решающее объяснение, таким образом, немного откладывалось, а моя адаптация к новым и непривычным для меня кремлевским реалиям между тем продолжалась в прежнем стремительном темпе.

Не то чтобы я раньше не бывал никогда в Кремле и не приходилось мне встречаться с сильными мира сего.

И бывал, и приходилось. И во времена Хрущева, и в брежневские, и в черненко-вские недолгую пору... Ну и при Горбачеве, хотя, скажу откровенно, дальше его приемной или кабинета Черняева продвинуться не удавалось. Об этом, думаю, надо упомянуть, чтобы читателю понятнее была вся необычность происходившего со мной, острота моего восприятия всего вокруг.

Сейчас мне уже трудно в деталях припомнить, что в те минуты происходило на экране телевизора, то бишь в зале заседаний Верховного Совета СССР. По форме — это были ответы Президента на запросы депутатов. По существу — публичное, на виду у всего белого света, издевательство над ним. Люди, не нашедшие в себе ни отваги, ни решимости — а может быть, и желания? — выступить против путчистов, теперь, что называется, отводили душу. В иных устах человек

на трибуне выглядел чуть ли не инициатором и вдохновителем путча.

Горбачев между тем даже на самые беспардонные эскалады отвечал хладнокровно и с достоинством. Сидевший рядом со мной Черняев тоже взирал на все происходящее с каким-то непонятным мне философским спокойствием. И чуть ли не с юмором реагировал на возмущенные реплики, которые я, не выдержав, время от времени подавал.

Словом, с каждой минутой я все яснее ощущал, как же многое здесь изменилось. Невольно припомнилась моя первая встреча с Горбачевым в его тогда еще сравнительно недавно обретенном качестве «Генерального секретаря нашей партии», как было принято говорить у завзятых функционеров КПСС. Нет, это не было свидание один на один. Это было в гигантском конференц-зале МИДа СССР, куда на встречу с аппаратом министерства и послами приехал, по приглашению Шеварднадзе, тогда еще только начинавшего свою карьеру министра, сам Горбачев.

«Сам Горбачев? Я вот думаю — долго ли еще продолжала эта формула действовать в отношении лидера, провозгласившего совершенно новый курс страны, основанный на полном разрыве с дурными традициями прошлого? И задавал ли я себе этот вопрос, когда, получив в Стокгольме телеграмму-вызов, собирался в Москву? Тем более что это было в первый раз после апреля 1985 года. Наверное, задавал, по крайней мере подспудно. Во всяком случае мне стало не по себе, когда я увидел, что все выходы и входы перекрыты службой КГБ, когда зал, как и «в старые добрые времена», встал «в едином порыве» при появлении Горбачева. Ну а уж когда Шеварднадзе, который и сам-то, как известно, был одним из главных рычагов начавшихся перемен, стал говорить по бумажке, какая это великая для нас всех честь, что Генеральный секретарь Центрального Комитета нашей партии посетил МИД, причем впервые за всю историю нашего государства, — я совсем впал в уныние... Приободрила меня, и основательно, лишь реплика самого Горбачева, мол, ничего особенного в этом нет и не надо бы преувеличивать.

Шеварднадзе, надо отдать ему должное, нашелся и с улыбкой ответил, что на будущее он замечание Генерального секретаря примет к исполнению, но сейчас будет продолжать читать, как у него написано.

Зал оживился, расцвел улыбками и дальнейшие панегирики, адресованные Горбачеву, воспринимались уже как своеобразная пародия на обычай и ритуалы совсем еще недалекого прошлого.

Словом, тогда я это впервые ощутил, а позднее не раз еще имел повод изумиться тому причудливому сочетанию предрассудков и новаций, которые все эти шесть лет составляли колорит московской (да только ли московской?) жизни. Вспоминаю, как в очередной приезд из Стокгольма я направлялся ранним утром на Старую площадь на прием к Александру Николаевичу Яковлеву, который был тогда в зените своей популярности как один из архитекторов перестройки и в ореоле своего официального положения члена «всемогущего Политбюро», как любили называть этот орган на Западе.

У меня оставалось немного времени до встречи, я прогуливался по улице Куйбышева (теперь снова Ильинка), и провожал взглядом проносившиеся мимо меня из Кремля в ЦК и обратно кавалькады ЗИЛов. В одном из них, как мне показалось, мелькнул и поджидаемый мною собеседник, с которым мы были знакомы уже более двадцати лет. Вот по старой дружбе я и спросил его — полуслучиво, полусерьезно — до каких же, мол, пор будет продолжаться это безобразие... Он, увы, шутки не принял. Поморщился, сказал, что и сам «ставил этот вопрос перед Генсеком», но вот Крючков категорически настаивает и на ЗИЛах — они бронированные, и на сопровождении — возможны покушения. «Даже примеры приводил конкретные, с выстрелами», — глядя мне прямо в глаза, буркнул А. Н. И как всегда, было непонятно, то ли он это всерьез, то ли разыгрывает. Подумать только, какое доверие этому Крючкову и его КГБ... А я-то еще пришел на них жаловаться: совсем заели они меня в Стокгольме...

...Погрузившись в свои воспоминания, я и не заметил, как бурные парламентские дебаты с участием Горбачева сменились на экране картинкой с летним подмосковным пейзажем.

— Пошли, — лаконично бросил мне Черняев и потянулся за пиджаком. — Минут через десять он будет у себя. Ему уже доложено, что ты прилетел...

Путь наш был не коротким. Из одного конца гигантского треугольника в другой. Здание бывшего Совета Министров СССР, который сравнительно недавно был заменен павловским кабинетом министров, теперь уже тоже бывшим... А еще раньше, десятилетия назад, здесь был Совет Народных Комиссаров... А еще раньше Сенат его величества... Люди здесь менялись еще чаще, чем названия. Когда-то, восемнадцать лет назад, Косыгин утверждал меня тут в должности Председателя Всесоюзного Агентства по авторским правам. Потом послом в Швеции и Чехо-Словакии, я ходил сюда на заседания и собеседования к Н. И. Рыжкову. Сиживал в

предбанниках, ожидая вызова, с Павловым, Катушевым, Маслюковым, тоже уже бывшими... Бывший, бывшее, бывшие... Теперь по этому, казалось, бесконечному коридору тени я шел к Президенту Советского Союза, навстречу своему будущему.

— Ну что ты решил? — с тем же, неизменно отличавшим его лаконизмом спросил вдруг Черняев. Я начал бормотать что-то вроде того, что я, мол, сказал Горбачеву, что должен подумать.

— Это-то я знаю, — бросил Черняев. — Ну, а что ты надумал? Что ты решил? Надо же будет отвечать.

Пришлось выбросить еще один спасательный круг: мне бы, мол, надо сначала понять, кому и почему пришла в голову эта идея. Ну о том, что импульсом послужило наше с Лебедевым заявление, догадаться не трудно... Но не это же одно... Кто ему посоветовал? Ты же знаешь, помнишь, сколько лет он держал на отдалении. Даже на прием, по самым неотложным, и то...

— Никто ему не посоветовал, — отрезал Черняев. — Он это сам все придумал. Вызвал Яковлева, меня, говорит, надо Панкина делать... И стал вдруг подробно рассказывать твою биографию. И как ты в Ставрополь к нему приезжал, когда вы в «Комсомолке» безнарядные звенья поднимали... И как тебя за статью Бурлацкого и Карпинского гоняли... И за Байкал... и как в ВААП тебя сослали... Это его собственное выражение, не я придумал. Я его только слушаю и думаю — милый, ну где же ты раньше-то был, если ты так все хорошо помнишь...

Пожалуй, это была самая длинная тирада, которую мне довелось услышать из уст моего старого друга Черняева за долгие-долгие годы нашего знакомства. Когда он заканчивал ее, мы уже сидели в уголке большой, наполненной беспрерывно передвигающимися людьми приемной Горбачева.

— Вот я и хочу его об этом спросить, — загорячился я, воодушевленный неожиданной откровенностью и словоохотливостью собеседника.

— Не стоит, — категорически парировал Черняев. — Зачем? Это уже прошло. Сейчас он тебе доверяет... Он может даже и не понять, что ты имеешь в виду...

Я замолчал, вернее, притих, ощущив, что приблизился не-нароком к какой-то, ведомой лишь самим близким людям — Михаил Сергеевич недаром называл Толю после их форосского сидения братом, — тайне натуры Горбачева.

Разговаривая со мной, Черняев одновременно перекидывался короткими и не вполне понятными непосвященному

фразами с секретарем Горбачева, с одним из его охранников... Те в это время какими-то одним из ведомыми способами регистрировали чуть ли не каждый шаг шефа на его пути из зала заседаний Верховного Совета сюда, в служебную резиденцию Президента. Вот он вышел из зала... Вот остановился в фойе с депутатами... Вот уже на улице, перед машиной его задержали корреспонденты... Кажется, западные... Если он после этого сядет в машину, будет здесь через пять минут. Если пойдет пешком, тогда еще придется ждать... На столе у секретаря тем временем что-то зажигалось, гасло, звенело, гудело...

— Ельцин тебя поддержал, — продолжал Черняев.

— Понятно, — сказал я, — мы с ним знакомы по Праге. Он приезжал в Чехо-Словакию со своим первым официальным визитом, сразу после фиаско в Страсбурге и Париже...

— Во-во, он так и ответил. Я, говорит, Панкина знаю по Праге. Поддерживаю...

— А Шеварднадзе? Я же из Праги телеграммы слал, да и публично заявлял, что надо, мол, Шеварднадзе вミニстры...

— Да мы с Яковлевым сказали ему, что с Шеварднадзе надо поговорить до встречи с тобой... Он, наверное, уже поговорил...

И надо же, на экране, который не гас и в приемной Горбачева, в эту самую минуту Татьяна Миткова, вновь появившаяся в ТСН после разгрома путча, сказала:

— По поступившим к нам достоверным сведениям, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев говорил сегодня по телефону с Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе. Есть все основания полагать, что речь шла о возвращении его на пост министра иностранных дел...

Мы с Толей переглянулись...

— Я же говорил тебе, что он с ним обязательно переговорит...

Тут раздался еще один, какой-то совсем особый сигнал и по оживившемуся обмену репликами всех, находившихся в приемной, я понял, что Горбачев уже у себя в кабине те. Вот сейчас, наверное, меня позовут к нему. Что же я скажу?

Но нет, и на этот раз дело до меня дошло не сразу.

В приемной появился Александр Николаевич Яковлев.

— Привет, — кивнул он мне и тоже с таким видом и такой интонацией, как будто мы с ним расстались только вчера

На самом же деле прошло уже более трех месяцев с нашей встречи в Праге, куда он приезжал на конференцию, созданную Гавелом и Миттераном. И это была совсем другая, прошлая эпоха.

— Увидимся,— добавил он и тут же исчез за дверями, ведущими к Горбачеву.

Я не был шокирован таким его лаконизмом. Давно уже догадывался, что люди на этой высоте — кстати, на кремлевском жаргоне ту часть бывшего Сената, где разместился служебный кабинет Горбачева, так и называли, почти официально, «Высота», — люди на этих вершинах власти живут в совершенно особом психологическом климате, дышат особым, разреженным, как и следует в горах, воздухом, а оттого и видят все в особом свете, и ведут себя по-особому, не как все остальные.

Вскоре мне предстояло в этом убедиться.

И вот наконец дверь, ведущая к Президенту страны, открылась и для меня. В кабинете за письменным столом сидел скульптурный, во весь рост, портрет Горбачева, очень похожий на такие же фигуры в музее мадам Тюссо в Лондоне и в его филиалах в других странах Европы.

Перед самым столом, как водится у нас в служебных кабинетах всех рангов, два кресла. В одном из них сидел Яковлев, которого я так и не научился воспринимать в виде портрета. Во второе — скульптура поднялась из-за стола и превратилась в живого человека — Горбачев усадил меня.

— Ну как,— спросил,— надумал?

И, приняв или пожелав принять ту минутную паузу, которая мне все же требовалась, чтобы произнести первый звук, сказал:

— Вот у меня тут два проекта Указа...

Он сунул правую руку в приоткрытый ящик стола и достал папочку, в которой, как видно было на глаз, лежали две бумаги.

— Вот я сейчас подписываю первую... — он тут же действительно подписал. — И ты уже безработный.

Веселым голосом он прочитал:

— Освободить тов. Панкина Б. Д. от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла в Чехо-Словакии...

С яковлевского кресла послышалось что-то вроде хихиканья...

— Так вот, значит, зачем меня вызывали,— сказал я в той же шутливой манере. — Может быть, сейчас вообще отсюда пригласят... в места не столь отдаленные...

Горбачев поднял голову и внимательно, кажется, даже с удовольствием, посмотрел на меня.

— Нет,— сказал он,— не волнуйся. Этот Указ мы положим вот сюда. — Он взял подписанную им бумагу и сунул ее обратно в ящик стола. — Пусть полежит там, пока Верховный Совет вот эту бумагу не утвердит.

Он взял из папки второй лист, расписался на нем и, поднеся поближе к глазам, прочитал:

— Назначить тов. Панкина Б. Д. министром иностранных дел СССР. Внести настоящий Указ на утверждение Верховного Совета СССР.

Я беспомощно посмотрел на развалившегося напротив в кресле Яковleva — мол, я же еще, собственно...

— Справишься, справишься,— поощрительно загудел он, словно предвосхищая произнесение прочитанного в моих глазах вопроса. — Но учи, могут и не утвердить. Тут, брат, дело такое...

— Утвердят, утвердят,— задиристо возразил ему Горбачев, — пусть попробуют не утвердить.

Он повернулся налево и склонился над широкой светящейся большими светлыми кнопками панелью. Найдя взглядом необходимую ему, нажал:

— Григорий Иванович, зайди.

Через минуту зашел человек, которого, как я потом узнал, звали Григорий Иванович Ревенко. Начальник аппарата Президента, сменивший на этом посту арестованного Болдина.

— На оформление,— протянул ему Горбачев второй Указ.

Григорий Иванович взял бумагу и пошел к двери, подмигнув мне, как старому знакомому. Так, кстати, впоследствии и оказалось.

— И чтобы сегодня же в печать,— кинул ему вдогонку Горбачев. Ревенко поднял руку, посмотрел на часы:

— Через час будет во «Времени».

Горбачев перевел победный взор своих карих, как я успел уже рассмотреть, глаз на меня: мол, видел, как это теперь делается...

И тут я понял, что за последние час-два во второй уже раз прикоснулся к тайнам характера этого человека, который и на седьмом году перестройки, на седьмой день после разгрома путча продолжал оставаться загадкой для всего мира.

Вот тут, казалось бы, наконец-то сесть спокойно и обсудить, чего, собственно говоря, от меня ждут в связи с этим

упавшим, как снег на голову, назначением, отказаться от которого у меня просто не хватило совести. Грешно заботиться о собственных интересах, когда речь идет о судьбе твоей страны.

Дверь снова открылась. Вошел еще один помощник Горбачева, уж не знаю, по его ли вызову или самостийно, и протянул ему какой-то листок с несколькими машинописными строчками, фамилиями, из которых две я нечаянно прочитал — Яковлев и Шеварднадзе.

М. С.— мысленно я уже стал называть его так, как называли близкие ему по работе люди — склонился над этим листком и, казалось, позабыл про все на свете. По крайней мере про меня. Пододвинувшись поближе к перегнувшемуся через стол Яковлеву, он какую-то фамилию вычеркнул, какую-то вписал.

В кабинет входили и выходили знакомые мне, но, казалось, давно сошедшие со сцены люди вроде бывшего члена Политбюро Медведева или примелькавшегося на экранах телевидения Примакова. Бумагу с фамилиями выносили и вновь вносили, и лишь по одной случайной реплике А. Н. я понял, что речь идет о новом составе Совета безопасности при Президенте, который назавтра предстояло утверждать Верховному Совету. В одну из стихийно образовавшихся пауз Горбачев наконец снова обратился ко мне:

— Борис Дмитриевич, ты, если хочешь, иди погуляй, пока мы тут не закончим. Попроси Анатолия Сергеевича, он тебя чайком попоит. Вы ж с ним старые друзья,— он тут удовлетворенно хмыкнул, мол, видишь, все про тебя знаем.— Но далеко не уходи,— он чуть повысил голос и предостерегающе поднял указательный палец.— Я вот разгружусь, мы с тобой еще вдвоем побеседуем.— Взгляд в сторону Яковleva, видно, удостовериться, понял ли он.

Я вышел в приемную. Телевизор в те дни, видно, никогда не выключали. На экране, во всю его ширь,— часы. Часовая стрелка на девяти, минутной оставалось всего полделяния до двенадцати... Так и есть. Программа «Время», или она уже так не называлась? На экране та же Татьяна Миткова.

— Экстренное и неожиданное сообщение,— произнесла она своим милым голосом с теми самыми нестандартными интонациями, которые когда-то сделали славу ТСН.— Чрезвычайное сообщение. Мы только что получили Указ Президента СССР, которым министром иностранных дел Советского Союза назначен, вопреки многочисленным предсказаниям и ожиданиям, не Эдуард Шеварднадзе, а Борис Панкин, до

этого момента — Посол в Чехо-Словакии, который стал известен тем, что героически (на этом слове она сделала свое характерное ударение) выступил против путчистов.

Вот, значит, как теперь объявляют указы Президента о назначении министров. Это вам не Игорь Кириллов с его торжественным баритоном и тем более — не Левитан, прочитывавшие подобные документы с придыханием, от корки до корки, вплоть до места и даты: Москва, Кремль, такого-то числа...

«То-то переполох сейчас подымется во всем мире,— было моей второй мыслью. И, не скрою, представил себе, что скромное мое имя во второй уже раз за последние неполные десять дней в мгновение ока облетит планету, я вдруг впервые ощутил что-то вроде радости от этого неожиданного назначения. Если уж суждено было такому произойти, то и хорошо, что именно так, стремительно и неотвратимо, словно в сказке.

Да, ощущение чего-то волшебного, неправдоподобного продолжало гнездиться во мне и почти физически кружило голову, когда я, стоя посреди приемной Горбачева, отвечал на поздравления всех, кто был вокруг. Стоило просто-таки волевого усилия сообразить, что шумно и сердечно поздравивший меня Примаков ведет уже речь о том, чтобы я направил его куда-нибудь послом, в какую-нибудь из англоязычных стран: «Только не на Ближний Восток, хватит с меня, лучше, например, в ту же Англию. Замятана-то тебе ведь все равно придется менять. Оскандалился он там, за путчистов ратовал».

Так поэзия минуты, не успев отзнучать, уже отступала под натиском прозы житейской.

Но нет, я, конечно, не в силах был даже притворяться что могу говорить о деле. Дверь в кабинет Горбачева то закрывалась, то открывалась. В примыкавшем к приемной закутке спасительно белели телефонные аппараты. Позвонил себе на квартиру, где предупрежденные еще с утра женой должны были собраться сын и дочь со своими супругами. Так и есть. И конечно же, они только что видели все по телевидению. Голоса радостные и тревожные одновременно. Новая жизнь начиналась не для меня одного.

Наконец приемная Горбачева опустела. По сведениям секретаря, у него сейчас только Яковлев. Вот и он выходит. Бросает на ходу, что завтра, по поручению Президента, он представит меня коллегии МИДа: «Созвонимся».

«А в каком же он, собственно, качестве сам-то пребывает?»— мелькнуло у меня. Но на раздумья по этому поводу

уже не остается времени. Меня снова приглашают к Горбачеву. Он стремительно поднимается из-за стола и идет навстречу. Обнимает за плечи, как бы приглашая прогуляться вместе по кабинету — благо простору здесь много. Что-то энергично говорит мне, видимо, очень важное для него. Я вторю ему той же возбужденной скороговоркой. Кое-какие мысли, при всей неожиданности происшедшего, все же успели набежать. И я рад, что они совпадают с тем, что говорит мне Горбачев.

— Мир пришел нам на помощь. Но он хочет знать, что же мы такое сегодня. Америка... Буш первым дозвонился до меня в Форосе, выразил солидарность мне, Раисе Максимовне... Джон Мейджен... Через несколько дней будем его с тобой здесь принимать. Он первый из «великих», кто приедет... Председатель «семерки»... Поговори с Примаковым, у него хорошие контакты с Саудовской Аравией... Король, а как они там болеют за нашу демократию... Нужно менять ориентиры, нужно отбрасывать предубеждения. Ясира Арафата, Каддафи — все напрашиваются в друзья, а сами спят и видят, чтобы мы повернули к прошлому... Хватит с нас двойных стандартов..

Воодушевленный его словами, я перевожу разговор на то, что мне сейчас всего ближе и понятнее. Восточная Европа, Чехо-Словакия... Мы им развязали руки, не вмешивались, когда там происходили «бархатные» и «нежные» революции, а потом словно устыдились самих себя... Ведем себя так, будто хотим наказать за что-то. Гавел, Валенса сколько уже времени добиваются встречи... Стоп, это ведь камешек в огород собеседника... Но все равно. Если уж я согласился стать министром, то не для того, чтобы менять убеждения... Квицинский... Называет новую Восточную Европу провинцией... Пародия на geopolитику... С министрами разговаривает, как со своими подчиненными.

— А какие телеграммы рассыпал Квицинский? — подхватывает Горбачев. — Руководствуйтесь указаниями путчистов? Да, это совпадает... Мне говорили об этом. И Бессмертных оказался не на высоте. Сейчас плачет, дает интервью, просится на прием...

Я начинаю понимать, что собеседник мой сейчас больше склонен говорить о людях, чем об идеях...

В МИДе многое надо менять, многое... Сидели, молчали, обслуживали... Чуть ли не все послы взяли под козырек. Все это надо основательно расследовать. Ко мне идут сигналы — лидеры не хотят иметь дело с такими послами... Во Франции, в Югославии... Но внимательно, чтобы новых дров

не наломать. Мы не хотим лишних жертв. Кто действительно поддержал путч, тех, конечно, убирать...

Так мы долго еще возбужденно ходили по просторному кабинету, то чуть ли не в обнимку, то отдаляясь, то как бы стукаясь друг о друга... Посмотрел бы кто со стороны — словно две шаровые молнии, чудом оказавшиеся в одном замкнутом пространстве...

На прощание он показывает мне на телефонный аппарат, на котором написано «министр иностранных дел».

— Прямая связь. Такой и у тебя стоит. Берешь трубку там, и я снимаю здесь. Без посредников...

В одиннадцатом часу вечера мы расстаемся с ним как самые близкие друзья. Я не первый уже год пристально наблюдаю за ним, пробую на зубок каждый его поступок, каждое слово — не только по политическим, по психологическим, писательским соображениям. Он, может быть, впервые услышал сегодня мой голос не по телефону... Вот как легко и стремительно, значит, он может сходиться с людьми... Не столь же ли безоглядно он с ними и расстается?

...Тогда уже или значительно позже мелькнула у меня эта мысль? Странный мир, каким мне представила Москва на седьмой день после путча, продолжал между тем жить по своим странным законам.

Наутро, после почти бессонной ночи, проведенной в разговорах с моими взрослыми уже детьми, я встал с постели с ощущением человека, который абсолютно не знает и не понимает, что же ему дальше делать.

Яковлевское лаконичное: «Я тебя завтра представлю» — было, пожалуй, единственным ориентиром в моей теперешней жизни.

Представлю. Но как и когда это, собственно, произойдет? И как он меня найдет? Помнит ли мой домашний телефон?

Впрочем, неопределенность ситуации не столько тяготила, сколько забавляла меня. Я включил приемник — по «Маяку», упомянули о моем назначении. Поискал Би-Би-Си — там это сообщение тоже повторяли в числе самых первоочередных. Поискал «Свободу» и сразу же напал на свое интервью, данное еще в Праге в связи с заявлением. Звучало как раз то место, где я говорил, что как не было бы, наверное, без начатой в Москве в апреле 1985 года перестройки «бархатной» революции в Праге, так, быть может, и не развилось бы столь стремительно и неотвратимо народное сопротивление путчистам.

Все же понравилось, как я назвал эти августовские дни в Москве — Дни преображения. Нельзя не видеть какого-то предзнаменования в том, что схватке прошлого с будущим суждено было начаться именно 19 августа — в день преображения Иисуса Христа. Не обязательно быть верующим, чтобы пережить эту символику.

Интервью недельной давности, и «Свобода» повторила его, конечно, в связи с моим назначением.

Поистине до смешного — только шаг. Тот, кому весь мир перемывает сейчас косточки, сидит в пижаме у радиоприемника и начинает уже подумывать, а не отменили ли его так скороспело состоявшееся назначение.

Время от времени звонки от родных или от друзей. Каждый поздравляет, но и удивляется, что я дома. Все острее сознаю, что люди здесь привыкли быть готовыми ко всему. Так что мое, самому мне казавшееся поначалу праздным предположение, быть может, приходит в голову и им.

Ближе к середине дня решил позвонить Яковлеву. Только где его теперь искать? Ибо не известно, кто он, собственно.

Звонить домой? Обидишь его, если застанешь. Вспомнишь семью, если его нет дома. Нашел в записной книжке какой-то старый его телефон и попал на его секретаря, Стасика, Станислава Константиновича.

— Александр Николаевич? — удивленно переспрашивает он.— Вы разве не смотрите телевизор?

Странный вопрос деловому человеку в середине дня.

— Смотрю. Тут какие-то мультики идут.

— А какую программу? — начинает догадываться он.— Переключайтесь скорее на вторую программу. Там же идет трансляция сессии Верховного Совета!

Ах вот оно что. Я все еще не привыкну, что я в Москве, а не в Праге, где я все равно мог смотреть только первую программу. А именно по второй идет прямая трансляция всех официальных форумов.

Так и есть. Как и вчера, на экране — Верховный Совет, а на трибуне — Горбачев. Начинаю догадываться, что идет обсуждение того самого списка, который вчера составлялся в такой спешке на моих глазах.

Телефонный звонок. Теперь это Стасик, то бишь Станислав Константинович, звонит мне. Оказывается, он уже успел как-то связаться с Яковлевым, который сидит на сессии, в правой ложе амфитеатра, ждет решения своей судьбы — этого, впрочем, Стасик, обожающий своего шефа, вслух не сказал — и просит меня не беспокоиться. Он, Яковлев, уже назначил

заседание коллегии на 17.00. За мной пришлют машину, мы воссоединимся в Кремле и поедем вместе на Смоленскую. Теперь мне все понятно. Он ждет утверждения состава Совета Безопасности, и уже в новом качестве представит меня моим будущим сотрудникам.

Надо ли говорить, что на экран я теперь стал смотреть с удвоенным интересом, который, впрочем, не ослабевая, приобретал постепенно оттенок отвращения. Продолжалось, в сущности, вчерашнее. Обсуждали не кандидатуры, обсуждали Президента, который... допустил путч и обрек бедных депутатов на необходимость делать выбор. Прислушиваясь к словам тех, кто не потерял еще моего уважения, я убеждался, что это — не только мое ощущение.

Стрелка часов подбиралась уже к пяти, когда обнаружилось, что список с треском проваливается. Не из-за фамилий, внесенных в него,— коль скоро вчера еще, в этом же зале Горбачева критиковали за то, что он разогнал всех инициаторов перестройки и окружил себя какой-то швалью, странно было бы теперь не позволить ему вернуть на командные высоты Шеварднадзе, Бакатина, того же Яковleva... Нет, под сомнение поставили само право Президента иметь Совет Безопасности и под этим процедурным предлогом завалили список...

Судя по всему, в аппарате Президента не менее внимательно, чем я, наблюдали за происходящим на сессии. Не успел погаснуть экран, не успел я задуматься, как же мне дальше быть, как снова раздался звонок. Звонили из Кремля, но на этот раз не Стасик, а Григорий Иванович Ревенко. Он сказал, что теперь Президент ему поручил представить меня коллегии МИДа, и он в этой связи просит меня заехать за ним на машине, которая уже стоит у моего подъезда.

Ревенко встретил меня в дверях своего кабинета. Он сказал, что предупредил уже товарищей в МИДе, что мы задерживаемся. Я же подумал о том, как среагируют «товарищи в МИДе» на то, что нового министра им представят не Президент и даже не ближайший его соратник, пусть он и не при чинах ныне, а руководитель президентского аппарата, пока еще мало кому известный, как я справедливо полагал. Как бы его самого не пришлось вначале представлять.

Ревенко, впрочем, никак не был смущен предстоявшей нам процедурой, и всю дорогу рассказывал, как и где мы с ним встречались, когда я был «известным главным редактором «Комсомолки», а он скромным первым секретарем киевского обкома комсомола. Из вежливости я пытался не обнаружить, что совсем не помню всех этих сцен, да и самого

Ревенко смутно вспоминаю только по имени. Но все равно приятно было убедиться лишний раз, что как главного редактора «Комсомолки» конца шестидесятых — начала семидесятых годов меня действительно многие помнят. Это придавало уверенности.

Вот и Смоленская. Девять лет ходил я сюда в качестве посла. Попал, как все обыкновенные люди, вернее, как те обыкновенные из числа тех посвященных, которые вообще имеют сюда доступ с Центрального, то есть общего подъезда. Показывал, как все, свой пропуск или дипломатический паспорт милиционерам, сначала на одном посту, потом на другом, поджидал вместе со всеми, пока подойдет одна из гигантских кабин одряхлевших мидовских лифтов со следами былой роскоши в виде потертых деревянных панелей и потускневшей бронзы. На седьмом этаже, где расположено начальство, то есть министр и его заместители, останавливаются только два из шести лифтов, остальные проскаакивают сразу на десятый... И вот теперь, кажется, впервые мне предстояло попасть в МИД с начальственного особого двора и особого входа... Внизу, у самого этого входа нас ждал заместитель министра Петровский... Я не из слабонервных и не отношу себя к числу очень уж впечатлительных, но все же не скрою, странное это было чувство увидеть и козыряющего тебе милиционера и устремившегося навстречу Петровского... Сколько раз, бывало, приходилось поджидать приема у него в предбаннике. Нет-нет, он как раз один из самых вежливых людей на свете. И держаться с послами всегда старался по-свойски, но — замминистра есть замминистра...

Человеческий мозг с его невероятной пропускной способностью, да и натура человека в целом,— удивительная вещь, в чем я мог еще раз убедиться в тот достопамятный вечер. Сколько же картин и видений мелькнуло у меня в мозгу в мгновение ока, как говорится, когда я вошел в битком набитый людьми зал коллегии. Сколько раз, бывало, приходилось ожидать «своего вопроса» у дверей этого зала, сколько раз отсиживаться в торце среди «заднекамеечников». Да и рапортовать — с места и с трибуны, по старой, неистребимой школьной привычке опасаясь вопросов «на засыпку» от этих снобов, для которых будь ты хоть трижды посол и хоть семь пядей во лбу, все равно ты «пришлый», любитель, коль скоро не тянул здесь лямку с дежурного референта... Что им до того, что ты тянул эту самую лямку с того же практиканта и стажера, к примеру, в «Комсомолке», а другой, может быть, в университетских или научных кругах...

Но делать нечего, держись, держись, Борис Дмитриевич. Назвался груздем — полезай в кузов. Я знал, несмотря ни на что, здесь умеют ценить и уверенность в себе, черту, которую всегда и всюду наш дипломат, как внушают им это с пеленок, должен демонстрировать прежде всего. И наоборот, попробуй только дрогнуть, размякнуть или, того хуже, заробеть... Словом, я вошел с весьма непринужденным видом. Спокойно кивнул залу, подавшемуся навстречу, так же спокойно выслушал комплименты Григория Ивановича в мой адрес, правда, весьма лаконичные и деловые, и так же лаконично объявил, что считаю для себя высокой честью полученное назначение, что не считаю сейчас нужным выступать с тронной речью. Задачи наши предельно ясны в главном: нужна внешняя политика победившей демократии. Детали же еще будет времени обсудить.

Но два заявления я сделал тут же. И они, кажется, были неожиданностью даже для Ревенко. Я сказал, что обязанности первого заместителя руководителя аппарата будет теперь исполнять Владимир Федорович Петровский и что, соответственно, Юлий Михайлович Квицинский этих обязанностей отныне исполнять не будет. Почему Квицинский? Это, надеюсь, всем было понятно. Почему Петровский? Ну, должен же кто-то на первых порах помочь мне сориентироваться, а он по своей натуре и давно известной демократической настроенности подходил для этого больше всего.

На том и закончилась первая встреча с моими сотрудниками.

Из зала заседаний прошел, ведомый Ревенко и Петровским, в кабинет. Они тут же меня покинули, а я с тем же чувством, как в зале коллегии, обвел взглядом стены... Святая святых союзной дипломатической службы. Портрет Ленина на стене; маленький, как бы интимный, портрет Горбачева в рамочке с подпоркой на специальной тумбочке — в духе той моды, которая охватила за последние годы все руководящие кабинеты.

Взгляд упал на батарею телефонов. Нашел среди них тот, на котором написано «Горбачев». Подумал, подумал и снял трубку. Два-три специфических гудка, и знакомый голос с южнорусской интонацией и произношением:

— Здравствуй, Борис Дмитриевич! Ну как ты там, уже руководишь?

— Нет, еще только оглядываюсь,— отшутился.

— Ну, давай, действуй,— в узнаваемой уже энергичной манере пожелал он.— Да, не забудь — скоро тебе Майджора встречать.

И повесил трубку, так же стремительно и неожиданно, как он будет делать это и впредь, в течение тех трех месяцев, которые мы будем работать, что называется, рука об руку. Тогда ли это пришло мне в голову или уже позднее, но я подумал: мало, наверное, кто догадывается, что этот человек, которого все вокруг упрекают в опозданиях и отставаниях, живет в таком бешеном, сжигающем его ритме. И еще меня осенило — в этом же ритме обречен теперь жить и я. Так оно и случилось.

## БУМАГИ ИЗ «КРАСНОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

В тот первый день в МИДе я ушел с работы около одиннадцати часов вечера. Да еще и с собой унес папку с бумагами. Приехав через три месяца послом в Лондон, я узнал, что «задание на дом» — обычное, можно сказать, ритуальное дело и для членов английского правительства. Они увозят бумаги домой в так называемом «ред боксе», красном, то есть как бы горячем, чемоданчике. Что же было тогда в моем «красном чемоданчике»? Нет, не обязательно именно в тот, первый вечер, вернее, в ночь моего первого возвращения с работы или, скажем — ранним утром следующего дня, когда я собирался начать мои регулярные трудовые будни? Образно говоря, в том красном, поистине горячем чемоданчике лежала целая страна, чтоб страна, целый мир.

Вот записка от Петровского. И когда он только успел ее написать? Впрочем, поначалу он, возможно, адресовал ее вовсе и не мне. Теперь она лежала передо мной. Московская гуманитарная конференция. Словосочетание, превратившееся, по сути, в клише за три с лишним года, прошедшие с тех пор, когда в Вене было принято решение о проведении трех таких встреч по правам человека — в Париже, Копенгагене и, наконец, в Москве. Сколько раз мне и из Стокгольма, и из Праги доводилось писать на эту тему — выдвинувшее нами предложение провести заключительную встречу в Москве не случайно вызвало поначалу волну изумления, если не возмущения. Тюрьма народов, империя зла, по убийственно-му выражению Рейгана, и вдруг — конференция по правам человека. Не для очередного ли обмана общественного мнения все это придумано? Честно говоря, мне и самому иногда так казалось. Страсть к проведению многолюдных, широковещательных форумов, особенно в защиту мира, была, можно сказать, в крови вершителей нашей внешней политики. Для нас привычным и естественным было ратовать публично за такие цели, которые, как все понимали, явно ничего общего не имели с нашими, вернее, нашей элиты, истинными намерениями. И настроениями. Взять хотя бы тот же Хельсинкский процесс, ту же конференцию по безопасности и сотрудничеству в Европе, которой мы добивались с таким упорством в течение многих-многих лет. Хельсинкский акт, положения которого особенно из так называемой третьей корзины мы отнюдь не собирались выполнять... По крайней мере при Брежневе. Зато какая несравненная возможность направиться торжественно в Хельсинки, покрасоваться на виду у всего

мира за одним столом с лидерами чуть ли не всего северного полушария и расписаться под документом, который войдет во все учебники истории. Помню, что глядя на передачи тех дней из Хельсинки, я невольно вспоминал кадры печально знаменитого фильма «Падение Берлина». В чем, в чем, а в величавости поступи Леонид Ильич не уступал, пожалуй, и самому Иосифу Виссарионовичу. Правда, вот в коварстве ему было за ним не угнаться. Во всяком случае ни одна из самых фарисейских и кровожадных затей «вождя всех народов» не обернулась против него при его жизни — другое дело, что из гроба он и до сих пор может со злорадством наблюдать, как корчается страна, народ, да и целый мир в тисках унаследованных от него порядков и решений. Брежневу же при жизни пришлось помаяться с этой самой третьей корзиной, которая требовала от него, если всерьез относиться к принятым обязательствам, ни много ни мало из ястреба стать голубем. Уничтожить цензуру, разрешить другие политические партии, открыть двери камер с политическими заключенными. Да еще прежде признать, что у нас таковые, действительно, имеются...

Перестройка отмечала уже вторую или третью годовщину, когда явилась эта идея с проведением конференции по человеческому измерению в Москве, а мир все еще искал подвоя в этом на первый взгляд щедром и великодушном предложении, все еще не доверял нам...

Многим казалось, что провести такую конференцию в Москве, — все равно что устроить пир во время чумы да еще в самом эпицентре эпидемии. Но — о могучая сила переговоров, конференций, двусторонних и многочисленных встреч. Я давно уже убедился, что в международном общении проходила любая идея. Будучи однажды выдвинутым предложение о гуманитарной конференции продолжало жить своей собственной жизнью, и уже никто не в силах был его остановить — точно так же, как два десятка лет назад ничего нельзя было поделать с несокрушимой нашей волей к созыву конференции по безопасности в Европе.

В конечном счете договорились, как известно, о трехэтапном проведении этого форума, с тем чтобы лишь третья, заключительная часть прошла в Москве. Положились, видимо, на старую восточную мудрость — к тому времени, мол, либо эмир умрет, либо осел сдохнет... Вот я и отписывался, говоря на дипломатическом жаргоне, и из Стокгольма, и из Праги об отношении в «странах пребывания» (тот же жargon) то к первому этапу — в Париже, то ко второму — в Копенгагене, ни сном ни духом не ведая, что может возникнуть

такая ситуация, когда от меня будет зависеть — быть или не быть третьему этапу конференции по правам человека... Открытие его еще три года назад было назначено на 9 сентября 1991 года. А сейчас шла ночь с 29 на 30 августа.

Что эмир, что осел... Мы потрясли мир сначала путчем, а потом разгромом его... Президент одной из двух сверхдержав вдруг пропал без вести, а другому президенту — Российскому — пришлось, чтобы выручить его и всю страну, взбираться на виду у целого мира на один из танков, которыми в те дни была запружена матушка-Москва... Меж тем как парламент, впервые за всю нашу историю избранный путем свободного народного волеизъявления, застыл в бессилии и страхе, словно загипнотизированный чинами, должностями и самими именами путчистов. Шутка ли — вице-президент, премьер-министр, министр обороны и глава службы самой государственной безопасности, которому по определению надлежало олицетворять самое эту безопасность. А между тем это был тот самый парламент, тот самый Верховный Совет, который последние год-два просто-таки как блины пек законы, утверждающие всевозможные права советского человека и гарантии этих прав. Ни одного, кажется, международного акта и пакта не оставил втуне, не присоединившись к нему...

И вот стоило только задуть холодному северному ветру — «сиверко», и все эти права и гарантии закружило и понесло, словно осенние листья в непогоду...

Еще раз напоминаю себе: сейчас ночь на 30 августа, а конференции быть (или не быть?) 9 сентября. С точки зрения практической, здорово-бюрократической, если хотите, — досадное совпадение, обуза. Ну кому, скажите, сейчас до гостей, да еще таких высоких — ведь конференция должна начаться на уровне министров иностранных дел всех стран Европы, Соединенных Штатов и Канады, — в бедной нашей, еще не пришедшей в себя от шока столице. В Москве, только что похоронившей с почестями трех прекрасных ребят — Дмитрия Комаря, Илью Кричевского, Владимира Усова... В стране, которая и сегодня еще не отдает себе отчета в том, что же она такое.

И тут же другая мысль. С точки зрения гуманности, того самого человеческого измерения, которому посвящена конференция, когда же и проводить ее, как не сейчас, а именно в Москве, только что сбросившей ярмо тоталитаризма? Есть ли действительно лучший способ сразу же и на всю планету объявить о намерениях и планах, по существу, заново родившегося государства, и прежде всего в такой самой больной, самой чувствительной всегда для него сфере, как права человека?

Вот только как обстоит дело с организационной стороной? Я продолжаю читать записку Петровского...

Впрочем, это не единственное «домашнее задание», что успели уже подготовить для меня заместители. Вот папочка с кратким наименованием «О послах». Еще не открыв ее, я уже знал, что именно с ней будет связана самая тяжкая часть моих новых обязанностей. Сколько же раз за эти дни и недели мне придется заглядывать в нее — с той же смесью боли, неприязни и сострадания.

Двенадцать дней прошло с начала путча, девять — со дня его разгрома. Случайно или нет, но поведение послов в те роковые дни до сих пор цепко притягивало к себе внимание нашей и мировой прессы. Стоило попытаться понять — почему?

Вырезки из прессы, нашей и зарубежной. Знакомые имена, знакомые лица на газетных и журнальных фотографиях. Хлесткие, ядовитые заголовки. Те, кого привыкли видеть как бы в «красном углу» мирового общественного мнения — приемы, визиты, переговоры, проводы и встречи высоких делегаций,— сегодня персонажи карикатур и памфлетов... И всюду, для контраста, ссылки на меня, на наше с Сашей заявление... Единственный из послов... Но если ты — единственный, значит, остальные... Что же теперь, менять одним махом весь посольский корпус? Но даже в семнадцатом году у Ленина, у большевиков духу на это не хватило...

Листаю бумаги и обнаруживаю, что целый ряд послов уже вызван в Москву. Правда, не тридцать, как писали газеты, а семь... Лондон, Париж, Белград, Стокгольм... Замятин, Дубинин, Логинов, Успенский... Правду говорят, бутерброд всегда падает на землю маслом вниз. Надо же было такому случиться, что из великого множества моих недавних коллег на авансцене, в свете рампы, как говорится, оказались именно те, кого я довольно хорошо знал лично. За каждым именем — шлейф встреч, столкновений, сопереживаний...

Вот Николай Николаевич Успенский, например, Коля Успенский, тот, кто сменил меня в Стокгольме каких-нибудь четырнадцать месяцев назад... В 1984 году он, тогда первый секретарь посольства в Лондоне, переводил Горбачеву — в самую первую его поездку в Великобританию еще в качестве секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Тогда проницательная Маргарет Тэтчер сказала: «Это человек, с которым можно делать дело». Успенский тогда, как все вокруг уловили, явно показался Горбачеву. Не в пример тогдашнему послу, который все старался обучать его тонкому искусству общения с иностранцами. В результате посла вскоре отзвали,

а Колю, наоборот, вызвали в Москву и назначили заместителем заведующего отделом.

Через год, в 1986-м, в МИДе состоялось историческое, как его определил Шеварднадзе, совещание с участием Генерального секретаря. Кому выступить на нем от имени подающей надежды молодежи, среднего возраста (тогда ораторов назначали)? Начальник Успенского, старый зубр, чья карьера состоялась в эпоху Громыко, предложил кандидатуру Коли. Как же он обмишуился! И одного, и другого своего заместителя выдвинул в ораторы. Один после этого стал секретарем парткома и вскоре завел какое-то дело на своего благодетеля, другой — наш Коля,— сменил учителя на его посту заведующего отделом, в ведение которого наряду с Англией, Канадой и Ирландией передали еще и Скандинавию. Тут мы с Колей и познакомились. И, признаюсь, с ним поначалу иметь дело было куда приятнее, чем с его предшественником на скандинавском направлении. Тоже «старый орешек», при Вышинском еще начинал. Стойкий сталинец. Одна фамилия чего стоила — Фарафонов.

Когда я перебрался в Прагу, а Успенский поехал на мое место в Стокгольм, в МИДе стали говорить, что его будто подменили. И я сам, увы, имел случай в этом убедиться. За несколько дней до путча провел пару отпускных недель в Швеции по приглашению старых друзей-шведов. Виделись мы с Успенским часа два, и его в самом деле нельзя было узнать — какой-то растерянный, испуганный. Так подействовала на него, объяснил я себе, мало кому ведомая, пока сам не по-пробуешь, рутина посольских обязанностей. Кто-то из бывших моих сослуживцев успел, правда, шепнуть, что, мол, совсем его охмурили тут, как ксендзы Адама Козлевича из знаменитого романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», «соседи», близкий и дальний. Дипломатам не надо объяснять, что означают эти выражения. Резиденты КГБ и ГРУ. Я еще вспомнил, что при нашей встрече в Москве — он собирался в Стокгольм, я — в Прагу, — я откровенно поделился с ним своим печальным опытом общения с этой публикой.

Словом, по этой, по другой ли причине, но в роковые августовские три дня наш Николай Николаевич, выдвиженец перестройки, любимец Горбачева и Шеварднадзе, судя по маленькому досье, которое теперь лежало передо мной, отставал в контактах со шведской прессой конституционность янаевско-язовского путча и право ГКЧП на предпринятые им сатраповские меры.

В мидовской справке об этом было сказано по-бюрократически лаконично: «21 августа 1991 года в период государ-

ственного переворота предоставил интервью шведской газете, которое было расценено в Швеции и за рубежом как поддержка линии заговорщиков. Признает, что одно из положений в интервью давало повод для подобных толкований. Своими действиями нанес ущерб авторитету советского представителя в Швеции».

Небольшая, со сдержанным негодованием написанная заметка в шведской газете «Дагенс Нюхетер», посвященная поведению советского посла, заканчивалась следующими словами: «...уклониться от выражения своей позиции — не всегда является высшим искусством дипломатии. Бывают моменты, когда даже человек, находящийся в сложном положении, с точки зрения своего официального поста, должен оценивать события с моральной точки зрения и держать слово чести».

Согласно публикации в другой шведской газете, в ответ на вопрос, почему он, в отличие от своего предшественника, не выступил против путча, Успенский простодушно ответил, что, видимо, у Панкина было больше информации на этот счет...

Листать дальше эту папочку, где находилось еще с десяток такого же рода коллекций, мне в ту ночь не захотелось. Но я, конечно, отдавал себе отчет, что рано или поздно (лучше рано) к ней все равно придется вернуться.

Да и вообще в ту ночь, первую после моего представления коллегии МИДа и последнюю — перед наступлением будней, если, конечно, можно назвать буднями, то есть трудовой обыденностью то, что тогда происходило в Москве, в том числе и по «вверенному мне ведомству», я не сумел одолеть больше ни одной бумажки из «красного чемоданчика».

Впрочем, что бумажки. Я и без них ощущал почти физически, как голова моя распухает от предстоящих забот, уже сейчас отчетливо видимых и таких, что пока лишь смутно вырисовываются в сознании. Как справедливо заметила тогда одна из наших новых газет, кажется, «Мегаполис-Экспресс»: «Драма советской внешней политики заключается в том, что тяжелейшее испытание в ее тылу состоялось перед лицом бьющей ключом международной жизни».

Прага, где я провел последние пятнадцать месяцев, Прага Гавела и Дубчека, Динстбира и Клауса превратилась, благодаря их неуемной энергии неофитов, в один из эпицентров международной активности в мире. Кто только не побывал в ту пору в гостях у вчерашнего диссидента, узника совести, драматурга и философа, шагнувшего почти буквально из тюремной камеры в кресло президента! Президент Буш, Маргарет Тэтчер, тогда еще в качестве премь-

ера-министра, призывавшая с трибуны Национального собрания этой поднимавшейся с колен страны к крестовому походу против коммунистов. Гельмут Коль, озабоченный судьбою судетских немцев, перед которыми Вацлав Гавел, еще не успевший обрасти толстой кожей политика, поспешил извиниться уже в первые дни своего, поразившего мир, прихода к власти. Франсуа Миттеран с его идеей Конфедерации Европы, которая в лице новых чехословацких лидеров нашла самых страстных прозелитов, потому что само слово Европа, в противопоставлении Советскому Союзу, звучало для них заораживающее...

Словом, не было тогда такой инициативы с Запада, которую бы они не поддерживали, как не было недостатка и в их собственных, бьющих фонтаном идеях... Не было такого события в мире, тем более конфликта, в который бы они не сочли совершенно необходимым вмешаться или по крайней мере радикально высказаться — будь то агрессия Ирака в Кувейте или «давний спор славян» в Югославии, или обострение отношений какой-нибудь южноамериканской республики со своим тоталитарным соседом Кубой... Все, все находило свой отзвук в стране, прежние правители которой знали и умели только одно — смотреть в рот Москве и ожидать ее указаний.

Мудрено ли, что сложный и запутанный клубок отношений завязывался и с самой Москвой, тем более болезненный, что дискутировать-то теперь приходилось не с Брежневым и не с Черненко или Громыко, а с отцами и инициаторами перестройки — Горбачевым, Рыжковым, Шеварднадзе... Все, все в наших отношениях к тому времени было стерто до крови, как холка лошади с неумелым седоком... Экономика, вывод войск, споры об остающемся военном имуществе, о роли КГБ в событиях «бархатной революции»...

И по должности, и по темпераменту своему я, как посол Советского Союза, варился, естественно, в этом кotle, и в мыслях своих порою просто терялся — получалось, что в интересах своей страны разумнее было поддерживать пражское руководство. Когда был убежден в этом, так и писал в своих посольских донесениях. В ответ как-то на коллегии МИДа, которая проходила уже под председательством министра Бессмертных месяца за три до путча, тот же самый Юлий Квицинский, Квицинский-Великолепный, как называли его некоторые из его поклонников, упрекнул меня — в шутливой вроде бы манере, но всерьез — в неумении «давать, когда надо, по склону этим новоявленным лидерам Восточной Европы». Сам-то он, отдалим ему должное, этой способностью

обладал в полной мере. И звуки раздаваемых им, тогда первым заместителем министра иностранных дел СССР, дипломатических затрецин раздавались по всей бывшей социалистической Европе...

Сколько, вспоминал я, шифровок было отправлено, сколько чернил исписано, чтобы убедить, скажем, Москву, а именно — Павлова, не перекрывать «кранник» нефтяной трубы из Советского Союза, этой поистине сердечной аорты, обеспечивающей жизнедеятельность всего экономического организма Чехии и Словакии. А как травмировало новую демократическую власть упорное нежелание Михаила Сергеевича встречаться с Гавелом, да и с другими лидерами посткоммунистической Европы...

Когда в июне 1991 года на прощальное заседание стран — участниц Варшавского Договора в Прагу, где собирались лидеры всей Восточной Европы, Президент послал вместо себя Янаева, я не знаю, кто больше был огорчен — хозяева ли, Гавел с Динстбиrom, лелеявшие мысль хотя бы таким образом повидаться с инициатором перестройки и обсудить свои дела, или я, потративший на шифруговоры больше месяца — даже Александра Николаевича Яковleva, который заезжал на пару дней в Прагу, заставил подписать под одной из моих многочисленных телеграмм. Все напрасно.

Как я уже говорил, кто-то, скорее всего, Квицинский, то-то он именником ходил, убедил Горбачева, что ему не к лицу присутствовать на похоронах Варшавского Договора, и доводы противоположного толка — его присутствие в эти дни в Праге как раз бы и превратило предполагаемые похороны в рождение — рождение новой эры в отношениях между бывшей империей и ее бывшими сателлитами, не производили на Михаила Сергеевича никакого впечатления. Только новые укоризны в адрес надоедливого посла со стороны: чего, мол, суетится, чего лезет, куда его не просят. Не иначе высочайшего гостя хочет к себе заполучить...

Ну а после злополучного инцидента на Парижской встрече лидеров стран — участниц Хельсинского процесса кое-кто из доброхотов вообще посоветовал начинать собирать чемоданы. Дело в том, что после долгих уговоров удалось-таки убедить Горбачева встретиться и поговорить с Гавелом хотя бы в Париже: все-таки третья страна — ни тебе к нему, ни ему к тебе ехать не надо... Намерения, как мне потом, когда все сорвалось, рассказывал, позвонив в Прагу, Шеварднадзе, были самые серьезные и конструктивные. На встречу было отведено полтора часа... И надо же такому случиться: перед самой этой встречей Вацлаву Гавелу в порядке про-

токольной очередности предоставляют слово, и он в своем выступлении, — о святая простота! — предлагает предоставить Прибалтийским, тогда еще советским социалистическим, республикам статус наблюдателей на этой конференции СБСЕ. Словно бы он и слыхом не слыхивал, что именно Горбачев был против того, чтобы их представителей хотя бы в зал-то как простых слушателей допустили.

Реакция советской делегации не заставила себя ждать. Долгожданная встреча была отменена буквально за полчаса до ее начала. И безо всяких объяснений. Только чуть позднее, когда во время фотографирования лидеров стран и делегаций неустрешимый Гавел, гроза всех тюремщиков в тюрьме Панкрац, деликатно поинтересовался у Горбачева, в чем же дело, тот снискходительно пояснил, что, мол, не политические факторы тут причиной, просто изменился рабочий график. Шеварднадзе чувствовал себя неуютно, посчитав необходимым объяснить мне, как и почему все так получилось, и просить успокоить по возможности чехов. Что же говорить послу, чья первая заповедь — уж так оно от века ведется — поддерживать и разъяснять действия и помыслы своего руководства? На чью сторону должен был стать я в ту пору, хотя бы в душе своей, что отвечать на многочисленные вопросы политического истеблишмента и прессы ЧСФР?

А главное, что говорить по самому существу-то вопроса, ставшего еще одним яблоком раздора между руководством двух наших стран — по поводу перспектив независимости Прибалтийских республик?

Это «яблоко» или, если хотите, горячую картофелину я катал из ладони в ладонь еще в Стокгольме. Социал-демократы, находившиеся там у власти с довоенных времен, испытывали, не признаваясь в том, что-то вроде комплекса исторической вины перед этими республиками за то, что признали де-факто их вхождение, вернее, присоединение к Советскому Союзу, а сразу после войны согласились депортировать из Швеции большое число граждан Прибалтики, обвиненных нашей страной, не всегда без основания, впрочем, в сотрудничестве с нацизмом. Все последующие годы социал-демократы всячески пытались загладить свой промах, а когда началась перестройка, решили, что час пробил. Тем более и географически Прибалтика близка к Швеции и исторически в эпоху «шведского великородства», закончившегося разгромом Карла XII под Полтавой, вообще была чуть ли не вся, частью этой североевропейской страны. Эмиссары из Швеции непрерывно бороздили воды Балтийского моря, а

кто-нибудь из лидеров нарождавшихся народных фронтов Прибалтики обязательно гостил в Стокгольме.

В беседах со мной — а лидеры фронтов, не говоря уж о представителях официального Стокгольма, не обходили посольство стороной — и те и другие убеждали меня в том, правда, я и сам был убежден не меньше их, что Москва безбожно отстает в реализации ею же самою декларированных принципов, обещает, но никак не хочет предоставить республикам хотя бы экономическую независимость.

— Если бы в Союзном договоре Центр заговорил хотя бы на год раньше, — шепнула мне как-то на приеме эстонка Лаурин, — никто бы сейчас не ставил вопроса об отделении. А теперь каждого, кто заикнется против этого, просто сметут... Просто сметут, — повторила с непередаваемой интонацией эта зачинательница демократического движения в Эстонии. Так, собственно, со многими и случилось.

То же самое они потом говорили социал-демократическому министру иностранных дел Стену Андерссону, когда тот по пути в Москву посетил Таллинн, Ригу и Вильнюс. А он пересказал все, сдобрив своими советами, Рыжкову, премьер-министру, теперь уже бывшему. И я, сопровождавший, как положено послу принимающей страны, Стена Андерссона в той поездке, как музыку слушал его далеко не мелодичные речи, потому что ведь все, о чем он говорил, я не раз и не два писал в своих телеграммах из Стокгольма.

Вацлав Гавел и его команда тоже имели основания флиртовать с Прибалтикой — родство бунтарских душ, тем более что, как и в Праге, немало бывших диссидентов было теперь в руководстве парламентов и правительствах этих республик. И обидно, до боли обидно было сознавать, что Москва, да-да, перестроенная Москва по-прежнему выглядит в их глазах неким Молохом, угрожающим сокровенным чаяниям этих стран и народов. Увы, не одни лишь предубеждения да остаточные рефлексы давали тут о себе знать... Убедиться в этом у меня было достаточно поводов как в Стокгольме, так и в Праге. Ну, а теперь и на это предстояло взглянуть как бы с другого берега, с колокольни министра иностранных дел СССР.

Кому доводилось переживать в своей судьбе такой неожиданный и крутой взлет, тому я уверен, знакомо ощущение, которое я для себя называю эффектом перевернутого бинокля. Взглянул нечаянно в его окуляры с другого конца, и все, что только что представлялось тебе большим, близким, а потому и существенным, вдруг словно отпрянуло, неимоверно отдалось от тебя, оказалось маленьким и не таким уж

важным на фоне тех новых просторов и горизонтов, которые перед тобой открылись — и впереди, и справа, и слева...

На душе стало тревожно и неуютно. А вдруг, подумалось уже не в первый раз, вдруг окажется, что сидя там, «на месте», ты, несмотря на все значение должности, на все преимущества положения посла, высшего и доверенного представителя своей страны, все же чего-то самого важного не знал. Вот теперь тебе его покажут, и ты поймешь, почему твои представления так часто расходились с предписаниями твоего руководства. И, поняв, вынужден будешь делать то же, что делали они... Впрочем, как она явилась незваной, эта мысль, так и исчезла, не попрощавшись, смятая другой волной рассуждений. Я ведь не случайно обмолвился, что не впервые оно меня посетило, это ощущение. Правда, таких резких скачков, таких крутых поворотов в моей карьере еще не происходило, но помягче, поменьше масштабом — случались. И соблазн повести себя под напором новых обстоятельств как-то совершенно по-иному возник, и не единожды. И не всегда такое испытание проходило бесследно... Не такие уж все мы в конце концов кристальные и твердокаменные рыцари — без страха и упрека, какими хотим казаться людям да и самим себе.

И все же, все же. Даже поражения чему-то да учат... С кем, собственно говоря, можно было бы связать это таинственное «всезнание», которого тебе, предположим, раньше не хватало? Премьер Павлов, вице-президент Янаев, председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов... Да тот же Болдин, сидящий на сейфе со сверхсекретными бумагами... Куда привело этих бонз их представление о высших интересах страны? Что их, всю страну... А ведь, собственно говоря, в эти учреждения и в их руководителей и упиралось решение огромного числа проблем, которые ты, посол, пытался разрешить... да еще в Горбачева, который тебя теперь позвал... Но не потому ли он и позвал тебя, что сам что-то новое понял — и в себе, и вокруг, и в твоих прежних обращениях к нему...

Вот на такой духоподъемной ноте я, кажется, и закончил свой первый день, вернее, ночь в роли министра иностранных дел Советского Союза. Министр, как помнится, был на удивление бодр душою и телом в тот поздний час. Союзу же, пережившему за трое суток путча драматические изменения, жить оставалось не больше трех месяцев.

Будни, о которых в ту знаменательную для меня и близких моих ночь я не мог не думать без того, чтобы не перехватило дыхание, не заставили себя ждать. Я уснул во втором, если не в третьем, часу ночи и встал в шестом часу утра. Так с тех пор, на целых три месяца, на сто без малого дней распределились внутри суток часы моего бодрствования и сна. Иначе я просто не смог бы управляться со всеми обрушившимися на меня делами и обязанностями. Не знаю, кто включил этот часовой механизм, но все эти дни и ночи я действительно жил по какому-то особому внутреннему расписанию. Каждое утро, вставая, боялся, что рухну к вечеру, и каждую ночь, ложась, страшился, что не встану утром...

Что же, собственно, поднимало и держало меня на ногах,— пытаюсь я теперь вспомнить, а по возможности и воспроизвести то время. Не зарядка ли, которую я привык, с постоянством автомата, делать по утрам в течение двадцати — тридцати минут на протяжении уже двух десятков лет? Нет, потому что в ту пору, даже и в зарядке порой приходилось себе отказывать. Первые же, чуть свет, мысли об ожидающих меня встречах, предстоящих решениях или сборах в какую-то важную, очень важную по всем параметрам поездку, действовали буквально как глоток живой воды из полу забытых, но родных русских сказок.

Срабатывало и чувство ответственности, тем более что в те мои сто дней, мои оборванные сто дней, я просто не смог бы отыскать грани между долгом и потребностью, обязанностью и желанием. Да я и не пытался. И порой, не смеялся, я действительно чувствовал себя Матросовым, телом закрывающим амбразуру дота.

Случилось так, что вернувшись с Ближнего Востока, где мы подписали с министром Леви соглашение о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Израилем и где вместе с Джеймсом Бейкером объявили, что рассылаются приглашения на Мадридскую конференцию, словом, после посещения Иерусалима, Аммана, Дамаска и Каира я, невзирая на всю сверхтомбилизованность моих духовных и физических сил, заболел-таки каким-то расстройством желудка,— обычное явление для всех, возвращающихся из тех мест.

Ну что ж, прихворнул так прихворнул. Это случилось вечером в субботу. А рано утром в понедельник мне предстояло по протоколу встречать у трапа самолета в Шереметьево-2

президента Кипра Георге Василиу и на другой день лететь вместе с Горбачевым на Мадридскую конференцию, с тем чтобы поочередно с Джеймсом Бейкером председательствовать на ее заседаниях.

Вот такое дело, такие перспективы, а между тем человек устремляется каждые пятнадцать минут из спальни в помещение рядом и прикидывает с надеждой, не станут ли интервалы между такими походами завтра дольше, чем сегодня, чтобы в один из них можно было бы и в аэропорт махнуть и высокого гостя встретить. Оставалось положиться на скоростной ЗИЛ и «зеленую волну» светофоров навстречу ему. Говорят, Бог дает силы человеку для исполнения его миссии, если он ему благоволит. Верю, что в целом — в эти три месяца — так оно и было по отношению ко мне. Но тогда, тем хмурым октябрьским воскресеньем до того ли было Господу Богу, чтобы присмотреть, найдет ли в себе силы министр иностранных дел Советского Союза выйти навстречу президенту Кипрской Республики?

Все воскресенье, продолжая маяться, я прикидывал, как же поступить завтра. По старым-то временам чего уж проще, в конце концов одно официальное лицо заменить другим. Я задумался — а кто же может стать этим официальным лицом ныне? Хваленный Союзный центр, которым демократы, то ли по инерции, то ли из вредности, все еще пугали, как чучелом на огороде, весь мир, из кого же он теперь состоял? Президент, по протоколу, будет встречать высокого гостя в Кремле. Ему, кстати, сразу после переговоров — в Мадрид. Председатель Межреспубликанского экономического комитета, глава своего рода временного правительства — в Брюсселе, «выбивает» гуманитарную помощь и кредиты из «Европейских сообществ». Ну а министров, министров у нынешнего Центра, согласно решениям пятого внеочередного съезда народных депутатов, раз два и обчелся. И все они, кроме меня, очень специфические. Министр обороны, председатель КГБ, министр внутренних дел... Появление любого из них в аэропорту в качестве главного встречающего президента Республики Кипр чревато международным скандалом, если не конфликтом. Что скажет Турция, что скажет турецкая община на Кипре? Да и в Соединенных Штатах, в окружающих Кипр мусульманских странах призадумаются. Есть, правда, еще Яковлев, с его крылатым титулом архитектора перестройки, но он — не при чинах, стало быть — и не для протокола. Направить же в Шереметьево кого-либо из моих заместителей или еще кого-то того же ранга — значило бы ни за что ни про что обидеть такого чудесного человека как

Василиу, который и так ради того, чтобы повидаться наконец с Горбачевым, о чём мы с ним договорились две недели назад в Нью-Йорке, согласился со всеми отступлениями от протокола, в частности и с предстоящим отлетом из страны ее хозяина, когда гость еще у него в доме.

Так что не столько обращения к Господу Богу помогли мне, видимо, в тот кошмарный день, сколько вполне прозаические соображения о собственной незаменимости, по крайней мере в тот момент. Ну а собравшись с духом для встречи высокого гостя, я нашел силы и для полета в Мадрид, о чём будет разговор позже.

Как бы ни был трагикомичен и маргинален приведенный мною пример, он неожиданным своим ракурсом позволяет увидеть, что, собственно, представляли собой устрашавшие мир союзные структуры в ту пору, когда обстановка менялась буквально каждый день, если не час.

Согласившись занять пост министра иностранных дел, я не успел даже задуматься об этом. Сработал рефлекс, до поры до времени сидевший в каждом из нас, советских людей, вплоть до отчаянных диссидентов, синдром незыблности — если не самой власти, то внешних ее атрибутов. А как иначе, если в Кремле тебя принимает Президент, если на следующий после твоего назначения день к подъезду твоего дома подают пресловутый ЗИЛ, а рядом с водителем сидит средних лет мужчина — плащ цвета маренго, хорошо отглаженные брюки, внимательный взгляд, — в котором ты узнаешь, вернее, угадываешь своего телохранителя. Если секретарь, доставшийся, правда, в наследство от предшественника, встречает тебя у кабинки персонального лифта, а в кабинете на столе уже лежит расписание, напечатанное крупным шрифтом — традиция, которая, как ты еще много лет назад успел заметить, берет начало от Громыко. И в этом расписании, наряду с другими не менее важными пунктами, — выезд в аэропорт для встречи премьер-министра Великобритании Джона Мейджа. Он прилетает в сопровождении твоего коллеги, министра иностранных дел Дагласа Хэрда, с которым у тебя, по программе визита, отдельные переговоры. Все как в «добрые старые времена».

Правда, как выяснилось, группа встречающих высокого гостя в аэропорту чуть пожиже, чем раньше. Нет, например, нашего посла в Соединенном Королевстве Замятину — он, хоть и вызван в Москву, на встречу премьера не приглашен. И встречает гостя в качестве главного лица не союзный премьер — он в тюрьме, а российский — Силаев, который в этой роли выступает первый раз и потому все

время обращается с вопросами к министру иностранных дел, тоже новичку.

Главные неожиданности, однако, начались в Кремле. Когда вся наша кавалькада — мотоциклисты, сирены, мигалки, зеленая волна — все, как положено, — в мгновение ока домчалась до Кремля и торжественно въехала в его пределы через Боровицкие ворота, когда главного гостя в сопровождении многочисленной свиты доставили через торжественный подъезд Большого Кремлевского дворца к дверям Екатерининского зала, где должны были начаться его переговоры с Президентом СССР — сначала, как водится, «с глазу на глаз», выяснилось, что Горбачева... нет. «Задерживается», — смущенно шепнул мне — для передачи гостям — шеф личного протокола Президента.

Как быть? Спасибо англичанам. Выручая себя и нас, Мейджа и Хэрд как ни в чем не бывало рассаживаются в торопливо пододвинутые кресла и начинают светскую беседу. Но вот словно какое-то дуновение проходит по толпе окружающих нас лиц и даже гости догадываются — приближается Горбачев. Он влетает в зал как снаряд, обнимает с ходу Мейджа, жмет руку Хэрду и, извиняясь за опоздание, многозначительно дает понять, что оно было неслучайным.

— Расскажу подробнее, вот только... — он окидывает взглядом собравшихся.

Короткая фотосъемка, и начинается та самая беседа «с глазу на глаз», в которой на этот раз, помимо переводчиков, участвуют Силаев и мы с Хэрдом... Горбачев вынимает из кармана несколько исписанных его крупным, но малоразборчивым, как я впоследствии убедился, почерком листков бумаги.

— Вот, — говорит он и встрихивает листками перед носом у высокого гостя. — Всю ночь сидели. Только что закончили. Договорились. Кажется, вышли на очень серьезный документ. Исторический документ, — повторяет он, словно бы убеждая себя. Мейджа и Хэрд — о великолепная британская выдержка! — только вежливо кивают, ждут разъяснений. Мейджа, правда, пытается сказать несколько приветственных фраз, но Горбачев не в силах его слушать. Ему не терпится поведать, что же родила эта бессонная ночь.

Так из его рассказа английскому премьеру я узнаю, что же на самом деле происходит в стране, и на краю какой пропасти мы оказались.

Нет, я не хотел бы выглядеть в глазах читателя наивнее, чем я был тогда. Хотя доля здорового наива в рассказе,

подобно тени в чае, позволяет, на мой взгляд, и читателю острее воспринимать все происходящее.

Конечно, и из Праги, и последние два дня уже в Москве я внимательно, буквально час за часов следил за ходом событий, разворачивавшихся как в ходе путча, так и после его разгрома, говорил об этом с Горбачевым, с Яковлевым. Ждал, как и все, съезда.

Запомнилось, например, что реакция Кравчука, главы украинского парламента, на создание ГКЧП была замедленной. Мелькнула еще мысль, что, мол, другого и ожидать было бы трудно от человека, который несколько месяцев назад возглавлял отдел пропаганды в ЦК КП Украины. То же самое писали о лидере узбекского парламента Каримове, человеке для меня в ту пору совершенно незнакомом. То, что и он, и Кравчук, и некоторые другие республиканские лидеры после разгрома путча быстремко вышли из руководящих органов, да и из самой коммунистической партии, а кое-где, вслед за Россией, и распустили, а то и запретили ее,— уже не удивляло. У нас это принято — догонять уходящий поезд.

Но вот что означает эта череда объявлений Верховными Советами независимости республик? Удивляла, во-первых, кучность этой «стрельбы». Чуть ли не каждый день последней декады августа приносил подобное сообщение. До путча республики одна за другой, по примеру России, объявляли о своем суверенитете. И хотя проскальзывало в сообщениях об этом «государство» или «страна» вместо «республика» ни о каком отделении никто, конечно, и речи не вел. Кроме республик Прибалтики, что тоже было понятно. И вот теперь парад независимостей. Создание ГКЧП, а потом и разгром заговора Янаева, Крючкова и Пуго послужили гигантским ускорителем процесса. Бегут не от Союза,— от опасности возвращения тоталитаризма. Что могло служить впечатляющим свидетельством, что такая угроза все еще существует!

Удивляла, откровенно говоря, и позиция россиян. То, что в дни путча Ельцин издавал Указ за Указом о подчинении России тех или иных союзных структур, включая вооруженные силы, было понятно. Фактически в те отчаянные дни он как войсковой командир, заступивший вместо выбывшего из строя военачальника, принял на себя командование всей страной. Это и принесло столь желанную и стремительную победу. На что означали эти Указы теперь, когда Президент страны, который тоже, как оказалось, вел себя стойко и мужественно, вернулся к своим обязанностям?

Вопрос этот, судя по прессе, в том числе и по отчетам с заседаний Верховных Советов — России и СССР, возник не у одного меня. Его задавали как самому Ельцину, так и Горбачеву. Ельцин отмалчивался, Горбачев отшучивался — мол, сказывается инерция... Погодите, все войдет в свои берега.

Мне тоже недосуг было додумать все это до конца — и в Праге, и в эти суматошные два дня в Москве...

С тем большим вниманием вслушивался я теперь в то, что Горбачев рассказывал Мейджору, высокому гостю с Запада, из-за Ла Манша. Обиды на то, что не посвятил Президент заранее своего начинающего министра иностранных дел в тайны «мадридского двора», не было. Все, о чем рассказывал теперь Горбачев, действительно, родилось минувшей ночью, в ходе многочасового сидения его с руководителями республик, с которыми он снова встретится как только закончит беседу с английским премьером.

Отговорили свое на минувшей неделе парламенты. Союзный увенчал свои заседания решением о созыве V Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. Ему и решать, как гигантской стране и ее народам жить дальше. По традиции начать его полагалось бы обширным докладом Президента. Но что докладывать, в чем отчитываться, когда и так все ясно. Да он уже и отчитался, и даже покаялся на встречах с союзным парламентом, и с российским — как могло такое случиться, что в заговорщиках и предателях оказались самые близкие Президенту люди, что на власть посягнули те, кто и так обладал, кажется, всею мыслимой ее полнотой. В подтверждение своего глубочайшего разочарования и в соратниках, и в прежних своих представлениях отказался от поста Генерального секретаря, вышел из партии, а ее распустил...

Не отчитываться надо, объяснял Горбачев Мейджору, а думать о том, как жить дальше. Вот и родилась идея совместного заявления руководителей Союза и всех входящих в его состав суверенных и независимых государств. В этом заявлении будут очерчены контуры того нового — демократического, гуманного, процветающего Союза народов нашей страны, который предстоит построить на руинах тоталитаристского монстра, вчерашнего Советского Союза.

Вот об этой стране будущего и говорилось в исписанных крупным горбачевским почерком листах бумаги, которые он держал в руках, беседуя с изумленно внимавшими ему гостями. Поражен и воодушевлен одновременно был и я, хотя из соображений престижа и не подавал вида.

Взглянуть в глаза реальности — вот, собственно говоря, что было лейтмотивом договоренности. Не столь уж часто, мелькнуло у меня, это удавалось Горбачеву за его сравнительно короткую карьеру лидера страны. Его фатальное отставание с решением стучавших в дверь проблем стало уже притчей во языцах. То, о чем он теперь рассказывал, то, что завтра, видимо, будет предложено съезду, — отчаянный и смелый рывок вперед. Не придиараться к заявлениям парламентов о независимости, не пробовать их на зуб, не держать республики за фалды, а дать разойтись, если уж хочется, так далеко, как только угодно будет. Тут, кстати, слышался и ельцинский голос, обращенный к автономиям России — берите суверенитета столько, сколько сумеете проглотить... Разойтись, чтобы тут же и начать собираться вместе, потому что врэзь-то ведь все равно нельзя — настолько плотно и органично связаны друг с другом — исторически, политически, экономически, культурно, этнически... Словом, единый организм и никуда от этого не деться. Собираться вместе, но не под нажимом уже, не по указке, а по добной воле. В силу внутреннего естественного, а не внешнего императива...

В переводе на язык государственных структур и правовых институтов это означало разработку нового Союзного договора — возвращаться к тому, какой собирались подписать 20 августа, было уже бессмысленно. Путчисты вопреки своим намерениям не объединили, а развалили страну. Что ж, той, какая была, — скатертью дорога. Отношение к этому новому Союльному договору, к новому Союзу каждая республика будет определять сама. Ну а на период, пока будет идти разработка и принятие Союзного договора, надо заключить, чем скорее тем лучше, экономический союз, основанный на законах единого и свободного экономического пространства, рыночной экономики, о приверженности которой давно уже заявлено было во всех уголках необъятной страны.

В целях национальной безопасности заключить соглашение о сохранении единых вооруженных сил и единого же военно-стратегического пространства... И вообще объявить переходный период, в течение которого все, что сейчас прикидывается вроде бы на скорую руку, было бы основательно скроено и спито, носилось бы и жило долго, и на благо: и Конституция, и сама система, и право, органы управления и институты законодательные.

— Словом, как у вас в Англии,— с торжествующей улыбкой завершил свой затянувшийся эмоциональный рассказ Горбачев.

То, что о министерстве иностранных дел в рассказе Горбачева да, видимо, и в тех наметках, которые он держал в руках, и упоминания не было, а сам термин «внешняя политика» прозвучал лишь однажды, я, в ходе той памятной беседы с руководителями Соединенного Королевства, заметил, но особого значения этому не придал. Меня, как, казалось, и наших гостей, захватила логика этого замысла. Знакомый с молодости, с первых журналистских командировок суд — засучить рукова и действовать, не задумываясь ни о месте собственном, ни о личных, престижных интересах, — давал уже себя знать.

Последующие события, особенно дни работы съезда не убавили энтузиазма. Предложение Горбачева изменить повестку дня съезда и вместо его доклада послушать и обсудить заявление 1+10 (лидеров всех республик за вычетом Грузии, Молдавии, а также Латвии, Литвы и Эстонии, представители которых давно уже не принимали участия в работе парламента) настолько ошеломило депутатов, что они пришли в себя лишь тогда, когда обнаружили, что новая повестка дня уже, собственно, утверждена. Заявление было поручено прочитать Назарбаеву, ну а потом... Потом работа съезда, его диалог и противоборство с десяткой и Горбачевым напоминали мне попытки водителя автомашины завести ее остывший на морозе двигатель. То нажмет на стартер, то крутанет заводной ручкой, то плеснет на кожух кипятком, то разведет под мотором небольшой костер или сунет бензиновый факел. А то в отчаянии просто попробует толкать машину вручную. Покрутятся, подвигаются шатуны да поршни, глядишь, и сам двигатель почихает, почихает да и затарактит.

Порою депутаты собирались лишь для того, чтобы тут же и разойтись, получив в руки очередной вариант того или иного документа. Порою сидели в мучительном ожидании кворума, а порою, после очередного драматического голосования, председательствующий, чаще других им был Горбачев, объявлял, что если съезд не проголосует еще раз, его придется просто распустить. Бывало так, что Ельцина, главу одержавших победу над путчем демократических сил, называли узурпатором, а рупор и протагонист «наведения порядка» полковник Алкснис упрекал потом весь президиум в попрании элементарных норм демократии... Причудливая смесь демократии и деспотизма, порядка и анархии, плюрализма и окрика и бог весть чего еще. Столь пестрой и многослойной, обманчивой по своей окраске и звучанию была политическая флора нашего рождающегося в муках общества.

С тех пор она не стала гармоничнее. Но как шоферу удастся-таки в большинстве случаев завести свою машину, так и съезд после серии лихорадочных рывков, неожиданных толчков и остановок заработал и двинулся, медленно и верно, в правильном направлении. В результате, подписав приговор самому себе, он дал путевку в жизнь Союзу в его новом качестве. В отличие от Учредительного собрания в 1917 году, он был распущен не раньше, чем завершил свою историческую миссию. Ученые и историки, да и литераторы, я думаю, долго еще будут взвешивать на всех возможных весах роль и значение этого в любом случае эпохального события. Я же и до сих пор полагаю, что созданная им, пусть и переходного характера структура стоила того, чтобы послужить подольше, гарантировала куда более плавный и менее болезненный переход к тому демократическому обществу, которого несомненно желает большинство в нашей стране, независимо, где оно, это большинство, в данный момент проживает.

Впрочем, как нетрудно догадаться, была у меня и личная причина с особым волнением следить за ходом съезда. Затем, как от заседания к заседанию «росли», наполнялись реалиями его документы. Словно на листе брошенной в раствор для проявления фотобумаги все отчетливее и рельефнее становились очертания спроектированных на съезде структур и органов координации, без которых не может существовать ни один общественный организм, до тех пор пока он признает какую-то степень собственной целостности. Среди них я обнаружил и Министерство иностранных дел.

Не в том только было дело, что упоминание МИДа среди четырех, всего четырех органов центрального управления, на которые согласился корпус депутатов, создавало основу моего дальнейшего — надолго ли? — функционирования. Возникала гарантия выполнения миссии, а я именно так, и со все большей уверенностью, начинал смотреть на то, что выпало теперь мне на долю. И можно было уже не откладывая и не колеблясь приниматься за реализацию созревавших у меня замыслов, контуры которых, по мере работы съезда, — было о чем и над чем подумать, сидя в правом крыле амфитеатра гигантского зала заседаний Кремлевского Дворца съездов, где по традиции, сохранившейся еще с хрущевских времен, занимали свои места в дни важных заседаний министры и другие деятели такого ранга, — становились все отчетливее.

Необходимость находиться на съезде, а она диктовалась всей логикой разворачивающихся событий, была одновремен-

но и возможностью, воленс-ноленс, отгородиться от той неизбежной текучки, которая мощным потоком хлынула на меня в первые же часы моего появления в МИДе, подумать «о вечном».

Что же я в конце концов надумал?

Что же было моим кredo, как принято говорить, и было ли оно?

В мировой политике есть хорошо известное понятие — доктрина. Все о ней говорят — философская, оборонная внешнеполитическая — но мало кто представляет себе, что же это такое.

Сродни ли она, хотя бы по форме, скажем, десяти заповедям Моисея, или «Юности честному зерцалу». Доктрина Монро вообще состояла из трех слов — Америка для американцев.

В нашем обиходе термин этот замелькал в годы перестройки — применительно к политике разоружения. Мы заявили тогда, что от политики активной обороны, предполагающей отражение нападения противника и разгром его на его территории, переходим к доктрине так называемой оборонной достаточности. Помню, как в Стокгольм два раза подряд — сначала на знаменитую Стокгольмскую конференцию, а потом прочитать лекцию в Международном институте проблем мира (СИПРИ) — приезжал тогдашний начальник Генштаба СССР маршал Ахромеев, симпатичный такой, очень энергичный старичок, которому шведы и дипломаты других западных стран просто прохода не давали с этой доктриной, все требовали объяснить, куда в результате смотрят наши баллистические ракеты, как меняется соотношение средств наступательного и оборонительного назначения в пехоте, в авиации, в военно-морских делах. Ахромеев, помню, очень красноречиво и доходчиво, просто с увлечением отвечал на все эти вопросы, чертил схемы, показывал диаграммы и все просил дать время, чтобы доктрину, сформулированную на бумаге, перевести на язык пропорций и дислокаций.

В первые же дни после разгрома путча маршал покончил с собой и так, видно, и не успел совершить обещанное. Ни он, ни его преемник Моисеев. Во всяком случае в печати появились ссылки на документы, доставшиеся западногерманскому бундесверу по наследству от бывшей народной армии ГДР, из которых следовало, что об обороне, да еще ограниченной, страны Варшавского Договора заботились меньше всего. Если верить этим сообщениям, даже в годы перестройки солдат у нас учили не защищаться, а нападать, приучали к выражениям «прорыв оборонительных сооруже-

ний», «ведение боевых действий в глубине обороны противника» и т. п. Планировалось первыми «в случае необходимости» использовать ядерное оружие, правда, лишь тактическое. Ну и так далее... Словом, не все то доктрина, что так называется. Одни государства оказываются в любых обстоятельствах верными своему слову, другие, не задумываясь, нарушают его. Одни предпочитают о своей доктрине помалкивать, другие декларируют ее. Как, например, те же англичане. Форин Оффис опубликовал свой отчет за 1991 год и в нем черным по белому — «базовые цели британской внешней политики». Полстраницы текста, тринадцать, да, тринадцать принципов, и на первом месте — заботиться о безопасности и процветании Соединенного Королевства и его граждан, на своей территории и за рубежом.

Унаследовав права и обязанности бывшего Советского Союза, и Россия задумалась о своей внешнеполитической доктрине. МИД Российской Федерации разослал запросы по посольствам, попросил поделиться своими соображениями. Когда все это в Москве было получено, проанализировано, суммировано и вновь отправлено по посольствам в виде экстракта, я прочитал и улыбнулся — по сути, это было то, с чем я посчитал необходимым выступить в самом начале своей недолгой министерской карьеры. Только подход у меня был другой — не дедуктивный — собрать необъятное число фактов и соображений и из них выделить квинтэссенцию, а индуктивный — от частного к общему, от собственных наблюдений. Все пережитое, передуманное, выстраданное, если хотите, за годы посольской службы встало у порога. Ну и, конечно, советы прессы. Недостатка в них на протяжении всех моих «оборванных ста дней» не было. Правда, тут я чаще шел от обратного. Требовали, к примеру, назвать зоны преимущественных интересов. Покажи пальцем или указкой на карте — где они. Те же, что у Шеварднадзе, или, не дай бог, у Громыко, или другие? Штаты? Европа? Куба? Япония? Индия? Или, может быть, наконец-то Южная Африка, от которой твои предшественники нос воротили? Ближний Восток, Израиль? — шел допрос с пристрастием, то в укоризненной, то в назидательной тональности.

А я никак не мог понять, как может быть тот или иной регион зоной преимущественных интересов? Разве не от обстоятельств, пусть и долговременного характера, это зависит. А главное — не от принципов ли?

Предполагал ли мой бывший коллега, Джеймс Бейкер, думаю я теперь, сидя в Лондоне, что будет совершать вояж за вояжем в бывшие азиатские республики бывшего

Советского Союза? Будет ходить вместе с президентами этих новых государств в баню, пить кумыс и делить, как в Алма-Ате, на правах почетного гостя вареную голову барана между сидящими за тем же достарханом — этому вот ухо, чтобы хорошо слушал, этому — язык, чтобы как раз держал его за зубами, этому — мозг, — тоже не без намека?

Что, доктрина Соединенных Штатов изменилась? Нет, обстоятельства. Если раньше достаточно было иметь дело с Москвой, теперь, чтобы предотвратить «растаскивание» ядерного оружия, технологии, «утечку мозгов» в страны с устойчиво-тоталитарными или мусульманско-фундаменталистскими режимами, надо ехать в Алма-Ату, в Ташкент, Ашхабад... Обмениваться посольствами и послами.

Ну а Восточная Европа для нас? И страны те же, и дислокация наша в отношении друг друга не изменилась, и солнце и звезды над нами ходят те же, что и тысячи, и миллионы лет назад. А отношения изменились. И никогда не будут прежними, и слава Богу. Как Александр Дубcek не раз говорил мне — от «нерушимого братства» надо отказываться, от дружбы — ни в коем случае. Брата не выбирают, какой родился, такой достался. А друга можно выбрать.

Деидеологизация, гуманизация, pragmatism — не бог весть как мудрено, да и не так уж ново, вполне вроде бы укладывается в понятие «новое мышление», но жить и работать эти принципы мне помогали не один год. И еще одно, как метод, — последовательность. Вот чего уж нам точно не хватало даже и в годы перестройки...

Припомнился мой давний и добный знакомый, герой нескольких моих литературных эссе писатель Юрий Трифонов. Парадоксальна его творческая судьба. Дебютировав, и успешно, еще при Сталине, в пору хрущевской «оттепели», которая, казалось бы, не могла не импонировать его литературным и человеческим устремлениям, он молчал, вернее, печатался, но «не звучал». И вдруг в самый разгар «застоя» одна за другой стали появляться повести Трифонова, в которых боли и мерзости нашей жизни нашли свое адекватное отражение, сама израненная, растоптанная душа «среднего человека» заговорила с миром. Они были нарасхват дома, а за рубежом Трифонова читали, пожалуй, с большим увлечением, чем диссидентов-эмигрантов. Поражал сам факт, что «такое!» может быть опубликовано «там!», в эпицентре подавления свободной мысли.

Я выступил в поддержку его нашумевшей и обруганной тогдашней консервативной критикой повести «Дом на набережной». Эссе имело чуть ли не такой же успех, как сама

повесть. Он прислал мне чудесное письмо. Мы познакомились. И тут пришла пора заступиться за его новую повесть «Старик», и так уж повелось, что с появлением каждой следующей вещи он невольно смотрел в мою сторону «У каждой собаки свой час лаять», — лаконично ответствовал он мне, когда я как-то посетовал в шутку на его невообразимую работоспособность.

Вспомнились строки Булата Окуджавы:

И пока еще жива  
Роза красная в бутылке,  
Дайте выплеснуть слова,  
Что давно лежат в копилке.

С Булатом нас связывали давние отношения. Еще в 1956 году я выступил в «Комсомолке» с нашумевшей статьей «Как погасили «Факел», — в защиту молодежного и, разумеется, еретического, особенно по тем временам только что начавшейся оттепели, объединения, которое в Калуге создали Окуджава и другой поэт — Николай Панченко.

Теперь мне казалось, что грубоватый афоризм Трифонова и тонкая метафора Булата стучат мне в сердце, как пепел Клааса. Конечно же, я был давно не мальчик в дипломатии, да и в политике. И знал из теории все, что полагается знать в моем положении. Во весь рост в частности всталася проблема представительства во внешней политике, которая с неизбежностью обостряется в те «минуты роковые», когда страна переживает процесс невиданных перемен. Старые связи разрушились, новые — в зачаточном состоянии. Чьи интересы — социальные, национальные, этнические — представляет политик, от чьего имени говорит? И уверен ли в том, что его слова и действия действительно выражают, как мы привыкли выражаться за минувшие семьдесят лет, сокровенные чаяния народа?

Когда прежняя система представительства сломана во внутренней политике, она уходит из-под ног и во внешней. Само государство уходит из-под политики, говорят благородные и осмотрительные люди, и возникает опасность, что она, политика, начнет выражать в основном интересы, идеалы, предпочтения и предупреждения ее творцов. А сами они становятся похожими на канатоходцев.

Такая опасность подстерегала и меня, но я ее как-то не страшился. Перспективе продолжительной и неторопливой рекогносцировки я предпочел тактику действий, из которой, я был уверен, вырастет и стратегия.

«Дайте выплеснуть слова...» Все накопившееся за девять

лет дипломатической службы, требовало выплеска, выхода наружу. Да и почему девять лет? Разве была непроходимая грань между тем, что мною руководило до и после?

Кругом слышались голоса, что страна лежит в руинах. И реалии обыденной жизни, казалось, подтверждали это. У меня же было ощущение, что она только теперь, даже не в апреле 1985 года, поднимается с колен. Вся и повсюду — на всех своих бескрайних просторах — от Калининграда до Находки и Курильских островов. Кому как не дипломатам, не внешней политике заговорить ее голосом, поведать миру теряющемуся в догадках, что такое она сегодня? И не словами и декларациями, а конкретными акциями. Нет, не только ход внутренних рассуждений побуждал меня выбрать именно такой путь. Сама логика времени.

Министр иностранных дел страны, обретшей второе дыхание, страны, ищущей новые пути и свое новое призвание в мире, — такой представлялась мне миссия на закате «жаркого лета» в Москве.

Итак, напомню, папочка, которая в моем «красном», пожарном чемоданчике лежала на самом верху, когда яозвращался той памятной ночью домой из МИДа, называлась «Московская конференция по человеческому измерению». Взвесив все «за» и «против» ее проведения в ранее определенные сроки, то есть начиная с первой декады сентября, прочитав первые поздравительные письма моих новых коллег-министров, в которых они, переходя сразу к делу, одновременно говорили, как о том, что такая конференция сейчас крайне важна, так и о том, что, конечно, поняли бы мотивы ее возможной отсрочки, я подумал, что все сейчас зависит от организационной стороны дела.

Трудно предположить, что кто-нибудь в последние недели, а они-то всегда самые главные при подготовке таких масштабных собраний, занимался этим делом, к тому же председателем оргкомитета по подготовке был в свое время назначен, по иронии судьбы, вице-президент страны Янаев — глава путчистов. Он и сейчас, собственно, значился в этой роли, хотя вот уже вторую неделю сидел в изоляторе «Матрёской тишины», которая сразу после путча приобрела просто-таки ни с чем не сравнимую популярность в мире.

Но, кроме арестованного председателя, есть еще генеральный секретарь конференции, два дня назад назначенный мною первым заместителем министра, Владимир Петровский.

Вопрос ему. Ответ — за организационную сторону беспокоиться не следует. Машина по подготовке конференции, естественно, сбила свои обороты до нулевой отметки. Но запустить ее можно, если не терять времени.

Выясняем, что по существу проблемы у нас тоже разногласий нет.

— Значит? — спрашиваю.

— Значит, надо звонить Президенту, писать ему бумагу. И быть понастойчивее...

Чувствую, что последняя фраза произнесена моим собеседником, у которого опыт общения с Горбачевым несколько больше, чем у меня, не случайно. Он подтверждает, что, действительно, первый «обмен мнениями» после путча уже был. Превалирующее настроение — отложить. За это, кстати, и Квицинский высказывался. Да и Ковалев тоже, первый заместитель, из больницы звонил в том же духе. Александру Николаевичу Яковлеву дано поручение пригласить послов заинтересованных стран и «посоветоваться с ними», то есть

узнать настроения их руководства. Ну а, по существу, получить их «добро» на отсрочку...

— Кстати, от Яковлева звонили, он собирает послов завтра утром. Приглашает. Поедешь?

И испытывающий взгляд в мою сторону. На «ты» мы уже много лет.

Первый импульс — поеду. Яковлев же! Сработал испытанный рефлекс. Старший товарищ, с «застойных» еще лет. Потом — посол-изгнаник, «архитектор перестройки» и член Политбюро, могущественного Политбюро, как принято было добавлять на Западе.

Следующий импульс — подумать. И на лице Петровского, который, догадываюсь, «акцентировал» бы любое мое решение, отрада. В душе он тоже считает, что мне ехать не надо. Во-первых, это неминуемо склонило бы чашу весов в пользу отсрочки конференции. А во-вторых, кто, собственно говоря, сейчас Яковлев официально? И почему министр должен заседать под его председательством? Что подумают послы?

Резонное и единственно правильное решение. Но дается оно мне, признаюсь, нелегко. А. Н., конечно, обидится. Не успел, скажет, еще к работе приступить... Но что делать. Дружба дружбой, а служба службой...

Итак, звонить Президенту. Снимаю с рычажков, который уже раз за день, трубку. Прямо при Петровском. Он, правда, обнаружив, что мне отвечают, выскользывает из кабинета. Такая здесь, я уже знаю, традиция. Президент ли звонит министру, министр ли Президенту — разговор должен протекать без свидетелей. Ну без свидетелей, так без свидетелей.

Поскольку, напомню, на телефонном аппарате, который звонит на столе у Горбачева, когда я снимаю у себя трубку, написано «Министр иностранных дел», он, поднимая свою, не ждет представления и не представляется сам, а ты знаешь — раз длинные гудки на том конце провода прекратились, значит, Президент тебя уже слушает. Незначительная, казалось бы, подробность, но я упоминаю о ней, потому что такой способ телефонного общения создавал ощущение подчеркнутой непосредственности, доверительности, что и подкупало, особенно поначалу, и наполняло особым чувством ответственности.

Коротко излагаю суть дела. В трубке на какое-то мгновение молчание, потом:

— Но ведь мы уже тут обменивались... Складывается мнение — отложить...

— Мы, — нахожусь, — тоже тут обменивались, — ста-

раюсь, чтобы в голосе слышалась улыбка.— Складывается мнение — проводить...

— С кем же ты там обменивался,— уловив интонацию, спрашивает Горбачев. Я уже, кажется, говорил, что он всегда всем говорит «ты».

— Да вот с Петровским... Он — генеральный секретарь конференции. Я его, кстати, назначил позавчера своим первым заместителем...

Не дождавшись реакции, начинаю развивать, стараясь быть покороче, наши доводы. Особенно напираю на возможность для него, для Ельцина (он хмыкает) обратиться сразу ко всему миру — не с экрана, не с газетного листа, а через живых людей, повстречаться с министрами, донести до них, как стало принято говорить, наш мессидж...

Слушает внимательно и, догадываюсь, мысленно соглашается. И тем не менее:

— Надо все-таки подождать съезда. Посмотреть, как он пойдет...

У меня невольно всплывает в памяти начало предыдущего, очередного съезда народных депутатов, я наблюдал за ним из Праги, по телевидению. Истерические всхлипы такой симпатичной на вид горянки Умалатовой, призывающей Президента к отставке. Не это ли и у него сейчас в голове?

— Посмотреть, как пойдет,— повторяет Горбачев.— Настроения разные. Заварится, того гляди, такая каша, что (он говорит — «шо») и самим не расхлебать, а тут еще твои гости...

— Так при гостях-то как раз, может, и постесняются,— парирую я.

Он смеется.

— Ты что, народа нашего не знаешь? Или отвык за границей? В общем, Борис Дмитриевич, я доводы твои понимаю,— заторопился он, словно и сам опасаясь, что я вдруг возьму и соглашусь сейчас с ним.— Давай мы с тобой так сейчас договоримся. Окончательно решать ничего не будем — подождем первого дня съезда. А там посмотрим.

— Отменить-то и тогда будет легко, Михаил Сергеевич,— говорю.— А вот назначить... Ведь сейчас каждый день, вернее, каждый час на счету,— и начинаю рассказывать, какая это морока, особенно в этой ситуации, когда не знаешь, к кому и по какому вопросу обращаться... Все же разрушено.

В конце концов договариваемся так — я рассылаю в посольства телеграммы, в которых сообщаю, что конференция состоится в назначенные сроки, но мы оставляем за собой право подтвердить это еще раз после начала работы съезда.

Словом, и волки сыты, и овцы целы. Вот теперь, думаю про себя, и ты непосредственно познакомился с рабочим почерком Михаила Сергеевича.

Мы, естественно, тут же разослали телеграммы, но и окончательное согласие не заставило себя ждать. Горбачев дал его во время той самой встречи с Джоном Мейджором, когда он рассказывал ему о Заявлении 10 плюс 1. Видно, те ночные дебаты укрепили надежды Михаила Сергеевича, что съезд пройдет, как надо. К тому же и гости высказались за проведение конференции в намеченные ранее сроки. Признаюсь теперь, что пока мы с Дагласом Хэрдом ехали в одной машине из Внуково-2 в Кремль, я посвятил его в наши дискуссии вокруг конференции, попросил поддержать, если зайдет об этом разговор у Горбачева. Что он с видимым удовольствием и сделал.

Согласие Президента было молниеносно переведено на язык записок, распоряжений, приказов. Колесо закрутилось. В конечном счете я имел высокую честь открыть конференцию на правах хозяина, год в год, месяц в месяц, день в день, час в час, как это было предопределено Венской встречей. Конференция шла, а мир — политические и общественные круги, средства массовой информации — все еще не могли прийти в себя, поверить в то, что такое возможно. Даже тогда, когда сообщения об этом уже отступали телетайпы и телефаксы всех информационных агентств.

Вообразить себе еще три года назад, что такая конференция может собраться в Москве, значило бы — поверить в то, что конверсию о производстве виски можно обсуждать в Рияде,— сострил на страницах «Нью-Йорк Таймс» бывший британский министр иностранных дел Джеки Хау, с которым мне предстояло вскоре познакомиться в Лондоне.

Бывшему министру вторили действующие, которые, по свидетельствам прессы тех дней, «один за другим повторяли, что еще три недели назад, когда они услышали о путче, им и во сне не могло присниться, что такая конференция, с такой повесткой дня откроется в Москве в точно намеченные сроки».

Горбачев, приветствуя делегатов, заявил, что они приехали в столицу государства, которое начинает отсчет новой эпохи в своем тысячелетнем развитии. На рабочем счету только что начавшейся конференции уже было записано существенное подтверждение этого тезиса. Перед тем, как ей открыться, собравшиеся в Москве министры европейских стран, а также США и Канады провели заседание Совета

министров СБСЕ и приняли в свои ряды как полноправных членов Латвию, Литву и Эстонию. Это стало возможным, потому что тремя днями раньше созданный Чрезвычайным съездом народных депутатов Государственный Совет СССР признал независимость трех этих Прибалтийских республик. То, на что в течение последних двух-трех лет никак не могли решиться ни правительство, ни Верховный Совет, было решено на первом же заседании вновь созданного конституционного органа.

Сопредседателем советской делегации на конференции был назначен Сергей Ковалев, многолетний узник ГУЛАГа, один из ближайших советников и соратников академика Сахарова. Вдова Андрея Дмитриевича Елена Боннер в своем выступлении на конференции и в статье, которую она назвала «Мы защищали не Михаила Сергеевича, мы защищали закон», привлекла внимание к грозной опасности — разрастанию конфликтов на этнической почве, которые в обычную пору обезоруживающие тлеют, чтобы вспыхнуть в подходящую минуту там, где в заботе о собственной независимости попирают права национальных меньшинств.

Предупреждение обернулось горьким пророчеством. Недалек был тот день, когда в Нагорный Карабах вооруженные вердиктами Московской конференции отправятся эксперты СБСЕ.

Тогда в Москве на заседаниях конференции говорили лишь о Югославии, Албании, Кипре...

Я попросил Сергея Адамовича Ковалева подготовить для моего выступления, которое состоялось на второй день конференции, две вставки. Одну — о необходимости у нас в стране срочно заняться условиями содержания в тюрьмах и других местах лишения свободы: нужна реформа петенционарной системы. Ведь и те, кто отбывает наказание заслуженно, имеют право на уважение к своему человеческому достоинству. Более сведущего эксперта в этой области подыскать было бы невозможно.

Вторая вставка касалась судьбы лиц, осужденных по статьям Уголовного кодекса, но заявляющих о том, что содеянное ими было продиктовано политическими мотивами. Например, угон в знак протesta самолета или передача необоснованно засекреченных сведений о бедственном положении тех или иных районов или отдельных лиц. К тому времени, когда я говорил об этом на конференции, написанная вместе с Ковалевым записка уже ушла президентам Горбачеву и Ельцину. Началось расследование этих случаев, которое закончилось, правда, лишь через несколько месяцев,

когда из печально знаменитого пермского централи были выпущены восемь человек.

Особое это чувство, скажу я вам, следить из «лондонского далека» за тем, как приходит к успешному завершению то одно, то другое дело из тех, что ты начинал...

Та же «Нью-Йорк Таймс», словно не надеясь, что ей поверят с первого раза, дважды подряд устами своего специального корреспондента Крейга Витни сообщила, что новый министр иностранных дел заявил в своем выступлении: по мнению советской стороны, одних национальных гарантий в области соблюдения прав человека недостаточно и СССР пересматривает свое отношение к пресловутому принципу «невмешательства во внутренние дела», который на протяжении десятилетий служил тоталитарному строю чем-то вроде фигового листа, прикрывающего преступления против человечности и свободы.

Да, тут журналист ухватил, пожалуй, самое главное — дух, лейтмотив конференции, которая в конечном счете декретировала в своих документах: при всей важности принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, неоспоримым должно стать верховенство прав человека и основных свобод. Сначала личность, потом — государство. Оттого, что эта истина, выстраданная всей историей гуманистического развития человечества, отчетливо прозвучала именно в Москве, только что разомкнувшей на своей шее мертвую хватку тоталитаризма, она ценилась миром еще дороже. И словно бы одушевленные этим пристальным взглядом планеты, обращенным на них, участники конференции сочли за благо подкрепить этот принцип созданием специального механизма контроля, перенести систему мер доверия, инспекций и проверок, надежно зарекомендовавшую себя в военной области, в гуманитарную сферу. Пожелания и декларации были, таким образом, институализированы. Правда, пакет наших предложений на этот счет был так тугой набит, что западные страны оказались даже не в силах переварить иные из них. И не мудрено. Испытанная столетиями, отточенная и отполированная последними десятилетиями и оттого как бы даже залоснившаяся, потерявшая блеск новизны их приверженность общечеловеческим ценностям здесь встретилась с не знающим еще меры прозелизмом стран Восточной и Центральной Европы, неистово отрясавших прах диктатур. Но на таких форумах, как известно, все решается консенсусом. И слава Богу!

Такими вот и были эти дни и часы в послепутевой Москве. Но как нет, согласно Святому Писанию, пророка в своем

отечестве, так не хватает, видимо, и нам, современникам, какого-то особого хрусталика в нашем политическом и социальном зрении, чтобы углядеть неповторимость своих собственных дней. Их трагизм и величие — две стороны медали. Мы привычно и послушно смотрим в прошлое в поисках примеров великих деяний и фигур.

Конференция была хронологически вторым после Чрезвычайного съезда народных депутатов масштабным форумом, который проходил в Москве вслед за разгромом путча, и первой в мире международной встречей такого ранга, она напомнила нам самим, да и окружающему миру, что жизнь продолжается. Пространные отчеты во всех газетах, репортажи, трансляции и интервью по телевидению и радио держали москвичей в курсе того, что происходит в Колонном зале Дома союзов, том самом зале, где, как многозначительно подчеркивала западная пресса, немногим более полувека назад проходили страшные сталинские процессы.

Черные ЗИЛы в необычном даже для застойных времен количестве — каждому министру, включая и наших новых коллег из Прибалтики, было предоставлено по такой машине — сновали под зеленый свет по тенистым, теряющим первые листья сентябрьским московским бульварам и проспектам. И никто, как бывало, не бросал в их сторону суро- вых и ожесточенных взглядов: начальства в белокаменной поубивалось и на ЗИЛах, за редким исключением, ездили лишь иностранцы.

На Садовом кольце, у спуска в подземный переход, где погибли трое молодых защитников Белого дома, всегда цветы и всегда разноязыкая речь. В посольствах европейских стран по вечерам — яркие огни, оживление у подъездов.

Тысячи наших сограждан, отстояв в Москве Белый дом, сокрушили наконец свою Бастилию — саму основу авторитарного однопартийного идеологизированного и милитаризованного режима.

Для того чтобы встать в один ряд со своими предшественниками по конференциям о гуманитарных аспектах хельсинкского процесса — Веной, Парижем и Копенгагеном,— Москве понадобилось встать вровень и с Берлином 1953 года, и с Будапештом 1956 года, и с Прагой 1968 года, где безоружные, но до конца приверженные идеям демократии люди бесстрашно бросали вызов танкам. То, что на этот раз в Москве это были не чужеземные, а свои танки, лишний раз подтверждает, что границы свободы не совпадают с границами государств, и дело ее защиты так же неделимо, как неделимы и не могут подчиняться полити-

ческой конъюнктуре такие основополагающие понятия, как совесть, правда и нравственность,— говорил я на конференции.

Тот факт, что во главе советской делегации стояли два сопредседателя — первый заместитель министра иностранных дел и вчерашний диссидент, узник совести, отразилось и на характере дискуссии. Так называемые параллельные структуры, то есть представители многочисленных и разнообразных — и в национальном, и в политическом плане,— правозащитных организаций, проводивших в ходе конференции свои, параллельные ей мероприятия, чувствовали себя в Колонном зале как дома, быть может, даже в большей степени, чем участники официальных дискуссий. Бывают, оказывается, времена, когда и параллели, как в геометрии Лобачевского, сходятся, сказал я в своем выступлении, ратуя за двуединство процесса, которое помогло в конечном счете выработать на конференции документ, достойный времени и места ее проведения, далеко заглянувший вперед.

Революция продолжалась. Дни разгрома путча были ее боевым сражением, работа съезда — трудовым фронтом. Международная конференция, если хотите,— праздником. И не только потому, что рабочие заседания перемежались приемами, банкетами, а речи — тостами и приветствиями. Колокола звонили — одни за здоровье, другие — за упокой. Их звуки сливались в такую мелодию, которую, наверное, только и можно услышать в дни великих потрясений, обернувшихся победою большинства. Москвичи чувствовали себя гражданами мира. Говорящие на всех европейских языках участники конференции считали для себя великой честью оказаться именно в эти дни в Москве. Для них наслаждением была каждая возможность окунуться в бушевавшие вокруг Колонного зала волны наших граждан. Жажду выговориться — а это одна из величайших страстей всех революций, начиная с кромвелевских времен в Англии и событий Великой французской,— люди утоляли не только на официальных заседаниях, но и на приемах, устроенных Горбачевым в Кремле, Ельциным в Белом доме, Поповым в гостинице «Арбат» и, наконец, на Красной Пресне бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, восставшим против собственного ведомства, которому как раз в те дни были возвращены все награды и регалии, незаконно отнятые ранее. Одни требовали продолжить розыск участников, виновников и пособников путча, другие предостерегали от новых «походов на ведьм», небезопасных в ту горячую пору.

...На экранах телевизоров — второй канал, российская телекомпания, — «Иисус Христос — суперзвезда» — американская лента, прерываемая, вместо рекламы, изречениями Патриарха Всея Руси Алексия II: «Коммунистическая идеология уже никогда больше не будет господствовать в России».

В театре — премьера пьесы Владимира Максимова «Кто боится Рэя Бредбери». Как нельзя кстати. Жажда выгнать из себя продолжает мучить москвичей. И лучшей возможности, чем этот спектакль в театре Маяковского, который всегда славился своим бунтарским духом, пожалуй, себе и не представишь.

Автор — один из известнейших писателей-правозащитников, редактор журнала «Континент», который столько лет был пугалом советской власти. Пьеса его — о двух братьях-близнецах, скульпторах. Один из них эмигрировал из страны много лет назад, подобно автору пьесы, другой стремился выразить себя в условиях коммунистического режима.

Кто оказался прав? Кто выиграл и кто проиграл в жизни и творчестве? Встретившись после многолетней разлуки в Москве, братья пытаются ответить на этот вопрос де-факто. Пользуясь своим сходством (к тому же они еще и женаты на сестрах-близнецах), они просто-напросто меняются ролями — эмигрант Александр с супругой, которая, как и он, «сыта по горло» заграницей, остаются дома, а вторая пара, москвичи, уезжают по их паспортам на Запад. Пикантность ситуации в том, что автор, который еще много лет назад «выбрал свободу», как у нас принято было говорить, теперь, скорее, на стороне того брата, что стремится вернуться домой. Как, впрочем, и сам Максимов, который все эти дни — в Москве и не пропускает ни одного спектакля.

Зеркальность судьбы и личностей не только главных, но и второстепенных героев утверждает незамысловатую, но вечную истину — не место красит человека, а человек место. И она как никогда близка сегодня москвичам. Оттого и неизменный аншлаг в театре, оттого и антракты напоминают митинги на площадях столицы. И кого только не увидишь на этих митингах — от бунтарей-демократов, вечных еретиков-критиков вроде одной моей старой знакомой, которая говорит, что только презентациями и жив сегодня человек, до угрюмых молчальников из рядов номенклатуры.

Даже в магазинах, по признанию газеты «Новое русское слово», некоторое оживление. На прилавках красовались «Кабачки, фаршированные мясом с рисом», «Рулет мясной», «Сырники творожные», «Филе ставриды жареное», ну и так

далее. Цены, правда, и тогда уже были весьма колючими. В ларьке, где без очереди давали выпивку и закуску, «конъяк 3 звезды — сто пятьдесят граммов» стоил 4 рубля 60 копеек, бутерброд с полукопченой колбасой — 1 рубль 40 копеек, с вареной — 43 копейки. Пачку сигарет «Данхил» можно было купить за 23 рубля, пиво «Гессер» за 26 рублей и нейлоновую куртку — за 1350.

Как глубокомысленно заметил московский корреспондент уважаемой газеты, «революция победила, но это еще не значит, что здесь уже сразу Швейцария с ее уютными буржуазными нравами». Не удивлюсь, если в ту минуту, когда он старательно переписывал в свой блокнот надписи на ценниках, он и сам не представлял себе, как был прав.

Все только-только начиналось...

Для меня конференция обернулась еще одним преимуществом и... бременем, как я, впрочем, и предполагал. Тридцать пять министров иностранных дел, не считая моих коллег из Прибалтики и других республик Союза, съехались в Москву и, естественно, это и протоколом предусматривалось, хотели бы встретиться со мной тет-а-тет. А времени в нашем распоряжении было три-четыре дня, включая день приезда и день отъезда наших гостей. Хорошо еще, что с некоторыми из них я успел познакомиться раньше. Как с тем же Дагласом Хэрдом, который после визита в Москву с Мейджором успел уже побывать в Китае и, кажется, еще где-то...

У меня и теперь темнеет в глазах, когда я смотрю на листки своего рабочего расписания тех дней. Шесть, семь, восемь, десять встреч в день... И это помимо основного рабочего конвейера — участия в работе конференции, заседаний Госсовета, приемов у Горбачева и Ельцина, где я тоже должен был, согласно и протоколу, и логике, присутствовать. Должен... Мог ли я когда-либо подумать, что необходимость сопровождать, к примеру, Геншера или французского министра Дюма, нидерландского Ван Ден Брука или шведского Стена Андерссона к Президенту Союза обернется той дополнительной нагрузкой, которую, кажется, уже и снести нельзя... Тем более что все это под придирчивым и круглосуточно бодрствующим оком телекамеры, на нескончаемой ярмарке вопросов и ответов разноязыкой прессы...

О тяготах такого рода обычно не принято говорить и выглядеть положено всезнающим и всепонимающим авгуром, чему и я отдал в какой-то степени дань. Но теперь, когда и это испытание, и многие, последовавшие за ним, уже позади, могу свидетельствовать — тяжела «шапка Мономаха», даже если ты всего-навсего министр иностранных дел.

Ну и конечно же, внимание всего мира было приковано к нашей предстоящей встрече с Джеймсом Бейкером. В той ситуации, в тех чрезвычайных обстоятельствах — именно всего мира. Тут нет никакого преувеличения.

Вначале пришло от него письмо. Его передали в МИД из американского посольства в Москве 3 сентября, помечено же оно 30 августа, то есть тем самым днем, когда стало известно, что в Советском Союзе новый министр иностранных дел. Обычное поздравление, как и те, что буквально горами ложились на мой рабочий стол? И да, и нет. Тут надо

прежде заметить, что ординарных, составленных по незыбленным правилам дипломатического протокола, — мол, настоящим имею честь, выражая надежду на тесное сотрудничество, искренне ваш, ну и так далее, — в моей почте тех дней почти не было. Еще одно свидетельство, каким шоком, каким благословенным потрясением было для мира, в том числе и для чопорного сообщества творцов внешней политики, все произшедшее в нашей стране. И в главном — разгром путча, победа демократии; и в деталях, среди которых неожиданная кандидатура министра иностранных дел и необычная форма его назначения не в последнюю очередь привлекали к себе внимание. Мало кто обходился без упоминания нашего с Лебедевым заявления, без красноречивых и, я уверен, в большинстве своем искренних эпитетов относительно «решительной позиции в минуты, критические для демократических перемен в СССР». Надо ли говорить, что самые сердечные поздравления пришли из Швеции и Чехо-Словакии. Но даже и на этом фоне письмо Бейкера было особым.

Поздравляя и «выражая надежду на скорую встречу в Москве и на совместную работу с целью улучшения прочных отношений сотрудничества», государственный секретарь писал о солидарности американского народа с советскими людьми, «когда они противостояли попытке сокрушить их вновь завоеванные политические свободы». Говорил о твердой решимости Соединенных Штатов «активно поддерживать движение в СССР в направлении демократии и рыночной экономики». Касаясь внешнеполитических дел, призывал к созданию «настоящего партнерства между нашими народами, основанном на демократических ценностях и свободно-рыночной системе».

Платформа для предстоящих переговоров, да и перспектива сотрудничества на обозримое будущее была, таким образом, предложена уже в этом письме-поздравлении, и она мне весьма импонировала. Но, видимо, велика была еще неуверенность руководителя внешнеполитической службы США в том, дойдут ли до понимания его нового коллеги посылаемые ему сигналы. И вскоре стало известно о так называемых пяти принципах Бейкера, обнародованных тоже в связи с его предстоящим визитом в Москву, на конференцию по человеческому измерению. Не помню уж, как я впервые узнал о них — то ли шифровка от посла пришла, то ли включил я у себя в комнате отдыха канал всевидящей и всеслышащей службы американского телевидения Си-Эн-Эн, то ли по нашему радио услышал... Но вот уже со всех сторон

стали меня спрашивать, как я отношусь к «пяти принципам» Бейкера. И шеф-представитель того же вездесущего Си-Эн-Эн, договариваясь со мной об интервью, которое, по его скромному замыслу, должно было «открыть» меня миру, тоже по-дружески предупредил, что вопрос о «пяти принципах» будет мне задан. При этом никто ни у нас в МИДе, ни в американском посольстве в Москве в глаза эти тезисы пока не видел и руками их потрогать тоже не имел возможности.

Попутно об этой мании «открывать» тебя миру. Помню, в Стокгольме, где обширные теле-, радио- и газетные интервью я стал давать буквально с того момента, как спустился по трапу самолета в аэропорту Арланда, на протяжении еще по крайней мере трех лет, каждый из журналистов, кто обращался ко мне, чувствовал себя первооткрывателем и был обуреваем той же благородной целью — показать, что советское посольство уже не является как прежде закрытой, сумрачной и загадочной крепостью.

То же самое началось в Чехо-Словакии, благо я прибыл туда сразу же после «бархатной революции», и прессы, обновляясь, повторяла давно пройденное Западом. Да и в Лондоне, впрочем, тоже. Из чего я должен был сделать вывод, что мои коллеги, а я все еще причисляю себя к славному цеху ньюсменов, редко читают и смотрят самих себя.

Но вернемся к Бейкеру. Информация о его планах и намерениях в ходе визита в СССР все прибывала, а между тем никаких официальных обращений к нам все еще не поступало. На пресс-конференции, которую он провел перед отлетом, 4 сентября, в Вашингтоне, он заявил, что в Москве пробудет два дня, выступит на конференции, встретится с Горбачевым, Ельциным, разумеется, со своим новым коллегой Панкиным, с российским министром Козыревым, а до того посетит еще Алма-Ату, Киев, Бишкек — моя родина — не мог я не отметить про себя, возможно, еще одну-две республиканские столицы. «Прежде всего, — рассуждал Бейкер на пресс-конференции, — я доведу до сведения советского руководства и советских людей пять принципов, которыми американская дипломатия будет руководствоваться в подходе к происходящим в СССР политическим изменениям, особенно в отношениях Центр — республики».

Поведение Бейкера, — а может быть, это стиль его помощников? — напоминало мне повадки былинного Соловья-разбойника: «Еду-еду — не свищу, а наеду — не спущу!»

Петровский и другие мидовцы, ведавшие Штатами, по-жимали плечами — американцы, это вполне в их духе.

Но вот, наконец, и сами тезисы. Поступили сразу теле-

граммой из посольства в Вашингтоне и развернутым тасковским сообщением. Хороший документ, ничего не скажешь. И во многом перекликается с письмом Бейкера ко мне. «Советские люди должны сами решать свою судьбу мирным путем, в соответствии с демократическими ценностями, а также практикой и принципами Заключительного хельсинкского акта». Я, конечно, полностью согласен с Бейкером, но только никак не могу понять, о чьих он все-таки подходах речь ведет — об американских или о наших.

Мои замы с улыбкой успокаивают меня. Хорошо, идем дальше... Госсекретарь «выделил», как явствует из сообщения ТАСС, необходимость уважать существующие границы, как внутренние, так и внешние, демократию, верховенство закона и поддерживать мирные изменения только через соответствующие демократические процессы, особенно такие, как выборы.

В общем все ясно, — решаю я про себя. Готовиться к встрече с Бейкером надо не только по существу, но и по форме. Подавать и отстаивать не только нашу политику, подходы, но и себя самого. В конце концов стаж и опыт ministra — дело наживное, временное (вспомним-ка Шеварнадзе первого его министерского года!), а принципы и интересы страны — нечто непреходящее.

К тому времени я уже довольно ясно представлял себе, чем проблемно и событийно мне предстоит заняться в ближайшее время, опираясь на три моих принципа — деидеологизация, гуманизация и прагматизм, ну и конечно, на поддержку двух президентов — союзного и российского. Благо на данный момент все в этом отношении было в порядке.

В сейфе у меня лежала уже новая папочка, в которую было вложено с десяток машинописных страничек. Заглавие лаконичное: «Некоторые международные проблемы». Первая страничка, непронумерованная, — перечень этих проблем. Вот он:

- О Генеральном секретаре ООН — стр. 1;
- Об Афганистане — стр. 2;
- О ближневосточном урегулировании — стр. 3;
- Об отношениях с Израилем — стр. 4;
- О Кубе — стр. 5;
- О «Северных территориях» — стр. 6;
- Об отказе от режима «закрытых районов» — стр. 6;
- О Хоннекере — стр. 9;
- О советско-чехословацком, а также с Венгрией, Польшей и Болгарией договорах — стр. 10;
- Об отношениях с ЮАР.

Такая же папочка лежала теперь и на столе у Горбачева. Вчера я принес ее ему и попросил познакомиться. Он, бросив быстрый взгляд на оглавление, тут же при мне, с видимым интересом и даже нетерпением стал перелистывать странички. Я, затаив дыхание, молча сидел рядом. Речь ни много ни мало шла о том, чтобы:

— по договоренности с американцами прекратить в ближайшее время поставки оружия и военных материалов кабульскому режиму и моджахедам;

— активизировать наше участие в подготовке конференции по ближневосточному урегулированию и с этой целью восстановить наконец дипломатические отношения с Израилем;

— завершить процесс деидеологизации отношений с режимом Фиделя Кастро и с этой целью приступить к переговорам о выводе нашей учебной военной бригады с Кубы;

— воспользовавшись приездом в ближайшее время в страну на частной основе министра иностранных дел ЮАР Питера Боты, заключить консультское соглашение, а затем, во время приезда Президента де Клерка, тоже, правда, проездом, установить и дипломатические отношения в полном объеме;

— в переговорах по двусторонним договорам с Чехословакией и другими странами Центральной и Восточной Европы отказаться от пресловутого параграфа о неучастии в союзах и вести дело сначала к парафированию договора на уровне министров, а там и подписаннию его на уровне президентов, для чего ответить на приглашение Вацлава Гавела и нанести визит в Прагу, а также пригласить в Москву Леха Валенсу, Антала и Желева...

Пикантность ситуации состояла в том, что все эти и другие перечисленные мною идеи и предложения раньше либо вообще не ставились перед Горбачевым, либо не доходили до него, а если и доходили, то отвергались им с порога. Как тот же, например, вопрос о новом поколении договоров со странами Восточной и Центральной Европы. Собственно, по этому принципу эти проблемы и были мною сгруппированы: в каждом случае требовалось либо радикально новое решение, либо подвижка, либо решающий акцент.

Горбачев между тем дочитал последнюю страницу, с шумом захлопнул корочки и без каких-либо комментариев протянул папку мне.

— Так что? — спросил я.

— Как что, — удивился он, — надо действовать. — И улыбнулся.

— Значит, я могу эту линию проводить, — уточнил я, — в частности, в переговорах с Бейкером?

— Можешь, — сказал он с той же своей загадочной улыбкой.

— Кстати, поступила от него просьба о встрече с вами. Могу я ему подтвердить?

— Можешь, — сказал Горбачев. — Время уточни с Черняевым. — Он на минуту задумался. — А папочку свою ты мне верни. У тебя есть ведь копия?

— Есть, — сказал я.

— Ну и добро, — снова задумчиво улыбнулся он и протянул руку попрощаться.

Вот так примерно в ту пору определялись подходы к крупным основополагающим вопросам внешней политики между Президентом и министром иностранных дел.

Я радовался, но поначалу и недоумевал, почему Горбачев так быстро, без особых дискуссий соглашался практически со всем, что я ему предлагал, хотя это и противоречило его недавним представлениям.

Со временем мне стало это понятнее. Политический деятель, вошедший в историю с репутацией человека, подверженного постоянным колебаниям, он не любил ни эту свою репутацию, ни самое склонность свою колебаться. И потому, прияя после долгих и мучительных, как правило, размышлений, к тому или иному решению, он предпочитал держаться его как можно дольше, уступая новым обстоятельствам, доводам и фактам лишь в самый последний момент. Зато уж меняя в очередной раз, под давлением всего этого комплекса причин, курс, он снова действовал решительно и без оглядки. И так — до следующего витка спирали... Прилетев из форосского своего заточения, он, невзирая на все пережитое, еще целый день продолжал говорить о своей вере в партию и ее Центральный Комитет, который, почистив и укрепив после путча свои ряды, сможет повести народ и страну по новому пути, твердил о созыве Пленума. На следующее утро он заявил о сложении с себя полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС, о выходе из ЦК и партии вообще, а там — и о приостановке ее деятельности, по существу, объявил ее вне закона. Так велико и жестоко было его разочарование после всего того, что он узнал в Москве, что в течение одной ночи он «сжег все, чему поклонялся», безоглядно откинув заблуждения и иллюзии, в плена которых, несмотря ни на что, находился даже в годы начатой им самим перестройки.

Как в общем, так и в конкретном. Столько лет он ста-

рательно держал меня на отдалении, ясно представляя, однако, как подтвердили Черняев и Яковлев, чего можно было бы от меня ожидать, но уж сделав ставку, был согласен пуститься со мной во все тяжкие...

Быть может, теперь читателю яснее будет, какой смысл я вкладывал в полюбившееся мне изречение моего старого доброго друга Юрия Трифонова, приведенное выше.

Между тем мои мысли по-прежнему занятые были Бейкером — в те часы, вернее, в те минуты, когда у меня вообще было время думать в потоке обгонявших друг друга событий внутреннего и внешнего порядка. Да если бы я и попробовал о нем забыть, мне бы этого не позволили пресса и телевидение. Бейкер уже находился на территории нашей страны, перемещаясь стремительно из одной республиканской столицы в другую, и газеты — наши и зарубежные — были переполнены сообщениями о нем — информация, сенсации, вопросы — обычные и риторические, даже ехидные. Что касается сарказма, тут прежде всего отличались, конечно, наши издания, особенно вновь возникшие, причисляющие себя, как правило, к демократическому направлению.

Раньше это меня, естественно, меньше задевало. Теперь же я с особой остротой ощущал, что эманципация средствами массовой информации даром не дается, и первые глотки вольного воздуха кружат голову сильнее молодого вина. Как известно, столбняк и летаргия, в которую погружена была, за немногим исключением, почти вся наша так называемая подцензурная пресса, особенно поразили международную журналистику. Быть может, потому, что запреты в этой сфере были сильнее, чем где бы то ни было, а табу — священнее. Я вспоминаю, как в «Комсомолке» мы, лет двадцать эдак назад, не у министра иностранных дел, а у министра внешней торговли пытались взять обширное интервью и тем самым открыть запретную для печати тему. Как только ни прятался тогдашний министр Патоличев от нашего репортера, какими только инструкциями и заградительными грамотами ни прикрывался. И лишь когда я сказал репортеру в шутку, что уволю, если не будет интервью, он отловил ministra где-то в лабиринтах Внешторга и заявил ему, работавшему некогда в Ростове секретарем обкома КПСС: «Николай Семенович, вы — ростовчанин, и я — ростовчанин, и если мы друг друга поддерживать не будем, москвичи нас затопчут». У Патоличева хватило юмора пренебречь всеми запретами и впустить земляка в «святое святых».

Уже на том витке перестройки, когда журналисты, пишущие на внутренние темы, только что на головах не ходили,

международная рать их коллег за редким исключением, вроде Бовина, смиленно довольствовалась протоколом, переглагала сообщения пресс-центра МИДа, по инерции клеймила происки мирового империализма на Кубе или в Эфиопии и воспевала героический труд народа в братской Чехословакии или в еще более братской Болгарии. Зато уж получив свободу, закусили, что называется, удила. Сон «пикейных жилетов» в рядах журналистской братии оказался куда более многочисленным, чем на улицах маленького южного городка, воспетого Ильфом и Петровым в «Золотом теленке». Только если там у собеседников и Бриан — был «голова», и Чемберлен — «голова», то у наших коллег-международников — наоборот. По принципу — нет пророков ни в своем отечестве, ни вокруг.

Так что доставалось почем зря — и Бейкеру, и мне, и Бушу, и Горбачеву, и Ельцину, хотя он тогда еще находился в зените заслуженной своей славы спасителя Отечества и демократии. Презумпция изначальной виновности цвела пышным цветом.

«Внешнеполитическая стратегия СССР: а есть ли она?» — вопрошала аршинным заголовком одна уважаемая газета, давая понять, что прежде чем садиться за стол переговоров с заокеанским Ионычем, не мешает подумать, а о чем, собственно, будешь говорить. Заведомо предполагалось, что такого понимания нет. «Чья у нас внешняя политика?» — тем же кеглем восклицала другая не менее уважаемая газета. И третья, вернее, третий, потому что это был популярный еженедельный журнал, торопился «закрыть вопрос» утверждением, которое тоже было заботливо вынесено в аншлаг: «Дипломатия закрыта на учет». Кому-то за столом переговоров не хватало Шеварднадзе, кто-то заранее подозревал Панкина в чрезмерной уступчивости... Пролиты были даже две или три слезы по поводу отправленного в отставку Бессмертных — вот уж, мол, был завзятый американец. Продолжала, однако, развиваться и кампания поддержки, и тоже совершенно независимо от меня.

Помнится, отчет об одной из моих пресс-конференций на Зубовском бульваре в «Независимой газете» был назван «Министр отвечал корректно, а вопросы — на грани фола». Журналист, написавший эту заметку, даже во время самой пресс-конференции неожиданно возвзвал к своим коллегам: для чего мы задаем вопросы — информацию получить или себя показать?

Впрочем, меня это не задевало. Во всяком случае меньше, чем других политических деятелей той поры. Сказы-

валась, должно быть, школа, которую я прошел сначала в отношениях с занозистой прессой Швеции, а потом и в Чехо-Словакии, где она, как разбуженный ненароком во время зимней спячки медведь, тоже была до поры до времени немилостивой. Следуя древней восточной пословице: «Из умных всех умнее тот, кто и у чудака совет берет», — я во всех этих вопросах и придираках черпал повод для дополнительных размышлений на самые, казалось бы, очевидные темы.

Вопрос о «зацикленности» внешней политики на Запад, особенно на Соединенные Штаты, звучал в канун моих встреч с Бейкером особенно назойливо. Ведь СССР окружен по своему периметру государствами, которые для его жизненных интересов, быть может, куда более важны, хотя бы потому, что они соседи. Такую тенденцию еще можно было понять, пока СССР пыжился изо всех сил, изображая из себя «великую державу», хотя его присутствие в этом малочисленном клубе всегда связывалось в основном с уровнем его ядерной вооруженности... А сейчас-то, мол, чего? Экономика в руинах, республики разбегаются... А новый министр, пригласив гостей со всех уголков Европы, опять собирается на несколько часов засесть именно с дядюшкой Сэном.

С одной стороны, убедительно. С другой — нет. Я вновь и вновь заглядывал в свой кондитер. Не для Бейкера, а для Горбачева он, естественно, составлялся, для Ельцина. Но если разобраться, в беседах с Бейкером ни одного из этих вопросов не обойдешь. Потому что так или иначе в каждом из них, не говоря уж о разоруженческой проблематике, которую даже смешно вносить в какой-то специальный реестр, переплетены наши интересы. Какое, скажут, американцам дело до Афганистана, нашего соседа? Но какое было дело нам до Кубы — соседа США? А единоборство между тем началось задолго до нашего вступления в Кабул.

Конечно, американцев, видимо, порадует наша готовность договориться наконец о прекращении на взаимной основе, — так называемая негативная симметрия, — поставок Афганистану оружия, но разве это будет уступка американцам? Сделав в свое время решительный рывок — вот оно, новое мышление в действии — с выводом наших войск из Афганистана, признав ошибкой, если не преступлением само это вмешательство в дела народа-соседа, мы все еще демонстрировали какой-то комплекс неполноценности в отношении к режиму Наджибуллы, все твердили, что, мол, друзей не бросят в беде. Но сейчас-то как никогда понятно, что этот так называемый друг — всего-навсего ставленник Крючкова.

Так почему же миллионы людей по ту и по другую сторону границы должны страдать от того, что мы медлим с исправлением собственных грехов? Конечно, мы не можем и свергнуть этот режим, чего от нас добиваются моджахеды, — это было бы зеркальным повторением интервенции, — но отказать Наджибулле в военной поддержке просто обязаны и как можно скорее...

А Восточная Европа? Мы словно бы стыдимся того, чем должны гордиться, — дали событиям в этих странах развиваться по их внутренней логике. И вот получается, Буша и Тэтчер встречают в этих столицах, как спасителей, а в нашу сторону в лучшем случае смотрят с укоризной.

В общем, я все больше утверждался в уже знакомой читателю мысли, что если говорить о приоритетах в области внешней политики, то думать следует не о регионах, а о проблемах. И в данный момент все они так или иначе завязаны на Соединенные Штаты. Тут уж ничего не поделаешь — великая держава есть великая держава. И число часов, которые советский министр и госсекретарь проводят в беседах, вовсе не означает, что они беседуют лишь друг о друге. Я уж не говорю об экономическом содействии нашей стране, где США, по определению, играют первую скрипку. Тут я ловил себя на том, что начинаю рассуждать как бы перед микрофоном, под взглядом телекамеры... Впрочем, так оно нередко и было. Чем еще мне нравилось то время, так тем, что только что обдуманное, действительно тут же выплескивалось в эфир, на страницы газет, дорабатывалось на ходу и оттого, порой, оказывалось и вернее, и точнее того, что в других условиях вынашивалось бы в тишине кабинетов неделями и месяцами. Суровая необходимость чуть ли не двадцать четыре часа в сутки жить «под колпаком» у СМИ оборачивалась роскошью общения с мировым общественным мнением.

Бейкера я встречал ранним утром 11 сентября 1991 года. В знаменитом мидовском особняке на улице Алексея Толстого. Я приехал туда минуты за три до назначенного времени — хозяин, опаздывать нельзя. На привычном, знакомом миллионам телезрителей месте — прямо напротив главного входа, — пресса, наша и зарубежная — телевизоры, фотокамеры, киноаппараты... Фотокол, фотооппортунисти, то есть возможность запечатлеть высокие договаривающиеся стороны, а заодно и попытать их вопросами.

Бейкер запаздывает. Пока, правда, всего на три-четыре минуты, но кто-то в моем окружении уже успел выразить удивление — мол, непохоже на него, он, как правило, точен...

Читай, значит, что выстраивает дистанцию. Ну что ж, тогда тем более, говорю себе, план проведения встречи, выбранный мною, правилен. Подхожу к прессе и, стараясь выглядеть как можно спокойнее и благодушнее, перечисляю, по просьбе журналистов, в общем плане вопросы, которые будем обсуждать. Ждать ли сенсаций? Поживем — увидим. Встретимся тут же — после переговоров и рабочего завтрака, если у вас, конечно, хватит терпения. Да, в общей сложности это займет не менее трех-четырех часов. Так у нас и в программе записано.

Вот и Бейкер наконец. Его появлению предшествует рев моторов и завывания сирен за стенами особняка, усилившаяся суета в огромном холле...

По плану, предложенному американцами, мы должны были провести «с глазу на глаз» минут 15—20, а потом перейти к пленарному заседанию. У меня же замысел другой. Я с улыбкой предлагаю Бейкеру познакомиться поближе, тем более что вчера мы лишь мельком смогли повидаться на конференции. Добавляю при этом, что в известной мере мы находимся в неравном положении. Я, по понятным причинам, знаю, видимо, о моем собеседнике гораздо больше, чем он обо мне. Он протестует, но ясно, из приличия, мой пассаж его заинтересовал. Так что я, говорю, готов исправить эту асимметрию — протестующий жест с его стороны: очевидно, испугался, что я сейчас начну рассказывать ему свою биографию. Нет, успокаиваю я его. Речь пойдет не о моих личных, а о политических пристрастиях. О сумме вопросов, которые я предлагаю обсудить. Как он убедится, многое совпадет с его представлениями о повестке дня. Больше того, я уверен, что нам удастся договориться не только по процедурным, но и по многим крупным вопросам. И не исключаю, что прессы заговорят о новых уступках с советской стороны, даже объяснят это бедственным положением советского партнера, желанием добиться помощи от заокеанского колосса.

Тут я показываю ему страничку — оглавление из той папочки, которая осталась у Горбачева, — только на английском, — и глаза у него округляются.

Надеюсь, повторяю я, довольный произведенным эффектом, мы придем к общему пониманию по большинству этих вопросов, но заранее хочу попросить вас — если даже окончательная договоренность окажется ближе к вашей первоначальной позиции, чем к прежней нашей, — преодолейте соблазн подтвердить прессе, что это — уступки одной стороны другой. Просто речь пойдет о наших сегодняшних представ-

лениях, о позициях тех, кто сегодня стоит у руля внешней политики. Если хотите, заканчу я на шутливой ноте, можете записать меня в соавторы своих пяти принципов. Я разделял их еще до того, как познакомился с ними.

Чувствую, что такое начало и озадачивает Бейкера и импонирует ему. С едва уловимой долей смущения он признается, откладывая в сторону несколько листков, которые непрерывно теребил в руках, слушая меня, что, действительно, хотел было в качестве вступления прочитать что-то вроде лекции, но теперь ему даже немного неловко за это свое намерение. Зато не терпится узнать, что же все-таки конкретно стоит за моими словами и той повесткой дня, которую я ему предложил, вернее, показал. Почему бы тут же вдвоем и не пройтись по ней от начала до конца? Наша беседа «с глазу на глаз» заканчивается лишь тогда, когда пора уже переходить к завтраку. Пришлося пожертвовать пленарным заседанием. Завтрак получился поистине рабочим. Мы рассказываем остальным участникам переговоров, о чем условились, даем задания готовить документы.

Назавтра — еще один тур переговоров. И — пресс-конференция. Потом встреча Бейкера с Горбачевым и их пресс-конференция. И надо отдать должное — ни в тот свой приезд, ни после — мы встречались и в Нью-Йорке, и в Иерусалиме, и в Мадриде, и в Париже, — никогда и нигде не позволил он себе намека на менторство. А однажды даже сам смильчишничал, тогда — в Москве. Правда, мальчишество это чуть было не обернулось международным скандалом. Как я уже упоминал, в ходе той нашей беседы «в узком составе» я проинформировал Бейкера о намерении начать с Кубой переговоры и вывести с острова нашу военно-учебную бригаду, которая насчитывала около трех тысяч человек. Не Бейкеру было объяснять все радикальное значение этой меры: процесс деидеологизации наших взаимоотношений с Кубой выходил тем самым на принципиально новый виток. Я тем не менее посчитал необходимым поставить все точки над *i* и прежде всего попросил Бейкера рассматривать и трактовать в дальнейшем мое сообщение именно как информацию, а не обсуждение с Соединенными Штатами этого вопроса. Ибо не в наших правилах обсуждать вопросы двусторонних отношений той или иной страны с третьими странами. Я далее сказал Бейкеру, что, делая такой шаг, мы стремимся снизить напряженность в регионе Карибского моря, способствовать разработке мер доверия применительно к нему и поэтому рассчитываем на ответные шаги со стороны США. Мы знаем, говорю, что вы уже пошли на прекращение

облетов территории Кубы своими разведывательными самолетами. Это хорошо. Но почему бы не пойти дальше? Например, хотя бы снизить численность ваших подразделений на базе Гуантанамо, сократить число заходов туда военных кораблей, ввести в практику, может быть, даже в одностороннем порядке, уведомления о значительных военных маневрах, передвижениях войск в регионе, военных учениях...

Бейкер внимательно, даже напряженно слушал, кивал, переспрашивал, но чувствовалось, все мною сказанное относительно мер доверия относили как бы на потом. Совершенно неожиданная для него весть о выводе нашей учебной бригады — вот что целиком захватило его внимание. Он переспрашивал меня об этом, уточнял какие-то данные и словно бы не решался поверить услышанному. Он позже, естественно, не преминул заговорить на эту тему с Горбачевым, и Михаил Сергеевич, на столе у которого лежала моя папочка, с удовольствием подтвердил Бейкеру то, что тот так жаждал услышать на высшем уровне. По дороге на пресс-конференцию, — встреча с Горбачевым проходила в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца, а встреча с журналистами была назначена в Георгиевском, — Бейкер не утерпел и с видом заговорщика попросил, через переводчика, своего высокого собеседника не забыть упомянуть о Кубе. Меня эта его просьба застала врасплох. Мы ведь только-только послали шифровку-указание своему послу в Гаване, и, по моим данным, он не успел еще встретиться ни с кем из официальных лиц. Увы, приостановить «диверсию» Бейкера уже не было возможности — мы вступали под своды торжественного белокаменного Георгиевского зала. В торце его, огороженном шелковой лентой, уже ожидала тьма-тьмущая журналистов. Горбачев, естественно, упомянул о нашем решении относительно бригады, подчеркнув, что вывод ее в обозримом будущем свидетельствует о твердом намерении переводить наши отношения с этой страной на нормальные, общепринятые в международном общении принципы и «освобождать их от тех элементов, которые сформировались еще в другую эпоху, под давлением других обстоятельств».

Сообщение это оказалось главной сенсацией дня, тем более что Бейкер в своем заявлении не преминул тут же поблагодарить Президента «за сказанное об учебной бригаде на Кубе, что окажет большое позитивное влияние на общественное мнение в Соединенных Штатах».

И пошла, покатилась волна разноречивых сообщений по миру. И не раз еще во встречах с прессой пришлось мне,

отвечая на вопросы, объяснять журналистам «третьего мира» истинный смысл принятого нашей страной решения.

Но один вопрос я задавал себе сам. Ну а если бы мне и удалось вставить предостерегающее словечко еще до пресс-конференции в Георгиевском зале, удержало бы это Горбачева от его вроде бы поспешного заявления? Судя по тому видимому удовольствию, с которым он его сделал, — нет! Он был рад такой возможности и не хотел ее упускать. И его нисколько не смущали потом, вопреки моим опасениям, крики озлобления насчет «сговора СССР и США», долго еще раздававшиеся с берегов, которые столько лет называли островом Свободы. Это было в натуре Горбачева, снова убеждался я.

Он очень долго шел к тем или иным решениям, существование которых затрагивало какие-то заветные его представления и верования. А ведь Фиделем Кастро, его Монкадой, «Гран-мой», барбудос все мы когда-то переболели — будущие правые и левые, демократы, консерваторы и даже реакционеры. Решившись же, наконец, он далее действовал стремительно и бескомпромиссно. Михаил Сергеевич был и, как это ни странноозвучит, остается консерватором по духу, в том высоком философском смысле этого слова, который мы только теперь начинаем постигать. Ведь в конце концов консерватор — это человек твердых и глубоких убеждений, переходящих в инстинкт, в кровь и плоть. Он не способен изменить им, а отодрать их от себя может только с собственной кожей. А это, как известно, все-таки легче, когда, решившись, дергаешь быстро и резко.

«Еще два месяца назад, — писала одна из наших серьезных газет, — пресс-секретарь Президента Игнатенко заявлял, что статус-кво в принципиальных отношениях с Кубой будет сохранен. Еще неделю назад Горбачев в отличие от Бориса Ельцина, заявившего, что войска с Кубы надо убрать, обошел этот вопрос, поставленный ему представителем кубинской эмиграции из Майами. Трудно сейчас сказать, что повлияло на такую быстроту эволюции взглядов Президента, может быть, неизвестные нам подробности переговоров с Бейкером, но так или иначе Рубикон перейден, а из наших отношений с Соединенными Штатами вынута еще одна заноза».

Что верно, то верно!

Заявление по Афганистану, которое к моменту пресс-конференции Горбачева, было еще не готово, мы с Бейкером сделали на следующий день. Это было действительно двустороннее решение в форме меморандума двух министров. Парадоксально, но факт: первым его поддержал афганский

лидер Наджибулла. Надо отдать ему должное — он умел делать хорошую мину при плохой игре. Правда, в отличие от Фиделя Кастро, он узнал о документе за шесть часов до того, как он был обнародован.

Да, совместное советско-американское Заявление стало еще одной сенсацией, может быть, самой крупной, тех наших первых переговоров с Бейкером в Москве. Тем более что возможность согласия по такому большому вопросу была неожиданной и для самого Бейкера, да и для всей американской администрации. «Афганская война Советского государства закончена», — объявила заголовком одна из наших газет. Она же назвала Наджибуллу «еще одной жертвой августовской революции».

Не случайно в прессе тех дней Заявление это сравнивали по историческому значению и весомости с женевскими договоренностями 1987 года. У него, как и у всякой серьезной проблемы, была своя история, с которой мне как раз и довелось познакомиться в те, предшествующие переговорам с Бейкером, дни.

Еще за месяц до нашей встречи главный специалист в МИДе по этим вопросам посол по особым поручениям Николай Козырев публично уверял, что одновременное прекращение двумя великими державами поставок военных материалов и вооружения моджахедам и кабульскому режиму бессмысленно. Ведь оно не касается Пакистана и Саудовской Аравии, так что «негативная симметрия» может на самом деле обернуться асимметрией. Но как он сам потом и признался, говорил это только в силу служебного долга. Он ведь знал, что текст документа был практически готов еще чуть ли не год назад, когда в Хьюстоне переговоры с Бейкером вел Шеварднадзе. Однако с нашей стороны не хватало визы председателя КГБ Крючкова, а это автоматически закрывало соглашению дорогу, несмотря на то, что с идеей прекращения поставок уже тогда был согласен в принципе Горбачев. Иначе как мог бы тогдашний министр иностранных дел вести об этом переговоры. Теперь Крючкова не было...

Однако вопрос о позиции Пакистана и Саудовской Аравии беспокоил и меня. Планируя поездку в Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи, я договорился о встречах там с министрами иностранных дел этих стран.

Пока же мы, по моему настоянию, усилили с Бейкером то место Заявления, где выражалась надежда, что третьи страны, читай — Пакистан и Саудовская Аравия, последуют нашему примеру. Госсекретарь уверял меня, что употребит свое влияние в отношении этих государств, и, кстати, как

показало время, сдержал слово. Сработали, наверное, многие обстоятельства сразу. Но уже через несколько месяцев, как раз когда взятые нами обязательства вступили в силу, хотя СССР к тому времени перестал существовать, Пакистан отошел от безоговорочной поддержки экстремистского крыла моджахедов. Рияд сделал это еще раньше.

Беспокойство же мое продиктовано было, естественно, не заботой о продлении дней режима Наджибуллы. Главное — предотвратить эскалацию кровопролития, создать все условия, чтобы афганцы решали этот спор между собой.

Мы шли на определенный риск тогда — и он себя оправдал. Заколдованный круг был разорван. Одна акция повлекла за собой другие.

Уже через две недели, все в том же жарком сентябре, я встретился в Нью-Йорке с моджахедами. Без московского заявления такая встреча была бы невозможна.

Делегацию возглавлял представитель умеренного крыла «пешаварской семерки» профессор С. Моджаддеди. Мы встретились в одном из приемных залов нашего представительства в ООН. Юлия Воронцова гости приветствовали как старого знакомого. Еще сравнительно недавно он, сохранив за собой пост первого заместителя министра иностранных дел, был послом в Афганистане, где и положил начало встречам с «вооруженной оппозицией» или бандитами, как их у нас много лет называли. С министром же они встречались теперь впервые. Так что, как и положено, они бросали в мою сторону «испытывающие, проницательные взгляды».

Пресса, собравшаяся по этому поводу в особенно большом количестве, просто неистовствовала: советский министр пожимает руку одному из вождей вооруженной оппозиции.

Я же благодарил судьбу за то, что она дала мне такую встречу. Вслед за пражским, теперь выпало участвовать в развязке кабульского узла.

Сколько мыслей, сколько эмоций всколыхнуло во мне вид этих людей в халатах, чалмах и тюрбанах, гуськом вошедших в комнату для заседаний.

Сколько ужасов, былей и небылиц довелось прочитать о них в нашей прессе, которая теперь, повернувшись на сто восемьдесят градусов, требовала, нередко теми же самыми перьями, чуть ли не распять Наджибуллу. Требования и намерения наших гостей на этот счет были поумереннее. Они отдавали должное взятым на себя великими державами обязательствам, рады были готовности Генерального секретаря ООН осуществлять посреднические функции, готовы были даже говорить о переходном правительстве с участием

«хороших мусульман» из нынешнего кабульского правительства, но только не с Наджибуллой. Мои уверения, что мы «не держимся за Наджибуллу», хотя и не чувствуем себя вправе потребовать от него «уходи!» — это уж решать самим афганцам, произвели на них впечатление. Без колебаний поддержали они и приглашение к диалогу о наших военнопленных. Согласились с тем, что безнравственно было бы делать их — солдат страны, которая давно уже не участвует в войне — заложниками политических интересов противоборствующих сил. Сказали только, что практически осуществить это дело будет очень трудно. Ребята разбросаны по десяткам полевых отрядов, баз, лагерей. Никто ведь даже толком не знает, сколько их всего. Я заметил, что с нашей стороны фигурирует цифра 306, но действительно и нам неведомо, кто из ребят жив, кто нет. Я добавил еще, что мы отнюдь не настаиваем на обязательном возвращении всех военнопленных в Союз. Кто хочет — пусть едет в любую другую страну, кто хочет — пусть остается у вас. Но родители, жены и невесты должны же знать, что случилось с родными им людьми. Я встречался с ними перед отлетом, прикоснулся к их боли. Понималось, что и в этом заявлении была нужда. И оно как бы приоткрыло нас друг другу чуть-чуть больше.

Моджахеды обещали в качестве первого шага составить и передать нам списки всех военнопленных, реально существующих и здравствующих.

На прощание условились, что следующая встреча состоится в Москве. И я еще долго думал о том духе достоинства и умеренности, которым веяло от наших гостей. Умеренность спасет мир, каждый мой новый шаг на посту министра убеждал в этом. Умеренность, а не радикализм, не фанатизм, не параноическая уверенность в собственной, и только в ней, правоте, что на деле оборачивается зоологическим эгоизмом — индивидуальным, социальным, национальным.

Убедиться в этом, правда, от обратного, мне довелось уже вскоре, когда переговоры с моджахедами, как и было условлено, продолжились в Москве. Теперь на встречу с нами приехала совсем другая делегация. Во всяком случае руководитель ее профессор Бурханнуддин Раббани, министр иностранных дел временного правительства, сформированного оппозицией в Пешаваре, был совсем непохож на моего первого собеседника, лидера Фронта национального спасения.

Умеренность — наказуема. По меньшей мере — уязвима, и в этом я успел убедиться за тот сравнительно короткий — месяц с небольшим — промежуток времени, который отделял

одни переговоры от других. За это время досталось и мне, правда, заочно, от Наджибуллы, и Моджахеди — от еще более экстремистски настроенных партнеров по «Альянсу семи».

В отношении меня пришлось и руководителю нашего пресс-центра в Москве отчитываться перед прессой, и нашему послу в Кабуле перед местным руководством — правда ли, что на встрече в Нью-Йорке шла речь о возможности передачи функций президента кому-нибудь из моджахедов, правда ли, что советский министр предложил то ли кому-то из лидеров оппозиции, то ли бывшему королю Захир Шаху возглавить «переходное правительство».

Моджахеди, судя по различным источникам, попало за сам факт обсуждения каких-то коренных вопросов с советской стороной. Надо было просто поставить ультиматум — уберите Наджибуллу, прекратите всякие поставки, вплоть до продуктов питания, и не с января, а сейчас, немедленно. И тогда мы возьмем Кабул — «хороших» мусульман пощадим, плохих — накажем. Проводить именно такую линию в Москве Моджахеди уже не доверили. А может быть, он сам отказался.

Но если моджахеды все свои разногласия решили заблаговременно и в Москву приехали с единой «ястребиной» позицией, то у нас они выплеснулись наружу в ходе самих переговоров. Дело в том, что «афганский вопрос», особенно вопрос об освобождении наших военнопленных, попал к тому времени в такую обойму проблем, где радикальная, даже экстремистская позиция стала отождествляться с демократической. Выступаешь за немедленную передачу островов Курильской гряды японцам? Демократ! Предлагаешь, чтобы Россия вступила в НАТО? Вдвойне демократ. Ну а то, что Наджибулла должен немедленно уступить место свободолюбивым моджахедам, это как — дважды два. И чем дальше ты от механизма принятия решений, тем вольготнее и безогляднее тебе высказываться. Ну, а из борьбы за освобождение военнопленных можно и вообще сделать себе паблисити. Так и получилось, что в составе нашей делегации на переговорах в Москве, составленной с учетом мнений республик и особенно России, оказался печально знаменитый народный депутат Иона Андронов. В застойные времена он отличался беспримерными по ожесточению нападками на проклятый американский имперализм на страницах «Литературной газеты», теперь же в отношении Афганистана исповедовал один подход: мы вам приведем на веревке Наджибуллу, а вы нам отдайте наших доблестных парней.

Рассчитывал, что моджахеды клонут на эту удочку, а на деле сам попался на нее. Хитрец Раббани охотно откликнулся на призывы Андронова «иметь дело только с Россией», тем более что тому удалось еще опереться на авторитет вице-президента Руцкого, бывшего летчика, воевавшего в Афганистане, провоцировал новые и новые заявления и заверения. Когда же Руцкой, окрыленный авансами Андронова, отправился в Пакистан и Иран, ему показали трех солдат, двое из которых отказались возвращаться домой, а третий, как выяснилось, вообще к нашей стране не имел никакого отношения. Назойливый, по мнению моджахедов, акцент на судьбе военнопленных отдавал пренебрежением к судьбе самого афганского народа, и вице-президенту России дали это понять. Руцкой развелся и выговорил моджахедам за нарушение обещаний — «это нечестно, не по-мужски». На телеэкране в Лондоне я видел, как Раббани вежливо улыбается, слушая гостя из России. Случилось то, чего так опасались в стране все эти годы — наши военнопленные стали заложниками общего урегулирования в Афганистане. Еще раз нашла себе подтверждение старая истина — добрыми намерениями вымощена дорога в ад.

Еще раз встал передо мною вопрос — почему мы, русские, являющие в искусстве образцы вкуса и меры, что делает его прекрасным и недосягаемым, бываем настолько лишены этих золотых качеств в политике?

Поневоле задумашься — сколько же горя, крови, страданий принесли мы своим вооруженным вмешательством в дела соседней страны, каким смятением умов и вывихом душ, не говоря уж о самой кровавой жатве, откликнулась, — и до сих пор аукается эта безумная акция. Вроде и выводы все уже сделаны, и оценки даны, и все возможные меры, включая наше с Джеймсом Бейкером Заявление, принимаются — шаг за шагом. Но все еще ударяет в голову пролитая кровь, мешает мысли, рождает новые и новые химеры.

Не странно ли, например, что на титул лучшего друга моджахедов претендует бывший военный летчик, который будучи однажды сбит ракетой повстанцев, посчитал долгом чести снова занять свое место за штурвалом и воевать до тех пор, пока его снова не сбили. Он и сейчас стоит на том, что он и его товарищи честно и доблестно выполняли свой долг.

Выручай наших ребят из плена, но не сотвори из воевавших в Афганистане кумира, — говорю я. Но вот уже идет по первой программе российского телевидения так называемый марафон. Идет сбор пожертвований в пользу воинов-интернационалистов. Позор уже в том, что для кого-то это выгля-

дит доблестью — стоять по такому поводу с протянутой рукой на виду у всего мира, пусть якобы и от имени нуждающихся и страждущих.

На экране — Руцкой, Горбачев, пытающийся деликатно напомнить, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, которым теперь в лучшем случае под семьдесят, тоже ведь — интернационалисты, не одни «афганцы», не забыть бы и о них. Вот уже катится ностальгическая влага по моложавому, но одутловатому лицу грунного молодца лет под пятьдесят, который в самые кровопролитные годы служил в Кабуле главным политическим советником, то есть партийным наставником и посла, и командующего войсками. Послы менялись, он оставался. «Там, — провозглашает он теперь, — в Афганистане, были тогда все наши лучшие люди». — И смахивает слезу с круглого подбородка.

Не с этими ли лучшими людьми он в 1989 году, когда в Афганистане ему нечего стало делать, отправился в Баку, где в качестве второго секретаря ЦК КП Азербайджана занялся «нормализацией» обстановки в Нагорном Карабахе?

В это трудно поверить, но в марте 1992 года на экране российского телевидения, по первой, самой массовой его программе в роли героя и филантропа подвизался человек, который 20 августа 1991 года в Баку назвал ГКЧП «обнадеживающей структурой» и посоветовал воспринимать «объявленное чрезвычайное положение как чрезвычайно разумное положение».

Вел же этот марафон хорошо известный телезрителям журналист, едва ли не до самого подписания Женевских договоренностей воспевавший освободительную миссию и беспримерные подвиги воинов-интернационалистов, для которых он теперь собирал милостыню. «Как же Лещинский себя чувствует, — думал я, — когда произошел поворот в нашей официальной политике?» Помню, как я ахнул, наверное, вместе с миллионами телезрителей, когда впервые увидел этого человека в роли обличителя тоталитаризма, пославшего на смерть лучших своих сыновей!

Оказывается, ко всему можно примениться.

Слов нет, человек может и поменять в результате мукильных раздумий, горьких разочарований свои взгляды и верования. В той или иной степени все мы, за определенным исключением, в ту или иную сторону, прошли или проходим этот путь. Но если уж ты претендуешь сегодня на роль Павла, не забывай и наедине с собой, и на виду у других, что некогда ты был Савлом.

Спору нет, воевавшие в Афганистане, — и страдальцы, и

мученики, но, увы, не за правое дело. Как и американские солдаты во Вьетнаме, которых, кстати, никому не приходит в голову величать героями.

Родная страна поставила своих сынов в условия невыносимого выбора, когда поступиться собственной совестью и значило выйти в герои-интернационалисты, а поступить в согласии с ее голосом — значит, изменить присяге, стать предателем Родины. Для тех, конечно, кто понимал, что творит. Но много ли таких было? Тем более грешно сегодня убаюкивать себя рассказами о героизме и незабвенном боевом братстве.

Все еще пленники мифов нашего мучительного прошлого, мы не устаем творить новые. Миф о воинах-афганцах, рыцарях без страха и упрека, может быть, один из самых кощунственных. Как же это можно — проклинать несправедливую войну и превозносить тех, кто ее вел. И не только рядовых, но и генералов.

Предъявляем, и по справедливости, иск дипломатам, которые не выступили против путча. Но в их распоряжении было всего три дня. А в Афганистане позорная война с народом длилась чуть ли не десятилетие. Было время подумать...

Говорят, присяга, клятва... Но разве те, кто 19 и 20 августа 1991 года отказался выполнять приказы своего военного министра и стоявших за ним вице-президента страны и премьер-министра, не давали присяги? Да их, как теперь выясняется, еще и не заставляли стрелять в народ...

А кому и какую присягу давали те наши журналисты, которые, подобно Лещинскому из телемарафона или тому же Ионе Андронову, годами слагали саги о выполнении интернационального долга, а сейчас готовы вешаться на шею самым отчаянным экстремистам среди моджахедов?! Трудная эта наука — азы свободомыслия.

Я уже был в Лондоне, когда в беседе с одним из наших дипломатов представители умеренного крыла афганской оппозиции, ссылаясь на переговоры в Москве, посоветовали ни в коем случае не заигрывать с радикалами. Это — путь в никуда.

В Лондоне же меня застала пора, когда наши с Джеймсом Бейкером договоренности относительно взаимного прекращения военных поставок в Афганистан вступили в силу. Россия словом и делом подтвердила готовность следовать этому еще во времена Союза достигнутому соглашению. Мировая пресса возвестила, что в разрешении затяжного и кровопролитного афганского конфликта наступил качественно новый, быть может, завершающий этап.

Вот и другое долгожданное сообщение. Наджибулла, который, помните, так всполошился, когда до него дошли вести о моих переговорах с моджахеддинами в Нью-Йорке, выразил-таки готовность покинуть свой пост, чтобы не стоять на пути афганских переговоров. «Я готов уйти и передать власть переходному правительству, за которое ратует ООН», — сказал он во всеуслышание. Этот шаг был принят им в связи с намерениями Генерального секретаря ООН провести встречу представителей всех сторон, участвующих в конфликте. Эта идея досталась нынешнему Генсеку по наследству от его предшественника, Переса де Куэльяра, а он поделился ею со мною во время нашей встречи в Нью-Йорке в сентябре 1991 года.

Моджаддеди, которого я тогда же, в Нью-Йорке, проинформировал об этих планах де Куэльяра, сказал, что, с его точки зрения, единственным препятствием является Наджибулла на посту президента.

Профессор Моджаддеди не производил впечатления человека, который жаждет крови врага во что бы то ни стало. Добровольный уход Наджибуллы, в его представлении, послужил бы толчком к началу общеафганских переговоров, достижению национального примирения.

Нервы не выдержали у ближайших соратников Наджибуллы, которые попытались сместить его в тот самый момент, когда специальный представитель Генерального секретаря ООН, воспользовавшись заявлением афганского лидера, форсировал подготовку к всеафганской встрече. Наджибулла ответил на это попыткой к бегству. Наметившийся было переговорный процесс сорвался, не успев начаться. Страна оказалась на грани очередной междоусобицы — теперь уже между различными фракциями моджахедов.

И вот тогда на авансцену снова вышел отодвинутый было его экстремистски настроенными коллегами Сабгитулла Моджаддеди. Видно, какой-то инстинкт самосохранения срабатывает в народном сознании в такие критические моменты развития, если люди отдают предпочтение деятелям умеренного толка перед радикалами и фанатиками. От того, способны ли политики и воители прислушиваться к этому голосу, пробуют ли себе дорогу благоразумие и способность к компромиссу прежде всего зависит будущее Афганистана.

Я, кажется, не сказал еще о том, что вечером 29 августа, когда начальник аппарата Президента Ревенко «привез» меня в МИД, первым, кто зашел ко мне в кабинет после заседания коллегии, был Юлий Квицинский, только что отлученный мною от поста первого заместителя министра. Думаю, это мое решение не было для него неожиданным. Все дни, последовавшие за освобождением Александра Бессмертных от должности министра, я трубил — письменно и устно, открыто и «закрыто», шифровками, — о том, что МИД и на короткий срок нельзя оставлять в руках Квицинского. Последним отчаянным «гласом» на эту тему было мое интервью корреспонденту «Известий» в Праге Леониду Корнилову. Я дал его, как оказалось, всего за сутки до знаменательного звонка Президента Горбачева.

Вылетая в Москву, я вспомнил об этом интервью и попросил Корнилова, по соображениям морального свойства, задержать материал. Но было уже поздно: интервью было завершено и, по обстоятельствам технологического характера, снять его из номера было невозможно. Оно появилось в еженедельнике «Союз» (приложение к «Известиям») под заголовком «Интервью с дипломатом, не поступившимся долгом». Я могу, таким образом, ссылаться на него как на обнародованный документ.

«В МИДе СССР сейчас нет такого руководства, распоряжения которого мы считали бы возможным выполнять, — говорил я, — Посольство Советского Союза в Праге выполняет распоряжения Президента СССР Горбачева и Президента РСФСР Ельцина».

«Чем вызвано такое заявление с моей стороны?» — рассуждал я далее. В отличие от других ведомств, в МИДе СССР руководство хотя и было отстранено, но замены ему не последовало. И де-факто министерством руководит Ю. А. Квицинский. Создается сюрреалистическая ситуация: тот самый человек, который в черные августовские дни слал в наши загранпредставительства телеграммы с требованием руководствоваться документами путчистов, теперь энергично призывает нас действовать уже в свете новых документов. К тому же он сообщает о том, что МИД, под его, стало быть, руководством, ведет сейчас интенсивный анализ деятельности аппарата министерства и посольства в дни путча. Нетрудно догадаться, к чему это может привести, пока «щука остается в реке».

Вспоминая про себя историю с моей шифровкой насчет поведения представителей КГБ и ГРУ во время путча, я выразил сомнение относительно того, насколько широко и объективно докладывал Квицинский об информации, поступающей из посольства. И не фильтруется ли она, подобно тому, как это делали Болдин и компания?

Упомянув о «ястребиной» позиции Квицинского в отношении договоров со странами Восточной Европы, я заявил, что от души приветствуя прозвучавший на заседаниях Верховного Совета призыв назначить министром иностранных дел Шеварднадзе. Предупреждал, что ни на день нельзя оставлять во главе министерства таких, как Квицинский.

Вот этот-то человек, первым попросившийся на прием, стоял у меня в кабинете. Поздравлений от него, как легко догадаться, я не ожидал. Держался он спокойно, с достоинством.

— Я хотел уточнить, как мне понимать ваши слова о том, что я увольняюсь от должности? — спросил он, и я не мог не отметить про себя, даже в ту напряженную минуту, что он использовал старомодный, чуть ли не начала века оборот.

— Да так, видимо, и надо понимать, как я сказал, — развел я руками.

Он уточнил свой вопрос:

— Означает ли это, что я увольняюсь и от службы?

Не я, а кто-то во мне ответил:

— Нет, не от службы, только от должности. Как это оформить, выбирайте сами, — добавил я. — Можете подать в отставку. Если нет, я просто отдаю приказ.

— Тогда я подам в отставку, — без колебаний решил он. И продолжил: — Могу ли я, таким образом, написать в заявлении, что прошу освободить меня от должности первого заместителя и буду готов служить там, где сочтено будет целесообразным меня использовать?

«Бог мой, почему он не был столь вежлив и уважителен со своими коллегами, более того — министрами — в странах Восточной Европы! Там он использовал другой язык!»

Мое молчание объяснило ему, что это самое правильное, что он может и должен сделать в своем положении.

— Тогда еще один вопрос, — после секундного колебания. — Могу ли я сейчас попросить об отпуске? Я не был уже два года...

— Конечно, — с готовностью согласился я, лишь на кончике языка удержав фразу: «Чем скорее это случится, тем лучше».

На том мы и расстались, условившись, что он попросит отдел кадров оформить все, как положено.

Отдел кадров, кадры. Есть ли, хотел бы я знать, в русском языке слова, которые мы совсем недавно произносили с большим трепетом и с наибольшей неприязнью. Подробнее об этом чуть ниже, а пока скажу лишь, что «кадрами», то есть подбором людей на различные должности, начиная с курьеров и уборщиц и кончая руководителями различных департаментов и сотрудниками посольств, в МИДе, как и во всяком другом официальном ведомстве, ведало так называемое Главное управление кадров. Самим же этим гигантским по численности управлением, которое разветвлялось на несколько просто управлений и отделов, ведал заместитель министра. В последние годы — В. Никифоров.

Он-то и принес мне на следующее утро на подпись документы насчет Квицинского. Со странным, не скрою, чувством принимал я самого Никифорова. Мне предстояло объявить ему то же или примерно то же, что услышал от меня на коллегии Квицинский. С одной только разницей — увольнение Квицинского было моей инициативой, и Горбачеву, который на заре перестройки покровительствовал ему, не оставалось ничего, как согласиться с этим. О Никифорове он сказал мне сам — в тот вечерний час, который мы провели наедине. Яковлев, узнав об этом, добавил: «И я бы не мешкал с этим на твоем месте». Впрочем, услышанное отвечало и моим намерениям.

Сам Никифоров, когда дошло до этого дела, тоже отнесся к моим словам как к должностному. Просьба же у него была совсем другого рода — он просил походатайствовать перед «соответствующими» организациями о том, чтобы его больную почками жену оставили «на обслуживании» в той «спецполиклинике», где ее до сих пор наблюдали.

Это не случайно, что столько слов мне пришлось поставить в кавычки. Горько и унижительно звучала для меня вся эта терминология. Да и собеседнику моему, не сомневаюсь, тоже не легко было прибегать к ней, тем более в качестве просителя. Но нет у нас в современном русском языке слов, которыми он яснее мог бы передать, что его сейчас заботило.

Спецполиклиника — это значило, что все, по существу, так идет, как шло, несмотря на многочисленные заседания и доклады парламентской комиссии по привилегиям. Привилегированные, то есть люди сравнительно высокого должностного ранга, лечатся в привилегированных лечебных заведениях. Но и они, и их семьи «снимаются с обслуживания», как только в карьере главы семьи происходят изменения

к худшему. Другими словами, будучи здоровым человеком вы можете бесплатно наслаждаться всеми высшими достижениями современной медицины, но лишитесь этого блага, даже если вы при смерти, в случае неблагоприятного поворота на службе у главы семьи. Теперь в подобной ситуации оказалась жена Никифорова, уже несколько лет прикованная к импортному диализатору. У нас в стране их в десятки, сотни, если не в тысячи раз меньше, чем число нуждающихся в них. Об этом я узнал еще в Швеции, когда побывал на небольшом сравнительно предприятии под Мальмо, «ГАМБРО», которое выпускает лучшие в мире диализаторы и еще во второй половине 80-х годов было готово завалить нас ими на весьма сносных условиях.

Как бы ни относился я к Никифорову лично, я искренне посочувствовал ему и пообещал сделать все возможное. По крайней мере постараться сделать. Не трудно было предположить, что найдутся люди, в том числе и в самом МИДе, которые еще вчера наперегонки бросились бы выполнять любую просьбу, я уж не говорю указание, Никифорова — заместителя министра по кадрам, а теперь, когда он стал господином Никто, будут ставить палки в колеса.

Не исключено, что кому-то человек ранга и положения Никифорова, вне зависимости от результатов его практической деятельности, представляется этаким чудищем парторкании, обитающим в заповедных пущах, обладающим большой властью или по крайней мере влиянием, которые он употребляет исключительно и сознательно во зло. Однако не «чудище обло, огромно, стозевно...» стояло передо мною теперь, а живой человек, пытающийся под гнетом всего прошедшего с ним сохранять хотя бы видимость самообладания и достоинства.

Он не вызывал у меня сочувствия, если только не думать о его тяжело больной жене. Но и гнева, злости особой по отношению к нему я тоже не испытывал. Передо мной был живой, реальный, во плоти, продукт эпохи, словно бы специально избранный провидением служить ее эталоном. И в этом смысле он мало чем отличался от своего предшественника, которого сменил на посту заместителя по кадрам в конце 1985 года. Даже происхождение у них было одинаковое — оба пришли в МИД с комсомольской и потом партийной работы. Только первый служил, добросовестно и ревностно, Громыко, второй, столь же исправно, его преемнику — Эдуарду Шеварднадзе. Да-да, представьте себе, Никифоров ходил в «прорабах перестройки» и перешел из ЦК КПСС в МИД в конце 1985 года с задачей очистить

ведомство от скверны застоя. По одной версии — он был «человеком Шеварднадзе», ибо «курировал» при нем Грузию в качестве инспектора ЦК КПСС, по другой — был «представлен» к новому министру Лигачевым.

Вообще одна из закономерностей появления тех или иных, казалось бы, совершенно неожиданных и несозвучных времени фигур на политическом, партийном или дипломатическом небосклоне, что, впрочем, было тогда почти одно и то же, в том и состояла, что на таких фигурах, в силу их амбивалентности, а проще говоря, готовности на все, сходились, по капризу судьбы, как лучи нескольких прожекторов на одной мишени, интересы самых различных сильных мира сего. Впрочем, почему я говорю об этом в прошедшем времени? Боюсь, что закон этот продолжает действовать и сегодня.

Скучно мне, откровенно говоря, живописать все эти бюрократические подробности, но что делать — не разобравшись в них, не поймешь и не объяснишь, что же происходило да, увы, и сейчас происходит с нами.

Нет, в отличие от череды щедринских градоначальников, никакими из ряда вон выходящими подвигами Валентин Михайлович Никифоров свое восхождение на престол руководителя кадровой службы не ознаменовал. В этом, наверное, и была его эталонность. Но зато он исправно и с воодушевлением переводил на язык мидовских установлений все те многочисленные и масштабные кампании, которыми были озnamенованы первые перестроечные месяцы и годы.

Сначала вместе со всей страной повели энергичную борьбу с «зеленым змием». Бессмысленная и опустошительная сама по себе, — сколько виноградников вырубили под корень, сколько смонтированных уже под ключ импортных пивзаводов переквалифицировали на изготовление безалкогольных напитков, которые они по определению не способны были производить, — в сферах дипломатической службы эта кампания приняла особенно карикатурные очертания. «Дипломат роет себе могилу рюмкой и вилкой», — любил повторять Громыко. Но, увы, бокал в руке — это средство производства дипломата, и лишить его этого орудия труда, значит, по крайней мере наполовину снизить коэффициент его полезной деятельности. Приказ о запрещении подавать на приемах и других протокольных мероприятиях крепкие спиртные напитки, включая водку, пережил трех министров — и у меня не дошли руки отменить его. Анекдоты же о казусах той поры передаются из уст в уста и до сих пор. «Следует ли относить к крепким алкогольным напиткам

сильно разбавленное содовой и льдом виски, без которого здесь не принято проводить приемы ввиду жаркого климата?» — спрашивает, например, советский посол в одной из центральноафриканских стран. И Никифоров, как гласит молва, ему отвечает: «Приезжайте в Москву, разберемся». К месту службы посол уже не вернулся.

Следующей в повестку дня в полном соответствии с общим курсом на демократизацию и социальную справедливость стала кампания по борьбе с кумовством, родственными отношениями и протекционистами, жертвами которой оказались не только родственники, которых, и правда, было хоть отбавляй, но и однофамильцы. Особенно не повезло, естественно, Ивановым, Петровым, Сидоровым. То, чем положено было гордиться в рабочей среде — трудовая династия, в дипломатии было объявлено семейственностью, нарушением социалистической морали. Как известно, мы ни в чем меры не знаем. Опустошительный самум пронесся не только по бесчисленным департаментам и зарубежным миссиям МИДа, но и по его учебным заведениям. Выпускник института международных отношений автоматически звучало как папенькин сынок, взяткодатель, угодник. Всерьез подумывали о возрождении «рабоче-крестьянских призывов» в вузы международного и языкового профиля.

Выход, однако, быстро нашли в другом. Справедливо посчитав возвращение к «призывам из народа» анахронизмом, обратились к такому «золотому запасу», как воспитанники партийной и комсомольской среды. В них, правда, и прежде не было недостатка как в аппарате МИДа, так и в заграничных представительствах. Но раньше они как бы «просачивались» на дипломатическую службу, попадали туда под нажимом на Громыко и его заместителя по кадрам то одного, то другого партийно-хозяйственного бонзы изрядной величины. Теперь же они двинулись стройными рядами через Дипломатическую академию и различные курсы при ней, обязательно с эпитетом высшие. И это было объявлено долгожданной и благотворной мерой, в точности отвечающей требованиям перестройки, которая, как известно, стала стенной на пути всяких шкурников, блатмейстеров и подхалимов.

Курьезная подробность. Когда вскоре после своего назначения заместителем министра, Никифоров прилетел в Стокгольм, с очередной инспекцией, я, разумеется, из самых благих побуждений, организовал для него несколько чисто дипломатических акций — визит в шведский МИД, пресс-конференцию. Средства массовой информации заинтересовались

им, потому что были прекрасно осведомлены о его профиле и «происхождении». Никифоров был обескуражен и раздражен.

— Я же не дипломат,— втолковывал он мне, стараясь сохранять спокойствие,— я партийный работник. А с прессой и шведским МИДом вы уж сами управляйтесь.

Я все-таки, помню, настоял на своем и думаю теперь, что благоприобретенный тогда опыт дипломатической работы пошел на пользу вице-консулу Никифорову в Гамбурге, куда мы из гуманных соображений все же решили его послать, учитывая состояние здоровья жены.

По подсчетам добровольных экспертов, которых в таких случаях тоже не занимать, по крайней мере две волны партийно-комсомольских работников хлынули в ту пору одна за другой в центральный аппарат и посольства. Когда же эти волны стали все сильнее ударять в берега многострадального МИДа и раствор, таким образом, перенасытился, волнорезом был призван послужить брошенный министром, тоже из самых добрых побуждений, лозунг профessionализма.

В мгновение ока все те, кто вчера еще был изгоем, «сынком» или «дочкой», пронырой, стали фаворитами. Ведь профессионализм это прежде всего профессиональное образование. А кто его дает? МГИМО! Круг замкнулся.

Не знаю, отдавал ли себе Никифоров отчет в противоречивости раздуваемых им одна за другой кампаний, истовости и обязательности в их проведении ему было не занимать. Руководимая же им кадровая служба благополучно разрасталась, превращаясь в самодовлеющую силу, эдакого монстра или, если хотите, спрута, перечить которому и при Шеварднадзе было трудно. После того, как его сменил Бессмертных, на это уже вообще никто не решался. Кроме, правда, представителей ГРУ и внешней разведки КГБ. Но у них в этом и не было нужды. Им ни в чем не было отказа. Их люди заполняли кабинеты, лаборатории, аудитории министерства и подведомственных ему учреждений и прежде всего, конечно, за рубежом. Ну, а там, где вакансий было недостаточно, создавались новые и новые должности.

К чему все это приводило, я испытал на своем почти девятилетнем опыте посла в Стокгольме и Праге. Отчаявшись найти поддержку в своей борьбе с этим нашествием в МИДе, я как-то позвонил Крючкову, который тогда в качестве первого зама КГБ ведал всей внешней разведкой. Он внимательно и вежливо, даже с сочувствием, меня выслушал, клятвенно заверил, что «наращивать» свое присут-

ствие дальше КГБ в Швеции не собирается, и пожелал в Стокгольме «мягкой посадки» и успешной работы.

С тех пор жизнь моя, а точнее, та ее часть, которая проходила внутри посольства, превратилась в ад, в невидимые миру слезы.

Началось с того, что «ближние» и «далние» соседи, как принято было их называть, а они составляли вместе больше половины всех сотрудников посольства, объединившись, «прокатили» меня на выборах в партком. Раз, потом другой.

На политико-партийном языке того времени, да даже и в годы перестройки, такая акция почти автоматически квалифицировалась как «недоверие коллектива», за которым почти так же автоматически следовал отзыв посла. Я говорю почти, потому что в моем случае, как видите, этот хорошо отлаженный, безотказно действующий механизм не сработал — ни в первый раз, ни во второй. В первый раз — благодаря А. Н. Яковлеву, который ведал тогда международным отделом ЦК и в свое время, послом в Канаде, сам попадал под то же колесо. Во втором случае — потому что фарс с «общественным мнением» был разыгран в мое отсутствие, в тот самый момент, когда в Москве Верховный Совет утверждал меня по рекомендации Шеварднадзе в должности посла в Чехословакии. Кто-то не успел вовремя дать отбой, выключить механизм, и его колесики и шестеренки, словно в кафкианской мистерии, продолжали крутиться вхолостую, потому что эвентуальная жертва была уже вне досягаемости. А может быть, это было сделано в отчаянной попытке предотвратить мое назначение в Прагу?

Впрочем, в Праге меня ожидали свои сюрпризы. Как и других моих коллег, которые одновременно со мной были посланы в страны Восточной и Центральной Европы в качестве, как писал Шеварднадзе, «наиболее квалифицированных, опытных дипломатов, способных помогать руководству страны вырабатывать и осуществлять политику на этом важном направлении».

Так вот, послов направили одной, так сказать, породы, а над ними поставили, и тут уж я чувствовал руку Никифорова, людей другой масти, начиная с Квицинского, который к тому же вскоре стал первым заместителем ministra. Квалифицируя весь этот многострадальный и потому взрывоопасный регион, освобождавшийся с муками от оков лже-социализма и советского империализма, интригующе — «мягкое подбрасывание», он и в помощники себе в аппарате подбирал людей, обуреваемых одной страстью — почаще и посильнее быть в это подбрасывание. Того же он, естественно, ожидал

и от послов. Своебразные ножницы. Шеварднадзе, которого все больше закручивало в воронку травли и клеветы, разబрался в этом лишь незадолго до своего протеста — ухода с поста министра. Бессмертных же такое противостояние, как мне показалось, вполне устраивало — всегда надежнее ставить сразу на двух лошадей. Первое заседание коллегии, которое прошло под его председательством, было как раз посвящено «работе на восточно-европейском направлении», и в то время, как послы в большинстве своем говорили о перспективах сотрудничества с возрождающимся под влиянием нашей перестройки регионом, «аппаратчики» были озабочены лишь тем, как бы поскорее обуздать распоясавшихся «новых лидеров», да и послов заодно.

Полгода добивался я, чтобы советником-посланником ко мне направили Сашу Лебедева, с которым в дни переворота я выступил против узурпации путчистами законной власти. И это была, пожалуй, единственная кадровая победа, которой я могу похвастаться. Зато те же «соседи», отзыва которых или хотя бы резкого сокращения я начал требовать чуть ли не с первого дня в Праге, сидели, как клещи, хотя еще до «бархатной» революции их официально представили в истинном качестве бывшему коммунистическому руководству страны — это, видите ли, был акт доверия.

Словом, когда московский «Коммерсант», комментируя смещение Никифорова с поста замминистра, писал, что, мол, Панкин убрал его потому, что тот в свою очередь еще до путча готовил его отставку с должности посла в Чехословакии, он был, видимо, отчасти прав, хотя бы в том, что моя отставка действительно готовилась.

Какими бы соображениями ни руководствовались Горбачев и Яковлев, когда они дружно рекомендовали мне «нанять с Никифоровым», это полностью совпадало с моими намерениями. Да и многотысячный коллектив МИДа, надо признать, извлек из своих глубин мощный вздох облегчения, отзвуки которого докатились даже до моего оборудованного наподобие звуконепроницаемого дота министерского Олимпа. Тем более что вместе с Никифоровым из «кадров» ушли все представители КГБ, для которых это управление было исключительно удобным наблюдательным пунктом. «Высоко сижу, далеко гляжу», — как говорится в русской народной сказке.

Попав, таким образом, в «девятку» и с Квицинским, и с Никифоровым, я мог теперь увереннее действовать в отношении других, кем тоже следовало безотлагательно заняться. И самая первая докуча и забота, как я уже говорил, были

послы. Папочка лежала в моем «пожарном» чемоданчике и ждала своей очереди. Газеты, упорно возвращаясь к недавнему прошлому, чуть ли не каждый день приводили новые и новые примеры оппортунистического, а то и прямо недостойного поведения высокопоставленных советских дипломатов. Послушать одних — впору разгонять весь посольский корпус. Послушать других — и то, что уже сделано, смахивает на кадровую чистку большевистской закваски.

А что, собственно, было сделано? Семь послов были еще до меня вызваны в Москву «для консультаций». Успенский, Замятин, Дубинин, Логинов... Консультации пока сводились к тому, что послы обивали пороги замминистров, ненастолько просились на прием ко мне. Но у меня просто не хватало пока духу встречаться с ними. Что я им мог сейчас сказать? Снова и снова перелистывал я папочку, обжигавшую мне руки.

Логинов. Вадим Логинов. Бог ты мой, с каких же пор я его знаю... С начала 60-х годов, с той самой «оттепели». Он — второй секретарь ЦК комсомола, я — заместитель главного редактора «Комсомолки»... Неизбежные в такой композиции столкновения. Он хочет, чтобы газета была послужным списком подвигов комсомола, еще лучше — его вождей. Как и положено секретарю ЦК. Исключением был за все эти годы лишь Лен Карпинский, по существу, диссидент. У меня, естественно, свой взгляд на газету, обожаю «острые» материалы, и чем выше адрес критики, тем почетнее, хотя и рискованнее. Впрочем, Логинов все-таки меньше других влезал в дела газеты, на это есть секретарь по пропаганде. Другое дело, когда как «второй» оставался за хозяина или если заседало Бюро ЦК ВЛКСМ, где непременно надо было присоединить свой голос к общему хору...

Потом Дипакадемия — одновременно и отстойник для партийно-комсомольских кадров, и питомник для выращивания дипломатов изрядного возраста. Из Вадима Логинова вырастили сначала советника-посланника для Вашингтона, потом заведующего отделом социалистических стран МИДа, потом посла в Анголе, потом — во времена перестройки — первого заместителя министра и посла в Югославии (вспомнились, видно, Шеварднадзе годы совместной работы в комсомоле).

Читая: «20 августа 1991 года в период государственного переворота принял решение снять в центральном вестибюле посольства официальный портрет Президента СССР. Это действие, признанное им ошибочным, получило широкую огласку в иностранной и советской прессе и дискредити-

ровало посла и посольство. В коллективе посольства в этой связи отношение к послу — от прохладного до резко негативного. Сложилась ситуация, препятствующая эффективному выполнению послом своих функций в качестве полномочного представителя своей страны». Да уж, о какой тут эффективности можно говорить...

Случай представляется мне настолько очевидным, что именно с Логинова я и решаюсь начать тягостные беседы с послами, вызванными в Москву «для консультаций».

В кабинет входит словно бы незнакомый мне человек. Куда девалась недавняя стать: высоко поднятая голова, широко развернутые плечи. Нос, вздернутый как у Павла Первого, еще больше набух, глаза потухшие. Походка старика. Тем не менее пытается объяснить случившееся некими приводящими факторами, стечением неблагоприятных обстоятельств... Но в конце концов разводит беспомощно руками: ничего не попишешь, два дня портрета Президента в холле не было... «Неужели же так закончу карьеру?» — восклицает он.

— Лучше всего,— говорю,— если бы ты сам высказался относительно возможности своего дальнейшего пребывания на должности посла.

В глубине его глаз зажигается едва заметный огонек. Он лихорадочно размышляет несколько минут и, наконец, просит разрешить ему вернуться в Белград — попрощаться с руководством страны, с дипкорпусом, с коллективом посольства.

— Я скажу им все, как есть,— подытоживает он и я соглашаюсь с ним.

...Леонид Митрофанович Замятин, посол в Англии. Тоже давний знакомый. Ему в досье посвящена подборка заметок из советской и зарубежной, преимущественно британской, прессы. Когда Успенский только-только водворился в Стокгольме, в МИДе можно было услышать, что если Николай Николаевич — это один, левый, что ли, фланг нашего посольского корпуса, то Замятин — его правый фланг. Начинал свою карьеру при Вышинском. Преуспел при Хрущеве, входил в его пресс-группу, которая, следя за Никитой Сергеевичем по городам и весям всего мира, превращала расхристанные, непричесанные излияния лидера в довольно глубокомысленные трактаты и речи, претендовавшие на известную систему взглядов.

Зенита его преуспевание достигло при Леониде Ильиче. В той же роли споуксмена очередного нашего лидера, «Зяма», как звали его за глаза, стал настоящим альтер эго

Брежнева и, казалось, куда лучше его знал, что хорошо и что плохо для блага нашей страны и имиджа его руководителей. Его первым побуждением на посту Генерального директора ТАСС было перевести это сугубо государственное учреждение под крыльшко ЦК. В ту пору никому не нужно было объяснять, что это значило. Добившись своего, он тут же «пробил» решение Политбюро, которое обязывало газеты в непременном порядке исполнять все указания ТАСС и печатать на своих жалких четырех страницах все предписываемые им материалы. Нехитрая вроде бы бюрократическая уловка, а ставила под контроль ЦК, читай Зямы, всю прессу. Моя неосторожная шутка насчет того, что, мол, если всерьез исполнять эти указания, «Комсомолка» — я был тогда ее редактором — превратится просто в вестник ТАСС, сделала нас в одночасье врагами.

В то время, как мои акции в глазах властей предержащих продолжали падать, могущество моего оппонента все прирастало, особенно, когда он вместе с моим бывшим заместителем по «Комсомолке» Виталием Игнатенко произвел на свет фильм «Повесть о коммунисте», то бишь о Брежневе, за который благонамеренные авторы были удостоены Ленинской премии. Пронесся слух, и весьма упорный, что Зяма вот-вот станет секретарем ЦК. Говорят, в беседах в узком кругу он даже поощрял догадки на этот счет. Что же касается наших отношений, то, право, мне порой казалось, что все эти новые регалии и вся эта власть нужны ему для одного — изобретать и поощрять новые и новые гонения на меня. Во всяком случае, когда меня, тогда председателя ВААП, решено было отправить в послы, это он приехал в Агентство сообщить радостную весть коллективу. Уходя же, сказал моему бывшему первому заместителю: заприте кабинет и никого туда не пускайте, а прежде всего — бывшего хозяина. Собеседнику Замятину было невдомек, в чем тут дело. Кабинет был оборудован специальной правительенной связью, так называемыми первой и второй вертушками. Так вот, по самой главной из них я накануне появления Замятина, верный принципу «держаться до последнего», звонил Андропову, который только-только тогда сменил Лубянку на Старую площадь, то есть стал секретарем ЦК КПСС, и пожаловался ему на языке партократов, что «почетное для меня назначение послом» его окружение изображает снятием с работы. Замятин, которого, как я понял, послали «разъяснить ситуацию», понял и исполнил поручение на свой лад. Впрочем, как теперь угадаешь, что именно ему поручалось?

Недаром одна из наших газет послала вслед ему, уходящему с поста посла в Великобритании, заголовок: «Бронзовавры уходят». А когда он уже в качестве бизнесмена приехал в Лондон, английская пресса снова встретила его в штыки.

Но это все в прошлом. А сейчас вот в папочке о после в Великобритании Замятине — он уехал в Лондон уже при Горбачеве — читаю: «19 августа 1991 года в период государственного переворота при встрече с группой журналистов обосновывал конституционность отстранения путчистами от власти Президента СССР. При попытке впоследствии оправдывать в британской прессе эту свою позицию, был обвинен в недобросовестном обращении с фактами. Доверие британского правительства к нему как к послу объективно стоит под сомнением...»

И стопка газетных вырезок, а также документов, пришедших из посольства в подтверждение сказанного. Я и раньше знал, что советник нашего посольства в Лондоне Александр Иванов-Галицын тем же утром 19 августа заявил встретившим его по дороге на службу журналистам, что события в Москве не что иное, как авантюра путчистского толка. Теперь узнаю, что одного из дипломатов Замятин просто выгнал из кабинета, когда тот попытался убедить его осудить путчистов.

Что ж, в одном Зяме не откажешь — боец. Вот и его баталии в английской прессе это подтверждают. Верный, должно быть, с молоком матери усвоенному большевистскому принципу, что доказать можно все, что угодно, если как следует постараться, Замятин 26 августа (двадцать шестого!) написал письмо в «ИнDEPENDENT», в котором устроил выволочку и этой газете, и всей остальной английской, да и третьих стран, прессе, включая американское ЮПИ, за сообщение: «Замятин сказал, что попытка переворота была законной, и поддержал утверждения лидеров переворота в том, что Горбачев был болен и не может управлять страной».

В ответ британское телевидение, как и можно было предвидеть, вновь прокрутило пленку с пресс-конференции, а газеты вновь привели из нее цитаты.

Не говоря уж об убеждениях, подвела Замятина выучка цековского контрпропагандиста, который не привык, чтобы ему возражали. Ну а убеждения? Им-то он как раз и был верен, когда высказывался в поддержку путчистов и упрекал английских журналистов, что они всегда на стороне Ельцина.

К счастью, в беседе со мной у него хватило здравого

смысла все это признать. Не вступая в препирательства, он попросил отправить его на пенсию. Тем не менее его возвращение в Лондон — попрощаться и собрать вещи — привело Форин Оффис в состояние шока. Даглас Хэрд, когда в сентябре он второй раз за десять дней прилетел в Москву, на гуманитарную конференцию, не утерпел и спросил меня, что, собственно, означает возвращение Замятина, и вздохнул с облегчением, когда я объяснил ему, в чем дело.

Юрий Владимирович Дубинин. Можно сказать, всемирно известный дипломат. Когда-то ведал в МИДЕ так называемой Первой Европой — франко-испаноязычными странами. Потом — посол в Испании. И тоже — быстрое с наступлением перестройки движение — полномочный представитель в ООН, посол в Соединенных Штатах, теперь — во Франции. Досье, связанное с этими тремя днями путча, у него куда солиднее, чем, скажем, у Логинова, но случай кажется мне значительно более запутанным. Вот, к примеру, статья корреспондента «Правды» в Париже Большакова «Переворот в наших душах». Посла он здесь именует «гомо советикус». Термин, заимствованный у одного из первых диссидентов-интеллектуалов Александра Зиновьева, в расшифровке Большакова обозначает человека, который всегда послушно аплодирует властям, какими бы они ни были и поддерживает все их решения, что бы они ни означали. Корреспондентам советских изданий, аккредитованным в Париже, Дубинин запретил давать какие-либо интервью, а сам отправился в Елисейский дворец вручать послания хунты. И хотя процедура эта, по уверению самого посла, продолжалась не более минуты и в защиту ГКЧП в эту минуту не было сказано ни одного слова, факт, по мнению журналиста, говорит сам за себя. К тому же посол вообще человек не очень хороший. Из него так и выпирает барство, чванство, даже — «павлинство».

Володю Большакова я тоже знаю давно. Когда-то работал у меня в «Комсомолке». Большим свободомыслием, правду сказать, в ту пору не отличался. Да и щепетильностью в проверке фактов и эпитетов тоже. Так что нельзя исключать, что в его филиппиках по поводу Дубинина есть своя доля преувеличения. Может быть, даже срывает теперь какую-нибудь свою давнюю обиду — у послов и журналистов редко бывают хорошие отношения.

Но вот интервью в «Комсомольской правде» с Андреем Козыревым, моим коллегой, министром иностранных дел России: «Я опасался, что в Париже меня арестуют». Как известно, на второй день путча руководство ре-

шило направить его за рубеж — организовать кампанию в поддержку тех, кто выступил против путча, и установить связь с представителями западных правительств. Первой остановкой на его пути был Париж.

— А вы общались с нашими послами во время поездки? — спрашивает корреспондент.

— Нет, во-первых, я из бесед с французами знал, что наш посол во Франции Дубинин активно разъясняет политику ГКЧП. Во-вторых, меня там даже никто не встретил. И самое главное, я опасался, что на территории посольства меня арестуют... Если бы я пошел в посольство, то мог попасть в ловушку.

«...Медвежью услугу окзал нашей стране и посол Дубинин,— пишет третья газета.— Опытный дипломат, на этот раз он поставил не на ту лошадку. В первые часы путча именно он внушил Елисейскому дворцу, что Горбачев действительно болен и подбил Франсуа Миттерана занять выжидательную позицию».

И Дубинина не узнать, когда он появляется у меня в кабинете. Красавец мужчина с густой и кудрявой седой шевелюрой превратился в старика. Входит шаркающей походкой. Но в отличие от Логинова он не признает за собой какой-либо вины. Передача документов действительно длилась не больше нескольких минут, чистая формальность, которую он исполнил почти автоматически. О приезде Козырева он просто не знал, зато на другой день нашел его по телефону аж в Будапеште...

— В Париже, по существу, у себя дома, он меня не нашел, а когда стало окончательно ясно, что к чему — он тут как тут,— обронил Козырев, когда я говорил с ним о Дубинине.

Каждое утро, приходя на работу, я обнаруживал на своем столе растущую день ото дня стопку вырезок из газет и журналов, радио- и телесообщения — все, что в той или иной мере было посвящено МИДу, его внутренней жизни и внешнеполитической деятельности. И с каждым днем эта стопка становилась все толще. Постепенно она превратилась в подобие бюллетеня, у которого было даже свое название — «наши ножницы». Я не мог не задаваться вопросом — откуда вдруг такой почти болезненный, истерический интерес к довольно далекой в общем-то от повседневных забот читателей и зрителей сфере деятельности.

Сенсации становились все резче, эпитеты все хлеще, в заголовках газеты старались перещеголять друг друга. Тут тебе и «дипломатический заповедник», и «кухня», и «внешнеполи-

тический отряд партии большевиков», и «царство послушания», и «заговор молчания». Ну и так далее. Хорошо еще, что все это относилось как бы к прошлому, пусть и самому недалекому. Говорилось как бы в назидание новому министру, от которого, как нетрудно было догадаться, ждали крови. И судя по отдельным самым залихватским публикациям, именно готовностью и способностью ее пустить и будет определяться его верность демократическим идеалам, станет ясно — было его выступление против путча единичным актом или это продуманная позиция человека, готового идти до конца.

И честно говоря, руки порой чесались заняться именно тем, что мне усиленно предлагали. Тем более что вокруг шла такая «рубка голов» сверху донизу, а уж у нас-то для этого оснований, казалось бы, больше, чем достаточно.

Захотелось путчистам провести пресс-конференцию, и пожалуйста — к их услугам пресс-центр МИДа, и заместитель его руководителя преспокойно сидит за одним столом с гла-варями хунты, словно все эти деятели отчитываются об очередном визите за рубеж.

Понадобилось китайскому послу — впоследствии его за это и отзовут — передать Янаеву поздравления своего руководства, в МИДе есть кому его препроводить к высокому лицу, кому перевести и записать беседу.

В том же Пекине, судя по сообщению одной из газет, наш посол «с нескрываемой радостью втолковывал чехословакскому послу (по старой памяти, что ли?), что наконец-то будет наведен долгожданный порядок в стране...»

В Осло кто-то из заместителей министра «с чувством, с толком, с расстановкой» разъяснял на советско-норвежских переговорах логику действий ГКЧП...

А в одной из африканских стран посол даже устроил парад по этому случаю, «выстроил колонны своих подчиненных» и вручил им портреты «руководителей партии и правительства», то бишь путчистов, в том числе почему-то и свой собственный...

Вымысел путается с явью, и все вопиет к твоему разуму, к твоим чувствам, требует реакции, действий — и безотлагательных. Промедлишь, и пресловутая «высотка на Смоленской» не только своим внешним видом — любимое детище сталинской архитектуры,— но и тем, вернее, теми, кто внутри, будет олицетворять в глазах окружающих проклятое тоталитаристское прошлое.

Что же все-таки удерживало меня от «крутых и бескомпромиссных мер» в отношении «рассадника чекистско-парто-

кратических нравов во внешнеполитической деятельности? Может быть, для меня оставалось секретом, что не меньше половины сотрудников наших заграничных учреждений используют посольства и консульства лишь как «крышу» для своей, не укладывающейся в рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях деятельности? Или я мало сам натерпелся от секретарей парткомов посольств, которых за несколько месяцев до путча вдруг поверстали в дипломатические советники...

Все так, но как раз призыв к «бескомпромиссности» и останавливал. И именно то во мне, что, казалось бы, звало рвануться без оглядки вперед, побуждало провести десять раз языком по небу, прежде чем на что-либо решиться. Я уже заметил, что в периоды особого общественного напряжения решительнее всех часто действуют те, кто на самом деле не уверен в себе, своих позициях, в отношении к себе окружающих. Последующие события, слова и действия некоторых президентов независимых государств, нарождавшихся в границах обреченного уже стать бывшим Советского Союза, подкрепили эти мои наблюдения. Подобно дельцам теневой экономики, вынужденным отмывать свои деньги, они отмывали свое уязвимое партийное прошлое. У меня же, я считал, не было необходимости с озабоченностью оглядываться по сторонам. Тем более что чуть ли не каждая филиппика по поводу недостойных заявлений или дел того или иного мидовца сопровождалась в прессе комплиментами в адрес нашего с Лебедевым поступка. «Единственное исключение из правил», «дипломаты, не поступившиеся долгом», «порядочность и честность дипломата сыграли свою роль», «мужественно и с достоинством»...

Да что пресса! Вместе с «нашими ножницами» на мой стол ежедневно ложились десятки писем. Кто только и откуда не писал мне в те дни. Одноклассники и сокурсники, герои и даже «жертвы» моих литературно-критических изысканий и очерков ранней журналистской поры, партнеры по совместной авторско-правовой деятельности, а она ведь охватывала десятки государств, начиная с Соединенных Штатов и кончая Израилем, откуда пришло, пожалуй, самое трогательное письмо.

Не спешите же улыбаться, я и сам не без неловкости и иронии вычитывал в ежедневной почте — газетной и эпистолярной — новые и новые свидетельства своего благородства, бескорыстия, великодушия и мужества... Но я покривил бы душой, если бы сказал, что только эти эмоции я тогда и испытывал. Видно, живет в душе человека, если хоть что-то

доброде он пытался совершить в своей жизни, извечная потребность услышать однажды об этом.

А это реяло в воздухе тех дней. Той особой поры в жизни общества, когда оно, кажется, сознательно отказывается замечать многоцветье красок и останавливает свой взыскивающий взор лишь на двух — черной и белой. Был или не был на баррикадах? Вот вопрос, который одних побуждал широко расправлять плечи и поднимать голову, других — опускать ее в унынии и тревоге.

Я не мог запретить себе думать, что ведь по самым великодушным подсчетам на баррикадах, в пикетах и на демонстрациях у Белого дома в те дни было не более двухсот тысяч человек. Едва ли это больше, чем было активных сторонников у Ленина и большевиков, когда они штурмом брали Зимний дворец в Петрограде и Кремль в Москве. Что не помешало им впоследствии пустить под нож чуть ли не всех остальных.

Созданный Лениным большевизм, собственно говоря, по недоразумению обрел этот титул. Большевики, как известно, всего один раз и были в большинстве — на II съезде российской социал-демократической партии в Лондоне. Всю жизнь воюя с меньшевиками, Ленин, сдается мне, обожал быть в меньшинстве. На заре своей политической карьеры с упоением говорил он о «тесной кучке революционеров», которые «крепко взявшись за руки» идут по краю обрыва, а на закате жизни — о «тончайшем слое старых большевиков», на которых, мол, только и держится первое в мире государство рабочих и крестьян. Он, видимо, находил какую-то особую романтику в том, чтобы ничтожное меньшинство мертвой хваткой держало всех остальных. Так что же нам теперь — начинать все сначала?

Побуждало размышлять и колебаться и то видимое разночтение между ходячей репутацией дипломатов, как таковых, которая изо дня в день обрастала все новыми эпитетами, один обиднее другого, и реальными результатами деятельности внешнеполитического ведомства страны за годы перестройки, направленностью самой нашей внешней политики. Впрочем, и на этот счет, как известно, у нас в стране существовали две полярно противоположные точки зрения. И выкристаллизовались они еще задолго до путча. Их столкновение, борьба не на жизнь, а на смерть, собственно, и привела к отставке Шеварднадзе за девять месяцев до путча.

Согласно одной точке зрения, той, которую я и разделял, да что разделял, защищал словом и делом, политика нового

мышления именно во внешнеполитической деятельности дала наиболее ощущимые и благотворные результаты. Действительно, к разительным результатам привел начавшийся по нашей инициативе диалог двух великих держав по вопросам ядерного и обычного разоружения. Военная доктрина противостояния сменилась концепцией оборонной достаточности. Покончено с «холодной войной». Из противников Запад и Восток превратились в партнеров. Пала берлинская стена, разрушено и выброшено за ненадобностью ярмо тоталитаризма в странах бывшего социалистического содружества, наши войска ушли или уходят из Венгрии, Чехословакии, Польши, Германии, Монголии. Мы перестали предостерегающе поднимать палец при всяком упоминании нашими партнерами о «правах человека». Прорывы на гуманитарном направлении мир справедливо относил к числу самых разительных — свободнее стало говорить и переписываться друг с другом и с иностранцами; люди не боятся больше ездить в гости и приглашать к себе, создавать совместные предприятия, работать на иностранных фирмах. Рассеялось, как удущившие пары, все или почти все, что считалось табу в годы застоя. «Советский простой человек» стал ощущать себя и за рубежом, и дома просто человеком и понимать, что это, оказывается, замечательное состояние.

Отдавая дань устоявшемуся у нас обычаю связывать те или иные успехи или, наоборот, провалы с одной личностью, я, помню, не раз подумывал — вот нашел же себе Горбачев человека, который так эффективно реализует его политику нового мышления на международной стезе, неужели так трудно найти такого же человека для внутренней политики?

Существовала, однако, да и ныне существует другая, полярно противоположная точка зрения на те же самые процессы и результаты. Согласно этой концепции, — которую разделяют и развивают самые правые, согласно нашей шкале политических амбиций, хотя на деле-то они как раз самые левые, ибо больше всего на свете дороги им атрибутисты сталинской империи, — все большие и малые достижения нашей внешней политики в годы перестройки на самом деле являются ее провалами, унижением державы. И ядерное свое первородство не уберегли, и с германским реваншизмом сыграли в поддавки, и Восточную Европу потеряли вместе с процветавшим там братским социализмом. И войска наши оттуда выводим второпях, в то время как американцы почему-то из Европы уходить не торопятся... Капитал иностранный в страну пустили, Россию распродаем... Словом всюду провал, измена, говорят с проклятым американским, да и с

германским империализмом. «Мишка — Каин, Буш — хозяин», — как гласил красноречивый лозунг на одной из демонстраций, вдохновляемых знаменитой Ниной Андреевой.

Парадокс: правые обрушаются на внешнюю политику, а их оппоненты-демократы требуют крови тех, что ее на практике проводил, — тех самых, кто и сейчас сидит в гигантском муравейнике на Смоленской, а согласно молве — скорее, в терmitнике.

Вот и не получится ли, размышлял я про себя, что устроив чистку в МИДе в угоду бы демократическим веяниям, сыграешь на руку правым силам, которых все чаще стали именовать у нас красно-коричневыми, — та же злополучная привычка причесывать всех под одну гребенку.

Тут мне припомнился главный принцип системы Станиславского: если хочешь убедительно сыграть злодея, постарайся найти в нем хоть крупицу человеческого. Играешь героя, рыцаря без страха и упрека, постарайся и у него найти пятна, ну в крайнем случае хоть пятнышко. Так я пришел к выводу, что справедливости и объективности ради плодотворнее всего судить о деятельности моих коллег-послов, да и всего коллектива МИДа с позиции... адвоката, который хоть и отдает себе отчет о всем содеянном его подзащитным, старается истолковать в его пользу все, что вызывает сомнения.

Как это ни покажется странным, но первым и, пожалуй, самым существенным смягчающим обстоятельством послужил в моих глазах... сам характер путча и многое из того, что ему предшествовало.

Когда корреспонденту одной из наших газет дали возможность побеседовать в «Матросской тишине» с бывшим премьер-министром Павловым, тот не без черного юмора заметил, комментируя самое главное из предъявленных ему обвинений: «О каком захвате власти для меня могла идти речь, если я и так уже был главой правительства». Он мог бы добавить, что незадолго до путча Верховный Совет СССР уже расширил его полномочия на этом посту. В таком же, собственно, положении находились и другие главные заговорщики. Вряд ли Язов и Крючков собирались претендовать на что-то большее, чем имели. К тому же реальная власть и сила, которую они сосредоточили в своих руках, была по-страшнее всякой представительской. Один только Янаев приставку вице к своему титулу заменил на выражение «исполняющий обязанности», с самого начала заполнив единственную вакансию, которая могла бы возникнуть в случае успеха путча.

В первой пачке документов, которые выпустил ГКЧП в свет утром 19 августа, только одно положение — о болезни Президента и его неспособности выполнять свои обязанности — и могло вызвать серьезные подозрения. Главным образом в силу того, что прецедент уже имелся. А у заговорщиков хватило же ума чуть ли не дословно повторить формулировку, использованную Брежневым и иже с ним для смешения Хрущева. Она давно уже, выражаясь языком Пушкина, «вощла в пословицы».

Все остальное, честно говоря, мало чем отличалось от той разноречивой тарабарщины, которой мы все наслушались на протяжении 1991 года, начавшегося репетицией будущего путча на литовском театре политических действий.

Путчисты в своих документах (почитаем их еще раз) не уставали клясться в своей любви к Родине, заявляли о полном уважении к Конституции, на все лады превозносили перестройку, особенно ее первый этап.

Что касается тревоги за судьбы нашей Родины, вызванной массой политических, экономических и иных кризисных явлений, к которой апелировали путчисты, то кто только, вспомним, ни говорил тогда об этом. Начиная с самого Горбачева, да и Ельцина. Между ними как раз тогда начал в очередной раз строиться, пусть и на хрупкой основе, мост взаимопонимания. Ведь собирались уже подписывать 20 августа Союзный договор, и вопросы соотношения Союзного и республиканского бюджетов, что долгое время было камнем преткновения, решили к обоюдному, казалось, согласию. И Ельцин, помню, со всех трибун, в том числе и во время визита в Прагу, говорил, что Горбачев повернулся в сторону демократии и у него нет с ним расхождений.

Ну и наконец, меры, которые предлагал ГКЧП, особенно на первых порах. Чрезвычайное положение? Но о нем говорилось как-то неуверенно. В текстах, которые отступал ТАСС в редакции и офисы советских и зарубежных средств информации, вначале было сказано о всей стране. Тут же пришла поправка: чрезвычайное положение вводится лишь в отдельных местностях СССР и на ограниченный — шесть месяцев — срок.

Во имя чего же, по утверждению ГКЧП, вводится чрезвычайное положение? Да во имя наведения порядка, о котором кто только не тосковал в то взбудораженное время; во имя «защиты истинно демократических процессов и последовательной политики реформ, ведущей к обновлению нашей Родины». Даже частная собственность и ее право на существование не были забыты. Ну а что касается, например, тре-

бования распустить военизированные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР, то не сам ли Горбачев незадолго до путча издал президентский Указ на этот счет?

Только не надо воспринимать сказанное как комплимент, пусть и негативного свойства, в адрес членов ГКЧП — вот, мол, какие хитроумные, как ловко замаскировались под защитников народа. Нет, вовсе они не маскировались. Просто добросовестно и бездарно воспроизвели все то, что уже говорилось до них. И все их коварство, возможно, и неумышленное, как раз и заключалось в фантасмагорическом сходстве всего, о чем они написали, с тем, что прозвучало уже, и не раз, на легальной основе и не только в Верховном Совете СССР.

Сейчас уже многое забывается, но если взглянуть на публикации годовой и более давности, то увидим, что чуть ли не первым об идее просвещенной автократии, о необходимости авторитарного режима на переходный период заговорил не кто иной как один из главных идеологов демократизма Игорь Клямкин, автор нашумевших статей в «Новом мире», где он камня на камне не оставил от философии коммунистического тоталитарного режима. Кстати, он тоже начинал когда-то в «Комсомолке».

Возможность выхода из кризиса путем создания института военно-полицейской власти обсуждалась потом и в Верховном Совете, и на страницах изданий всех политических ориентаций. Политики «новой правой», как стали называть сторонников этой амбивалентной концепции, рекрутировались как из ортодоксальной группы «Союз», так и из Межрегиональной демократической группы, первой поддержавшей никогда Ельцина. Дань ей отдали чуть ли не все лидеры этого года — и Назарбаев, и тот же Кравчук, и Собчак, не говоря уж о Гаврииле Попове и Станкевиче...

Общественность каждый раз настораживалась при звуках этих слов, но в конце концов стала привыкать к ним, тем более что и Президент не раз заговаривал в ту пору о чрезвычайных полномочиях. Совсем как в старой русской сказочке — мальчик столько раз кричал «волки!» понапрасну, что, когда они наконец пришли, ему не поверили...

Нет, я не говорю, естественно, о тех, кто был ближе к событиям, тем более — о российских структурах власти, которые прекрасно понимали, иначе и быть не могло, что острое выступления ГКЧП нацелено прямо им в грудь. Кому-кому, а ельцинской команде с первых секунд было ясно, что крокодиловы слезы ГКЧП относительно «обеспече-

ния исполнения Конституции и законов СССР на всей территории Союза» проливались именно в связи с Декларацией о суверенитете России.

Послу же, особенно в какой-нибудь далекой стране, разобраться с ходу во всех этих хитросплетениях, будем великодушны хотя бы из методологических соображений, было трудновато.

События путча, особенно первые сутки развивались так, что еще больше запутывали ситуацию.

Утром 19 августа нельзя было не припомнить январские события в Литве и дебаты в Верховном Совете СССР несколькими месяцами позднее. Фактически и то и другое было своеобразной репетицией путча, но, впрочем, в случае успеха, могло перейти в реальное, отнюдь не театральное действие.

Никогда не забуду толпы разъяренных пражан у ворот нашего посольства в январе 1991 года. Я никогда не видел такого за семь лет в Стокгольме, где всякого рода манифестации перед зарубежными миссиями — часть повседневной жизни.

Пражане, всего лишь год с небольшим назад совершившие свою «бархатную» революцию, только-только глотнувшие полной грудью воздуха свободы, ощущали себя лично причастными к тому, что происходило в Вильнюсе. И я был полностью солидарен с ними. Но что я мог им сказать? Ведь все случилось не при подозрительно заболевшем, а при живом и здравствующем Президенте, который, правда, первые день или два воздерживался от комментариев. Я нашел выход, решив повернуть в свою пользу его молчание, которое объективно-то ставило зарубежные миссии Советского Союза в тяжелейшее положение. Я стал с уверенностью говорить, что Президент не был информирован о намерениях военных властей и ОМОН, что все случившееся — самоуправство, а приказ, по всей очевидности, был отдан начальником гарнизона, который наверняка будет привлечен к ответственности. Мое интервью на эту тему появилось в газетах, прозвучало по радио, и военный атташе, тот, что на всех перекрестках называл себя другом генерала Макашова, избегал со мною здороваться.

У читателей и слушателей тем временем мое интервью вызвало вздох облегчения. Тем более счастливы они были позднее, когда уже из уст самого Горбачева услышали, что инициатор перестройки непричастен к выстрелам в народ и официальная политика Советского Союза, курс на демократию и свободное самоопределение наций, таким образом, не

изменились. В отношении же виновников происшедшего будут приняты все необходимые меры.

Рисковал ли я, выступив со своей гипотезой? Карьерой — да, повернись события по-другому. Но если бы сказанное мной и не подтвердилось, это все равно была бы ложь во спасение — спасение достоинства нашего государства. Как я сказал в интервью одному пражскому журналу по приезде в ЧСФР летом 1990 года: будет у нашего правительства другая политика, ей будет нужен другой посол.

Второй эпизод, который тоже не мог не припомниться в тот роковой день начала путча, — это недавнее заседание Верховного Совета СССР и появление там Пуго, Крючкова, Язова, а затем и Павлова с их речами на тему «Отечество в опасности». Прямая атака на Горбачева. Тогда уже казалось, что что-то должно разразиться, что этой один плюс четыре конфигурации невозможно уже сосуществовать далее. И что же? Горбачев явился на заседание Верховного Совета, дал «отлуп» всей строптивой четверке, включая недавно назначенного премьера, — и все снова вроде улеглось. Во всяком случае на взгляд непосвященных.

К этому начали привыкать. Колебания маятника, который резко отклонившись в одну сторону, начинал под действием собственной тяжести, скользить в другую, неотвратимо входили в нашу повседневную жизнь. И ни одно, даже самое резкое его движение, не казалось уже фатальным, необратимым.

Вот и выступление путчистов могло поначалу показаться тем же движением маятника, только с несравненно большей амплитудой... Ведь противовесы, казалось бы, были включены с самого начала. Указ Лукьянова о созыве Чрезвычайной сессии Верховного Совета был ведь опубликован в тех же номерах газет, что и документы путчистов. А тут еще его откровения на второй день путча — лучший друг Президента и не член ГКЧП, что, мол, Михаил Сергеевич и сам подумывал о введении чрезвычайного положения сразу после подписания Союзного договора — нужна будет сильная рука и твердая власть, чтобы во благо народов Советского Союза проводить в жизнь положения Договора.

Комитет конституционного надзора опубликовал сообщение, что принял на рассмотрение вопрос о соответствии конституции декретов ГКЧП. Янаев на пресс-конференции вечером 19 августа заявил о своей готовности подчиниться решениям Верховного Совета, какими бы они ни были.

Сама эта пресс-конференция — дрожащие руки Янаева, нелепые фигуры в президиуме, издевательски смелые воп-

росы журналистов — вспомните прелестную девушку, которая мелодичным голосом обвинила гекачепистов в государственном перевороте... Это был фарс, а не диктатура. Мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. Маятник снова встанет на место. Пиночет начинал не с пресс-конференции, а с бомбардировки президентского дворца.

Излияния Янаева относительно его «большого друга» Горбачева, который просто приустал — это так понятно в его положении,— вот-вот выздоровеет и снова возьмет бразды правления в свои руки. Это тоже рождало надежды, что восьмерка уже поняла обреченность, самоубийственный характер своей затеи и только смотрит, как бы повыгоднее сдаться на милость победителя, то бишь Президента и Верховного Совета. Я и сейчас не исключаю, что в голове Янаева такие мысли могли бродить...

Ельцин поднялся на танк, посланный подкрепить военной силой декреты путчистов, потрепал по плечу танкиста, пожал ему руку и зачитал свое обращение. Верховному Совету России он рассказал о своем телефонном разговоре с Янаевым, о переговорах с Лукьяновым... Средства массовой информации сообщали, что лидеры республик уповают на созыв Верховного Совета, который, как уже не раз бывало, все расставит на свои места. Мало будет Верховного Совета, созовут съезд народных депутатов. Слава Богу, что парламент наш, при всех его изъянах, успел-таки напринимать законов, в соответствии с которыми он в любом случае остается высшей властью в стране. Так что о путче, строго говоря, можно было бы говорить лишь в том случае, если бы дело дошло до разгона парламента, как это было, например, с Учредительным собранием зимою 1917 года...

Так или примерно так, подводил я к завершению свой анализ, мог рассуждать среднестатистический посол. Не говоря уж о том, что на это его нацеливали и прямые установки, поступавшие исправно из МИДа СССР за подписью министра и его первого заместителя: руководствоваться указаниями, заверять, что Советский Союз остается верным взятым на себя международным обязательствам и т. д. Что ж, руководителю, как и доносчику, первый кнут.

А что оставалось делать среднестатистическому послу? Но среднестатистические величины бывают, как известно, только в математике. В жизни действуют реальные фигуры, каждый, даже в условиях нашей, советской, школы дипломатии, с какою-то своей особинкой.

На крайних флангах те, кто открыто выступил «за» или «против». И в аппарате, и в зарубежных миссиях. Их не

так уж много, особенно тех, кто сказал решительное «нет» путчистам, буквально или символически занял свое место на баррикадах. Они уже так или иначе замечены. Заголовок редакционной колонки в «Нью-Йорк Таймс» от 29 августа 1991 года гласил: «Заявление против путча вознаграждено». А что значило наградить в те дни? Только поставить человека на такое место, где его позиция в защиту демократии могла бы приносить еще больше пользы в столь напряженное и по-прежнему опасное для завоеваний свободы время. Вот я и стал министром, Лебедев — вместо меня послом в Чехо-Словакии. Александр Шохин, начальник управления в МИДе — министром, а позднее заместителем премьера российского правительства... Галицина я по приезде в Лондон сделал руководителем группы.

Другой фланг пока ждал своей очереди, ходил по коридорам. Наказывать все-таки труднее, чем награждать. Нет сомнения, среди послов были такие, кому слова и действия путчистов просто импонировали. И поддерживали они их не просто из перестраховки, а в силу убеждений. Замятин — самый яркий представитель этой, к счастью, тоже немногочисленной категории. И хорошо, что он это признал. В конце концов это только делает ему честь.

Кстати, и Квицинский из этой же когорты. Хотя по возрасту уже другое поколение. В пору последних консультаций в Праге по вопросам Варшавского Договора генштабисты, близкие к Язову и Моисееву, прямо показывали на него пальцем — наша главная надежда и опора. Он, кстати, тоже не стал ни объясняться, ни оправдываться. Написал заявление — и в отпуск.

Бессмертных — другое дело. Если бы мне предложили персонифицировать ту сумму качеств, которые я имею в виду, когда говорю о среднестатистическом дипломате, я бы по здравом размышлении показал именно на него. Быть может, именно в силу этого он и был подсознательно избран Горбачевым на место ушедшего в отставку Шеварднадзе. Во время своего короткого визита в Прагу Александр Александрович пооткровеничал со мной: «Эдуард Амвросиевич не меня называл». Правда, тут же, и это только подтверждает мою характеристику, добавил: «Он видел, как мне нравится работа посла в Вашингтоне и не хотел срывать меня так быстро».

Профессионально подготовлен, дисциплинирован, осторожен, без эмоций, во всяком случае, когда дело не касается его лично. Став министром, он формально вроде бы и продолжал держать курс на «новое мышление», но на самом

деле медленно, но верно отклонялся вправо. Что и дало себя знать в дни путча, когда министр в конце концов решил просто заболеть, что называется, на виду у всей изумленной мировой общественности. «Шеф чихнул и заразил весь МИД», — как писала одна из московских газет. Ну а все дальнейшее его поведение после отставки, длиннющие интервью каждому, кто согласен слушать, с объяснениями и обидами на Горбачева, на коллег по МИДу... Это уже никого не удивляло.

Ну и, наконец, основная масса — «молчаливое большинство», как писали в газетах...

Молчать, когда не спрашивают, и ревностно повиноваться — вот главная доблесть советского аппаратчика, кем бы он ни был — инструктором ЦК КПСС, завотделом обкома партии, профсоюзным деятелем, «кадром» Советам народных депутатов или дипломатом. В случае с дипломатом положение усугубляется еще суммой цеховых, корпоративных традиций, неписаных юрисдикций внешних сношений. Ведь даже для многих западных послов в Праге, которые наперебой искренне поздравляли меня с новым назначением, наша с Лебедевым акция против путчистов была чем-то таким, что оказалось выше их понимания. Неким святотатством, пусть и продиктованным побуждениями высшего толка. Они словно бы впервые задумались над тем, что прозумпция согласия между послом и его центром может быть нарушена именно послом. Приходит новая власть и меняет послов — это нормально. Но чтобы посол восстал против власти... К этому надо привыкнуть.

В чем была задача советского посла, по крайней мере до начала перестройки? Ежедневно и ежечасно разъяснять и оправдывать то, что происходит в стране, точнее, то, что творят ее лидеры внутри и за пределами одной шестой земного шара. Ракеты средней дальности, так называемые СС-20, — угроза миру, нарушение каких-то там конвенций и балансов? Ни в коем случае. Это лишь наша вынужденная реакция на происки Запада. Стволы мира, гарантия безопасности всей Европы, ядерный щит страны-созиателя.

Политические заключенные в Пермском центре, за взгляды — в «психушку», — какая бессовестная клевета на наш самый гуманный в мире строй. У нас по определению не может быть политических заключенных, потому что в Уголовном кодексе даже нет статьи о политических преступлениях.

Шпионы под крышей посольства? Да как вы могли подумать такое. Ни один советский дипломат ни в Норвегии, ни

во Франции, ни в Канаде или Швеции — не занимается деятельностью, противоречащей положениям Венской конвенции о внешних сношениях.

Запрещен выезд евреев в Израиль? Ничего подобного. Каждый советский человек может выехать куда ему захочется, в установленном порядке, разумеется. А что до евреев, то они еще в привилегированном положении находятся... Хотя какие могут быть привилегии там, где все равны...

Подводные лодки? Ни одна подводная лодка...

Идут и идут из центра на «места», то бишь из Москвы в столицы мира, указания: разъясните, опровергните, заявите, вручите ноту... И посы годы, десятилетия заявляют, опровергают, наставляют, глядят в глаза министрам, премьерам, президентам ясным, взглядом советского дипломата...

— У вас хоть тетради с собой нет, — пошутил как-то при встрече со мной Улоф Пальме. — А ваш предшественник запомнился нам большой тетрадью в черном kleenчатом переплете, из которой он нам начитывал полученные указания и информацию. Скажешь ему ради экономии времени, что я, мол, уже в курсе, получил информацию из своего посольства в Москве. А он отвечает: тогда я должен разъяснить... — все равно открывает свою черную тетрадь.

Конечно же, в годы перестройки количество этой дежурной лжи поубавилось. Но на нет она не сошла и в эту пору. Указания поступали отовсюду — из ЦК КПСС, из КГБ, из министерства обороны, которое, кстати, и при Язове, и до него врало в среднем даже больше, чем другие ведомства.

Преувеличением было бы сказать, что только послы СССР и других социалистических стран несли эту тяжкую повинность. Но то, что тяжелее этой ноши никому не выпадало, несомненно.

Кто-то, возможно, как обладатель той kleenчатой тетради, верил тому, что говорил и зачитывал; кто-то делал это автоматически, даже не задумываясь над тем, что именно он «доводит до сведения». Кто-то относился к этой ежедневной лжи как к неизбежному злу, которое не затрагивало ни ума, ни сердца... Неизбежные издержки профессии.

Не с этим ли комплексом в душе, задавал я себе теперь вопрос, и пошли мои коллеги по канцеляриям различных официальных лиц в приснопамятные дни путча? Похвалить их тут, конечно, не за что. Но и поддаться соблазну заменить одним махом весь посольский корпус, тоже нельзя было себе позволить. Вспомнилось, как в разгар перестройки в Стокгольм на премьеру своего нашумевшего на весь мир фильма «Покаяние» приехал Тенгиз Абуладзе.

— Кто, по-вашему, главный враг перестройки? — спросили его.

— Номенклатура, — не задумываясь, как выношенное, выдохнул он.

— Сколько же ее в СССР? — был следующий вопрос.

— Восемнадцать миллионов, — ответил мастер. — И ведь каждый не один, — добавил он. — Семья, родственники. Друзья. По крайней мере десять человек вокруг каждого на орбите врачаются.

Я помножил тут же восемнадцать миллионов на десять. Опять получалось, что врагов у прорабов перестройки было не меньше, чем у железной ленинской гвардии в Октябре 1917 года... Боже мой, сколько же раз можно спотыкаться об один и тот же порог.

Нет, я не расположен был устраивать «рубку голов» в МИДе, как от меня этого возможно, кто-то и ожидал. При всей своей самовесомости, события, развивавшиеся в те дни вокруг МИДа, были еще и своеобразным зеркалом того, что происходило в стране. Отражением всех тех тенденций, и благотворных и пагубных, которым дали толчок дни разгрома путча. Извержение вулкана вместе с огненной лавой извлекает из глубин земли смрадные газы и пепел.

В газете «Известия» один из самых видных ее обозревателей Станислав Кондрашов привел слова одного из видных деятелей российского руководства, который предрекал, что здание на Смоленской вот-вот постигнет судьба Старой площади. Это требует объяснения. На Старой площади, в центре Москвы, испокон веков помещались секретариат, многочисленные отделы учреждения ЦК КПСС. После разгрома путча и распуска коммунистической партии, запрета на ее деятельность, туда переехали министерства РСФСР.

Кондрашов писал о Старой площади, а у меня в памяти стояли еще картины бесчинств по соседству с ней — перед зданием КГБ. 22 августа здесь сокрушили памятник основателю ЧК Дзержинскому. Справедливое негодование и вполне понятное торжество победителей было, как это нередко случается, сильно разбавлено страстиами совсем другого толка. В толпе было немало хулиганов, жулья, люмпенской накипи, которой хватает в любом большом городе и которая только ждет своего часа. Раздавались призывы к погромам, полетели первые камни в витрины и окна домов. Демократия грозила обернуться охлократией. Голоса двух президентов — СССР и России — вновь прозвучали предостерегающие и согласно. На пути возрождавшейся черной сотни был поставлен заслон.

Не желал ли теперь кто-то сделать из здания на Смоленской площади, образно говоря, второй памятник Дзержинскому? Под самыми благовидными предлогами. Бывают моменты, твердил я себе, когда для того, чтобы противостоять стихиям, пусть и революционного, демократического происхождения, требуется больше мужества и выдержки, чем для того, чтобы послушно следовать им. Кондрашов справедливо писал в «Известиях»: «Предотвратить «охоту на ведьм» в стенах небоскреба на Смоленской — важная задача, которую, как можно понять, поставил перед собой новый министр».

Я чувствовал — за мной внимательно наблюдают. С самых различных наблюдательных вышек. Те, кто просто-напросто полон обывательской зависти к людям, которые «ездят по границам». Те, кто требовал справедливого возмездия для поддержавших путчистов. Те, наконец, кто резонно полагал: в семье не без урода, но кадры квалифицированных дипломатов на дороге не валяются и их нельзя пускать на ветер из-за очередной раз вырвавшейся на волю леворадикальной нетерпимости.

Нельзя устраивать нового подобия антиалкогольной компании на ниве дипломатии, — решил я. Этой позиции придерживался и Шеварднадзе, который в те дни не раз выступал с призывами бережно отнести к такому «ценнейшему человеческому капиталу», как коллектив МИДа. Его высказывания тоже помогали прийти к правильным решениям, хотя был в них и естественный в его положении «перехлест». Того же Успенского — скорее всего, в память о его выступлении на общемидовском совещании в присутствии Горбачева — Эдуард Амвросиевич упорно называл «одной из наиболее ярких фигур, вышедших на международную арену в годы перестройки».

Да, слишком много страстей, пристрастий, интересов сплелось вокруг нашего небоскреба на Смоленской. Нити к нему и от него тянулись в разные слои общества. Поддайся я нажиму, и чаша весов непоправимо качнется в сторону мести, ожесточения, сведения счетов, нетерпимости. Сейчас важно было показать направленность изменений. Отставка Квицинского и Никифорова была достаточно ясным индикатором, указывала вектор перемен. Не менее красноречивым стал и тот факт, что руководимое Никифоровым Главное управление кадров, этот спрут, перехвативший своими щупальцами и артерии и дыхательные пути разветвленного организма МИДа, был расформирован. А сотрудники КГБ, облюбовавшие эту идеальную наблюдательную вышку, были

удалены из аппарата. С одобрения Президента начались переговоры с новыми руководителями министерства обороны и КГБ — маршалом Шапошниковым и Бакатиным — о дальнейшей судьбе их людей под «крышой» дипломатических миссий.

Вызванным в Москву послам было решено предложить, как я это сделал по отношению к Логинову, «самим высказаться относительно политической целесообразности дальнейшего пребывания на посту чрезвычайного и полномочного представителя своей страны». Так ушли в отставку послы в Лондоне, Белграде, Дублине, Афинах, Стокгольме... Как написали модные тогда в демократических кругах «Куранты» в заметке «Конец «дела послов»: «После вызова в Москву для консультаций ряд послов вернулись в свои благоустроенные и приятные во всех отношениях страны для сдачи дел». Между строк сквозила-таки тоска по той несостоявшейся «вселенской смази», которой от меня ожидали: «Ведь утверждают, что, кроме Б. Панкина, только посол во Вьетнаме совершил поступок, посоветовав местному руководству не спешить с поздравлениями новоявленной кремлевской хунте. Говорят, что послы, оказавшиеся в «окаянные дни» в отпуске, молились своему дипломатическому богу, что тот избавил их от непосильного выбора». Строки, которые, помимо всего прочего, дают хорошее представление о «новоявленном» стиле, в котором пресса предпочитает писать о делах внешнеполитических.

Как бы то ни было, настала пора перевести дух и вернуться к тому, ради чего, собственно, министерства иностранных дел и существуют — к внешней политике. Ее приоритеты, как мы их определим, и сыграют вместе с быстро текущим временем роль управления кадров. И не только в стенах высотного здания на Смоленской площади.

## 1. «ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ» БЕЗ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

В Нью-Йорке 17 сентября открывалась 46-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Пора было собираться туда. В Нью-Йорк из Москвы, где еще продолжала работу Конференция по человеческому измерению СБСЕ, переносился теперь фокус общественного внимания.

Традиции в международном сообществе — великая сила. С трибуны ООН, согласно им, слышнее всего заявка страны на свое место в мире. Первые недели сессии — самый большой парад президентов, премьеров и министров иностранных дел.

По традиции же министр иностранных дел СССР, направляясь в Нью-Йорк, посещал по пути одно-два государства. Я не собирался отказываться от такой традиции, тем более что приглашения поступили чуть ли не от каждого министра, побывавшего в Москве во время конференции. Да и долгов за моими предшественниками тоже оставалось немало. Сколько ни путешествовали по свету Шеварднадзе, а потом и Бессмертных, было, оказывается, еще немало стран, даже в Европе, где, как выражались доморощенные шутники, не ступала еще нога советского министра иностранных дел.

Но я выбрал... Швецию и Чехословакию. Теперь и сам удивляюсь той дерзости, с которой принимал это решение. И тому пониманию, которое встретил на Смоленской и в Кремле.

По старым-то временам, боже мой, сколько бы тут вопросов мне задали. Министром иностранных дел я был пока всего две недели, но опыт «вращения в сферах» у меня был сверхдостаточный.

Лето 1980 года. В Будапеште скончался поэт и писатель Антал Гидаш. В 1937 году вместе с женой он попал в ГУЛАГ и был вывезен оттуда лишь в конце войны Александром Фадеевым. Он и его жена Агнесса, дочь Бела Куна, значительно старше нас. Другое поколение. Но, встретившись однажды в Будапеште, мы, по какому-то капризу судьбы, подружились и стали своими в шумном и общительном кругу их московских знакомых — Маргариты Алигер, Леонида Мартынова, Сергея Наровчатова, вдовы драматурга Киршона. Жертвы или близкие жертв ГУЛАГа, все в той или иной степени связаны памятью и взаимной поддержкой в те страшные годы. Гидаш умер от рака, на 81-м году жизни.

Агнесса — практически одна-одинешенька на белом свете. Прихожу к Зимянину, секретарю ЦК КПСС по идеологии. Даже человек моего ранга — я был тогда Председателем правления Всесоюзного агентства по авторским правам — не имел права по собственной воле шагнуть за пределы Москвы. Внутри страны я этими запретами пренебрегал, хотя и приходилось бесконечно объясняться в отделах ЦК. Ну, а за рубеж просто физически не выпускали без так называемого решения «Инстанции», то есть все того же ЦК.

Зимянин о Гидаше и Агнессе Кун, несомненно, знал. Даже по его меркам, это такие друзья нашей страны, надежнее которых не сыщешь, хотя со своими коммунистическими убеждениями (этого секретарь ЦК как раз не знал) они давным-давно расстались — ГУЛАГ разлучил.

Так и так, говорю. Надо мне лететь в Будапешт, на похороны Антала Гидаша. Смотрит на меня и как будто бы не видит. Надо, повторяю, лететь в Будапешт. Агнессу сейчас нельзя оставлять одну. Она всегда жила мыслью умереть с Гидашем в один день. Слушает меня и как будто бы не слышит. Словно ждет, когда же я, наконец, сам пойму, какую чушь несу. Ну и так как этого не происходит, объясняет: «Решение ЦК по этому вопросу принималось? Не принималось. Обращение венгерской стороны было? Не было. Ты — лицо официальное. Председатель ВААП, почти председатель госкомитета».

«Когда я напираю на это, чтобы что-то путное решить, — мелькнуло у меня, — мне указывают на место: ВААП — общественная организация. А когда...»

Зимянин между тем продолжает:

— К тому же у тамошних лидеров они на заметке. Как поймут твое появление?

Что верно, то верно, у тамошних лидеров они на заметке.

— Да я частным образом, не как лицо, как друг...

— Не вижу разницы, — отрезал Зимянин, любивший, быть может, из-за маленького своего роста щеголять категорическими заявлениями, и дал понять, что разговор закончен.

Увы, эта история имела свое продолжение и немного позднее, да и в новейшие времена. Дважды, уже будучи послом в Стокгольме, я пытался навестить Агнессу в Будапеште и дважды получал отказ, сначала от Громыко, потом от Шеварднадзе. Их согласие на поездку мне по-прежнему было необходимо — «в соответствии с установленным порядком»... «Не водится это», — деликатно урезонил меня Громыко. «Зачем вам навлекать на себя недовольство, вызывать из-

лишние толки», — пожал плечами Шеварднадзе (было это в самом начале его карьеры министра).

В этот раз... неужели решат, что это дань ностальгическим настроениям? Желание покрасоваться в знакомых местах в новой высокой роли? Горбачев только понимающе кивнул, когда перед ним положили распоряжение о моей поездке в Швецию и Чехо-Словакию: как Президент он должен был его подписать. Мидовская команда дружно занялась рабочей подготовкой визита. Мне же оставалось порадоваться тому, что наступили, кажется, времена, когда все, что нормально и разумно, именно так и понимается. О чем еще мечтать?

Не сентименты влекли меня в первую очередь в эти две страны (что не помешало шведской прессе, не без оснований, назвать мой визит в Стокгольм « сентиментальным путешествием »). Были более существенные соображения, имевшие отношение все к тем же приоритетам внешней политики Советского Союза. Будет ли она, как прежде, в основном завязана на Соединенные Штаты или найдется место и для так называемой Европы — задавались политики вопросом. Высказывались надежды, что новый министр, проработавший девять лет послом как раз в двух «малых странах» континента, внесет свои коррективы. Ни Чехо-Словакию, ни Швецию я, положим, к малым странам не относил, но озабоченность и в какой-то мере подсказка общественного мнения мне импонировали. То, что выбор стран для первых визитов носил несколько экстравагантный характер, сделало лишь более ощутимым предполагаемый акцент.

Швеция стояла первой в графике моих визитов, намеченных на вторую половину сентября, и с нею возникли своеобразные трудности. Страна была накануне выборов в риксдаг и в местные муниципальные органы; на протяжении уже десятков лет они происходят каждые три года в третье воскресенье сентября. В этот раз — за три дня до моего визита.

Настроения в стране, судя по результатам опросов общественного мнения, которые, как в любой уважающей себя цивилизованной стране, публиковались в Швеции каждый день, были неустойчивыми. Когда Стен Андерссон, министр иностранных дел социал-демократического правительства, приглашал меня в Стокгольм, он был уверен в победе. За последние дни чаша весов стала склоняться в сторону оппозиционных буржуазных партий. Я, таким образом, мог оказаться в «мертвом пространстве», когда одно правительство падет, а другого еще не будет. В подобный же момент я приехал в качестве посла в Швецию в сентябре 1982 года:

власть, после шести лет правления буржуазных партий, возвращалась к социал-демократам, к Улофу Пальме.

Предостережение было резонным, но и отступать мне уже было некуда — отказ от визита в последний момент был бы в высшей степени некорректным по отношению к правительству, которое, как оказалось, действительно доживало последние дни. В конце концов, подумал я, мы поддерживаляем отношения не с партиями, а с правительством, а оно будет исполнять свои обязанности вплоть до того момента, когда будет сформировано новое. Встреча с лидером умеренной консервативной партии Карлом Бильдтом, которому предстояло формировать правительство, в программе визита была предусмотрена. Итак, полетели!

Но тут я, конечно, должен, не могу не отдать дань новым ощущениям, переживаемым в связи с новым моим положением. Не буду кривить душой и утверждать, что все, кроме, главного, как в таких случаях говорят, кроме дела, мне было безразлично. Нет, мне было интересно наклонить голову и прислушаться к самому себе — как я отношусь к тому, что получу специальным самолетом с того самого знаменитого Внукова-2, который и поныне большинству в нашей стране знаком только по фотографиям да телевизионным репортажам. Что провожать меня, не говоря уж о моих заместителях, приедут послы и временные поверенные трех стран — Швеции, Соединенных Штатов и Чехо-Словакии, что будет, естественно, и прессы, наша и зарубежная... Не будет, правда, членов Политбюро или какого-нибудь другого высокого лица: так как первые вообще испарились с политического горизонта, а во вторых ощущается острый дефицит, во всяком случае на союзном уровне, который я теперь представлял.

Вспомнилось, как на протяжении многих, уже перестроечных лет Александр Николаевич Яковлев, ведавший как член Политбюро международными вопросами, неизменно провожал и встречал министра иностранных дел Шеварднадзе, тоже члена Политбюро, а Шеварднадзе — Яковleva. Вспомнилась и загадка армянского радио, относящаяся, правда, еще к застойным временам: «Что это такое, — спрашивает армянское радио, — сначала звуки поцелуев, потом шум мотора?» — «Партийно-правительственная делегация отбыла с официальным визитом». — «А это что — шум мотора, потом звуки поцелуев?» — «Та же делегация вернулась на Родину...»

В общем, все прошло нормально, и я сыграл свою роль как положено. Черной молнией промчался на своем ЗИЛе в сопровождении «канареек» охраны от Смоленской до Внуково-

ва-2 — заехать домой времени не хватило, — пожал с удовольствием руку Рудольфу Сланскому, поверенным в делах Швеции и США — послы к тому времени уже вылетели в свои страны, перебросился парой вопросов и ответов с прессой — где-то уже отметили, что «новый министр горой стоит за открытость, за работу не в кулуарах, а на виду у всех», так что надо было поддерживать репутацию. Выслушал рапорт командира корабля, поднялся по трапу в салон... Через несколько минут взревели моторы. Еще через несколько минут самолет оторвался от земли, и я, оглянувшись, обнаружил себя в просторном комфортабельном помещении, оборудованном удобными креслами, софой, рабочим и обеденным столами. Мое одиночество первые минуты прерывалось только вопросами стюардесс — не желаю ли чаю, не хочу ли фруктов...

Нет, не хочу! Хочется посидеть одному и, глядя в окно, подумать о том, что только-только отшумело, и о том, что ожидало в самое ближайшее время. Полет из Москвы до Стокгольма длится всего час сорок пять минут. Пассажирские рейсы, бывает, прилетают и раньше. Но спецрейсу это не полагается. «Открытие дверей», — как доложила мне старшая из стюардесс, — во столько-то часов, столько-то минут». И ни минутой позже.

Словом — полтора часа как минимум в одиночестве и спокойствии.

Швеция, Швеция, желто-голубая по осени, как цвета ее флага. За девять лет, прошедших с сентября 1982 года, она стала частью жизни моей и всей моей семьи. 16 месяцев минуло, как я покинул ее официально. Позади — Москва; разбуженная «нежной» революцией Прага; снова Москва; а она, Швеция, все не отпускает. Нечего играть с самим собой в прятки — была, была доля ностальгии в решении начать визиты именно с нее, с земли варягов, короля Густава Вазы, Альфреда Нобеля, Улофа Пальме, Рауля Валленберга, Астрид Линдгрен, группы «АББА», Антонии Юнссон...

Я бывал здесь до 1982 года три или четыре раза, чаще, чем в других странах, как Председатель агентства по авторским правам. Со шведскими издателями разрабатывали типовые проекты контрактов на «уступку и приобретение прав». Обкатанные в Стокгольме, они потом надежно служили нам по всему миру. «Дагенс нюхеттер», одна из двух ведущих шведских газет национального масштаба, писала: «Вслед за появлением делегаций из ВААПа началось что-то вроде нашествия современной советской литературы на наш книжный рынок».

По прибытии моем в качестве посла в средствах массовой информации прошла оживленная дискуссия — повышение это или ссылка, по московским меркам, для председателя «почти госкомитета». Основанием для минорных предположений было запомнившееся, оказывается, местной прессе обстоятельство, что в бытность в Москве нынешний посол «продвигал по линии ВААП писателей и композиторов полудиссидентской направленности»: Трифонова, Шукшина, Айтматова, Абрамова, Распутина, Рощина, Маканина, Шнитке, Денисова, Губайдулину, Тищенко...

Расстроганный, я прижал к груди пахнущие типографской краской газетные листы на неведомом мне пока языке. Когда-то в «Комсомолке» мы проводили читательскую дискуссию на тему «Что такое счастье?». Один мальчик написал: «Счастье, когда тебя понимают». По контрасту вспоминалась уже знакомая читателю сцена: зав. отделом ЦК КПСС Замятин, известив правление ВААПа об «освобождении председателя от обязанностей», запирает собственноручно дверь его кабинета и наказывает заместителю ни в коем случае не пускать сюда больше бывшего начальника.

Медовый месяц, однако, в том числе в шведской прессе, длился недолго. До того, как появился доклад специальной правительственной комиссии по вопросу «о нарушениях иностранными подводными лодками шведских территориальных вод». Никаких реальных доказательств нарушений, как я тогда был убежден, ничего такого, что можно действительно пощупать руками, у комиссии не было, если не считать хорошо известного случая, за год до моего приезда, когда одна наша подводная лодка действительно запуталась в шведских водах. «Навигационные приборы подвели!», — гласил наш ответ... Но это — история. Теперь же были лишь некие косвенные доказательства, которые, однако, по убеждению комиссии, указывали в направлении СССР. Улоф Пальме решил самолично вызвать советского посла и передать ему ноту и материалы комиссии. «Я считал необходимым самому погромче крикнуть, чтобы обезоружить самых громких крикунов», — объяснил мне позднее в минуту дружеской откровенности Улоф.

Пресса же, да и общественное мнение страны поняли его намерение по-иному — если уж сам премьер!.. Просторный, весь из стекла вестибюль так называемого Розенбада — канцелярии премьер-министра — был забит представителями всех средств массовой информации. Когда я вышел из лифта, после встречи с премьер-министром, журналисты с камерами и микрофонами так стиснули меня, что мы все вместе букв-

ально покатились, сбивая друг друга с ног, по широким каменным ступеням, ведущим к выходу.

— Будете ли вы еще делать такие дела в будущем? — спросил на приблизительном русском языке один журналист уже у машины.

Я пожал плечами: сначала надо установить, было ли что в прошлом, кроме одного случая...

На следующий день газеты вышли с аншлагом по-русски: «Какое дело? Никакого дела не было!»

Сразу же забылось, казалось, навсегда, все то хорошее, что сопутствовало моим первым неделям в Швеции. Выход к многотысячной демонстрации, которая на несколько километров протянулась от американского до советского посольства, чтобы передать послам петицию с требованием мира и разоружения. «Один ноль в пользу советского посла», — не унималась в те дни шведская, да и зарубежная пресса: мой американский коллега к демонстрантам не вышел.

Словно бы не было пространных и предельно откровенных по тем суровым временам интервью, пресс-конференций и другого рода встреч, по поводу которых писали, что «из загадочного и мрачного замка» советское посольство превращается в приветливо раскрывающий свои двери дом.

...Ох уж эти подводные лодки. Или их призраки? Были или не были? Об этом наверняка спросят меня и сегодня. Или завтра — на заключительной пресс-конференции. А тогда, особенно первые два-три года, — регулярные протесты, ноты, ежеквартальные доклады комиссии — как раз перед утверждением оборонного бюджета, шутили либералы, волнами — кампании в прессе... Это была какая-то фантасмагория, когда никто уже не мог понять, где правда, где заблуждение, где серьез, а где и розыгрыш. Особенно после того, как «Дагенс Нюхеттер», самая серьезная и либеральная газета Швеции, вышла со снимками на целый разворот, на которых предметы, напоминающие перископы, торчали из воды озера Меларен, прямо перед окнами королевского дворца.

— Что ж, — сказал мне в одну из наших встреч мудрый Улоф Пальме, — советская сторона утверждает, что лодок нет, мы утверждаем, что они есть. И никому друга пока убедить не удалось. Значит, с этим надо жить...

Я вздохнул с некоторым облегчением. Ну что я мог сделать, кроме как передать очередную бумагу из Генштаба, в которой начисто отрицались очередные подозрения: «никогда, кроме одного случая, да и то по недоразумению, советские подводные лодки не нарушили и не намерены нарушать...»

Другим наваждением, вернее, третьим, о втором я расскажу чуть ниже, были государственные похороны в нашей стране. Троє похорон за неполные три года. Брежнев, Андропов, Черненко... Траур в зале посольства. Книга для записей. Делегации, депутатии...

Пальме летал в Москву все три раза. Вместе с дядей короля принцем Бертилем, потомком наполеоновского маршала Бернадотта, который некогда был призван шведским дворянством на престол в Стокгольме. Улетали чуть свет, на крошечном реактивном самолете. Возвращались в тот же день — поздним вечером. Я помню, приехав провожать, никак не мог найти этот самолет. И тогда впервые обратил внимание на деловую, непоказную скромность, с которой вел себя шведский премьер. Ни неизбежной у нас в таких случаях, вот даже у меня сейчас, свиты, никаких кортежей, никакого правительенного зала... Вышли из «вольво», подошли к стоящему поодаль самолету, пожали руку успевшему-таки отыскать их в предрассветной темноте советскому послу и полетели. На поле никого, кроме меня и моего секретаря. По возвращении принц Бертиль рассказывал о плохой погоде в Москве и хорошем горячем напитке, который подают на кремлевских трибунах, — «как наш пунш».

Похороны — дело невеселое, как известно. Но Пальме возвращался каждый раз все более оживленным. Особенно в третий раз, в марте 1985 года. Рассказал, что удалось переброситься несколькими фразами с Горбачевым. Чувствовал, чувствовал этот физически небольшого роста политический гигант, что в Советском Союзе грядут невиданные перемены. Жаль только, что застать он до своей трагической смерти успел только самое их начало. Как же я досадовал, что в тот раз, на похоронах Черненко, дело между Пальме и Горбачевым, несмотря на все мои телеграммы, не пошло дальше нескольких фраз. И как же я радовался, когда удалось, наконец, убедить Москву (тут помог уже Шеварднадзе, только что сменивший Громыко) пригласить Пальме в СССР. Его убили за три недели до начала согласованного уже по срокам визита. За десять дней до убийства мы с ним сидели у меня в резиденции за ланчем и обсуждали, как он выражался, философию визита.

Да, к тому времени, несмотря на пресловутые подводные лодки и многое другое, мы успели стать с ним, осмелилось сказать, друзьями.

«С этим надо жить». Мудрый этот лозунг мудрого человека — своего рода ключ к пониманию современного шведского характера. Он никогда ничего не забудет и из послед-

них сил будет докапываться до истины, как, например, в «деле Рауля Валленберга» или в исчезновении над Балтикой шведского самолета DC-3, но он будет «жить с этим», то есть воспринимать окружающее и ход вещей в мире как реальность, в которой добиться чего-то для себя можно только в том случае, если будешь уважать нужды и потребности соседа. Не из этого ли вырос и главный внешнеполитический лозунг Улофа Пальме, который был подхвачен политикой нового мышления? Он еще короче, чем уже упомянутое мною выражение. «Безопасность для всех!» Нельзя обеспечить собственную безопасность, не подумав о безопасности всех.

Шведы любят рассуждать о своем национальном характере с помощью всякого рода сравнений и метафор, почерпнутых из повседневного обихода.

Один из моих собеседников, например, сравнивал шведа с американцем. «У американца, — говорил он, — есть как бы два круга общения с иностранцами: один широкий, другой узкий. Вы довольно легко попадаете в первый, но почти никогда не увидите себя внутри узкого круга. У шведа по-другому. В отношениях с ним довольно трудно преодолеть первый, широкий круг, — не оттого ли нас, шведов, зовут замкнутыми, недоступными, но если уж вы за него проникли, то узкий сам перед вами откроется».

«Мы, шведы, как бутылка с кетчупом, — рассуждал другой. — Опрокиньте ее горлышком вниз, и вы обнаружите, что кетчуп не течет. Но встряхните ее как следует, и он хлынет с такой силой, что и не остановишь».

Догадываюсь, что нечто подобное произошло со мной, вернее, с нами, потому что это коснулось и моей жены, а потом и моих детей и даже внуков, — всех закрутило в этой воронке, втянув в широкий, а там и в узкий круг.

Не хочу чересчур скромничать, но думаю, не такая уж и большая в этом наша заслуга. Достаточно просто чуть-чуть отличаться от того ходячего представления о советском человеке, которое долгое время бытовало на Западе, чтобы завоевать доверие застенчивых шведов — а они в самом деле скромны и застенчивы.

Употребил по инерции выражение — ходячее представление — и задумался... Сколько лет, даже десятилетий мы трубили, что это «ходячее представление» создает о нас зарубежная, буржуазная пропаганда. Но оказалось, что создаем его мы сами. И начали догадываться об этом лишь тогда, когда с наступлением перестройки стали вести себя по-другому, то есть человечнее, проще, естественнее...

Помню, когда в МИДе спорили, наказать или отметить ме-

ня за выход к демонстрации «Мост мира и дружбы», я пошутил на всякий случай: вина тут или заслуга, но все дело в моей неопытности. Я, мол, и понятия не имел, что выйти к людям за ворота посольства — значит нарушить неписаный закон. Принять петицию — почти подписать себе приговор. Сколько же я подобных табу нарушил! Шведам так мало было надо! Демонстрация, пресс-конференция, выступление в клубе ротари или появление — первым из советских дипломатов — на съезде местного отделения Армии спасения, которая в нашей литературе всегда служила пугалом, синонимом лицемерия и обмана. Все это в глазах шведов — почти подвиг... Просто вышел из машины — пройтись из МИДа в посольство, купил себе в киоске-гатучке сосиску с булкой, съел ее тут же в свое удовольствие — наутро ты уже в газете: смотрите, ведет себя, как нормальный человек... Дал, не задумываясь, автограф в старом городе (Гамла Стане) подбежавшему к тебе гимназисту — наградою восторженный рев десятка его одноклассников, желавших испытать, как поведет себя советский посол, которого тут все знают в лицо по фотографиям в газетах... Оказывается, быть политиком — значит, прежде всего быть человеком.

Совсем другую реакцию, правда, все это вызывает, как постепенно убеждаешься, в посольстве, обобщенно говоря, в советской колонии. Поначалу, принимая мои слова всерьез, расценивали мое поведение как неопытность... Спешили подсказать, посоветовать, уберечь... Интервью посол договорился дать газете? Еще не успел и слова сказать, а уж целый коллектив во главе с пресс-атташе (потом выясняется — кабинетом) работает над текстом. Тут же тебе и характеристика газеты готова, из которой явствует, что лучше с нею не связываться. И «беграунд» на репортера, который попросил интервью — наверняка сотрудник Сепо, шведская контрразведка... Да хотя бы и так?! Реакция — выпущенные в священном ужасе глаза... Интервью или выступление без бумажки — это уже ЧП. Это уже не неопытность, а причуда. В лучшем случае...

Бедный мой шофер... Хоть он никакого отношения к «службам» не имел, но указание от «ближних соседей» имел твердое — с посла глаз не сводить. А как ты это указание выполнишь, когда он, посол, только и смотрит, как бы выскочить из машины и отправиться по улицам в одиночку.

Ну а если уж он ненароком с эмигрантом, эстонским там или латвийским, заговорил где-то на приеме, «установил контакт», как выражаются на официальном языке, не дай Бог, пригласил его на прием к себе,— тогда не грех, при всем

уважении к начальству, сесть и написать шифровку, отправить ее по своему каналу. Береженого, как говорится, Бог бережет.

И каждый действует по такому принципу. Шоферу до посла далеко, хоть вот он, сидит рядом в машине, а помощнику посла по вопросам безопасности, то есть сотруднику того же КГБ, до шофера близко. Не поставить своей визы на приказе о продлении командировки — вот и возвращайся домой. А то еще и досрочно отправят. «От них» всего можно ожидать. «Их» ненавидят, но боятся. Печальный опыт подсказывает: если кто-нибудь «из них» на тебя взъестся, никакой посол тебя не защитит. Они свое возьмут. Один из шоферов оказался похрабрее, поделился как-то: дежурный комендант, тот, что «на воротах» сидит, упрекнул: ты почему, когда с послом едешь, не отмечашься — куда. Мы все знать должны.

Воспоминания — как струи воды в уличных ручьях после сильного дождя. Струя теплая, струя холодная; чистая — мутная...

Сколько уж времени прошло, почти два года, а все невозможно вспомнить о чем-то хорошем, чтобы тут же не припомнилось обидное, горькое, оскорбительное. И все больше — не со шведской, конечно, а с нашей стороны.

Сначала говорили — неопытность дипломатическая. Потом — причуды. Выделиться, понравиться хочет. Заигрывает. Это — о выступлениях по телевидению, «контактах» с «сомнительными», а к ним относят всех, кто не из МИДа и не из правительства. Да и те на заметке... Ежегодная охота осенью с участием шведских бизнесменов — нонсенс, чего-то они от него хотят или он от них?

Чем дальше, однако, тем серьезнее. Когда в октябре 1987 года в «Московских новостях» появилось мое эссе «Время и бремя посягать» — о «шведской модели», о том, что хватит уж называть социал-демократов социал-предателями, — мои оппоненты внутри посольства для себя определили: это уже линия, которой следует противопоставить линию. Ну а когда я к тому же засадил их за подробнейшую справку о шведском опыте, которым заинтересовались самые модные по тем временам экономисты Абалкин и Аганбегян, то они просто-напросто взвыли. Не хватало еще и ишачить на этих почти врагов народа!

На приеме в честь очередной годовщины Великого Октября вдруг появляется по приглашению посла руководитель «Таганки», только что заявивший в Лондоне, что из-за гонений на его драгоценное творчество в СССР не вернется.

Как, скажите, можно на это реагировать? Или поступает от посла указание — выдать визу... казначею «Хартии-77» Яноуху: у него, видите ли, приглашение есть от советских академиков. Словно бы неизвестно, что Франтишек Яноух двадцать лет уже в «черных списках» числится. Указание посла надо, конечно, выполнять, закон есть закон, но про-комментировать его «по своим каналам» тоже не помешает.

С Франтишком Яноухом мы с тех давних пор в переписке, иногда встречаемся. 21 августа он мне написал из Стокгольма в Прагу: «В эти волнующие дни, полные неожиданностей и неприятностей, я вдруг услышал ваше четкое заявление из Праги. Оно обрадовало меня, тем более что ваш преемник в Стокгольме выступал с такими заявлениями, что стыдно было, противно его слушать».

Не знаю, понравится ли Франтишку то, что я сейчас скажу, но это его письмо было, может быть, последней каплей, решившей судьбу Успенского. Впрочем, последней, но не единственной, поспешу его утешить...

Тогда, в Праге, мне и в голову, естественно, не приходило, что уже через несколько дней придется решать судьбу Успенского.

Перед моим отъездом в Стокгольм мы поговорили с Николаем Николаевичем, который, помните, вместе с несколькими другими послами, был вызван в Москву. Увы, он меньше других был склонен к самокритике: у него было мало информации, его не поняли...

Ну а что же мне отвечать, если спросят, на пресс-конференции?

Воспоминания об этих письмах и разговоре с Успенским почти буквально вернули меня с небес — самолет еще был в воздухе, но под крылом уже проплывали знаменитые стокгольмские шхеры. Архипелаг, как зовут это уникальное собрание островов сами шведы. Вместе с ними, напомнил я себе, меня там внизу ждут и бывшие сотрудники. В том числе и те, кто полтора года назад проголосовал за то, чтобы меня не посыпали в Прагу, то есть не оказали бы в Москве такого высокого доверия. Вдогонку еще и письмо отправили анонимное.

Приземлились. Самолет рулит в сторону знакомого мне правительенного сектора. Все эти годы мы не очень-то баловали Швецию визитами на высшем уровне. Но все же дважды тут побывал Рыжков. Один раз — на похоронах Улофа Пальме, другой — с официальным визитом. Прилетал Громыко — на открытие Стокгольмской конференции. Был еще дважды маршал Ахромеев, тогда начальник Генштаба.

Швеция — накануне перемен. Этим сейчас определяется тонус жизни в стране. Социал-демократы, которые правили здесь с 1935 года, уступили буржуазной оппозиции. Как в 1976 году, когда они были вынуждены пересесть с правительственные скамей на целых шесть лет — на два избирательных срока. Острые языки, правда, утверждали, что социал-демократы сделали это нарочно — чтобы избиратель сравнил и понял, кто есть кто. Тогда этот маневр, безусловно вынужденный, удался. В лагере буржуазных партий не было лада. Коалиции, премьеры непрерывно сменяли друг друга. Темпы роста производства упали. Безработица, которая здесь всегда была ниже, чем в соседних странах, возросла. Крона зашаталась. Конкурентоспособность продукции шведского машиностроения, особенно судостроения, подошла к опасно низкой черте. Социал-демократы во главе с Пальме вернулись тогда, в 1982 году, как долгожданные избавители. На следующий же день после того, как правительство было утверждено риксдагом, Пальме девальвировал шведскую крону. На 16 процентов. С моей тогдашней точки зрения, незначительная мера. А она оказалась ключом к надежному, длившемуся по крайней мере семь лет преуспеванию. Крона девальвирована, значит, шведские товары стоят на внешнем рынке дешевле, чем раньше. Конкурентоспособность увеличилась, их охотнее покупают. Для страны, где половина годового национального продукта предназначена на экспорт, это огромное дело. Коль скоро товары находят спрос, у предпринимателей, финансистов растет заинтересованность вкладывать капиталы в дело. Растет производство — падает безработица. А это в свою очередь увеличивает покупательский спрос, который опять же стимулирует производство. Одно тянет за собой другое.

Я, естественно, не собираюсь сейчас давать анализ экономической политики шведской социал-демократии тех лет или сравнивать ее с тем, что теперь предлагают буржуазные партии во главе с лидером умеренных консерваторов Карлом Бильдтом. Конечно же, кроме девальвации кроны, было тогда много других мер — и экономического, и социального, и политического плана. Я только хочу передать свое тогдашнее ощущение от первой встречи с западным образом ведения дел на государственном уровне.

Судьбе было угодно, чтобы на протяжении девяти лет я дважды стартовал именно в Швеции — первая посольская миссия и первый визит за рубеж в роли министра — и чтобы эти, только меня касающиеся вехи, совпали бы с крутыми переломами в жизни этой удивительной страны.

Да, девять лет назад я впервые получил возможность наблюдать и подумать над тем, как же работает западная, назовем ее так, машина власти. Тогда я не предполагал, что эти мои размышления могут приобрести прикладной характер. Однако так оно случилось. Со временем же появлялось все больше пищи для раздумий — не только о Швеции и моем отношении к ней, но и о нашей стране, которая именно в эти годы закрутилась в вихре таких перемен, какие тогда, в сентябре 1982 года, за два месяца до смерти Брежнева, мало кто, конечно же, мог предвидеть.

Что меня тогда поразило? Никто — ни новый премьер, ни даже министр индустрии, а он у них в правительстве был тогда один на всю экономику, — не торопится, вопреки нашим непременным правилам, ни на завод, ни на судоверфь, ни на какой-нибудь агропромышленный объект, благо ни колхозов, ни совхозов у них не было и нет. Не торопятся давать правлению «вольво» или, скажем, гиганта энергетического машиностроения АССЕА какие-либо ценные советы. Представляю, как изумились бы шведские телезрители, увидев своего премьера, выслушивающего с умным видом разъяснения менеджера в пролете какого-нибудь цеха в окружении огромной свиты, толпы репортеров и охранников. Да и сам он, как и его министр индустрии, вдоволь бы повеселился, наверное, если бы обнаружил, что кто-то от них этого ожидает. А ведь партия, которую возглавлял Улоф Пальме, рабочая, и полное ее название — социал-демократическая рабочая партия Швеции — СДРПШ.

С экранов телевизоров, естественно, ни Пальме, ни его министры не сходили. Но их активность развивалась совсем в другом измерении. Дискуссии в риксдаге, заседания в правительствах бесконечного числа общественных объединений, прием видных деятелей самых различных сфер: сегодня — профсоюзы, завтра — банки, послезавтра — инженерная академия, ну и так далее. В спокойной, комфортабельной обстановке — уютные холлы и кабинеты, непременно кофе, соки и печенье... И все это — без ожесточения, без спешки, с предупредительными улыбками на устах со всех сторон... Ожесточение — только на страницах газет. Поди догадайся без них, что ставки в этом диспуте куда как высоки. Да и результаты, конечный продукт всей этой поначалу удивлявшей меня деятельности, тоже был, с нашей, советской точки зрения, не то чтобы скромные, но какие-то невразумительные. Все разговоры крутятся вокруг процентных и налоговых ставок и видов налога, курса кроны, цен и субсидий на продукцию сельского хозяйства... И спор-то идет порой не о

пяти- и даже не о трехзначных цифрах, не о сотнях и даже не о десятках процентов, а о единицах, о десятых, а то и сотых долях... Между тем под влиянием этих на вид аптекарских доз, как в организме больного под воздействием каких-нибудь невзрачных пилуль или уколов антибиотиков, в социально-экономических структурах происходили огромные и видимые изменения к лучшему.

И никто при этом, повторяю, не просиживал в прокуренных кабинетах ночами, никто, включая и премьера, не жертвовал ни выходными, ни отпуском, ни «семестром», который более половины работающих шведов проводят в одно и то же время, с конца июня. В такую пору нам, по слам, невозможно было попасть ни к кому из официальных лиц ни с какими самыми срочными поручениями своих правительств.

Спросил меня однажды мой шофер: «Борис Дмитриевич, как понять? У шведов то уик-энд, то кристмас (Рождество), то семестр, — а планы они вроде выполняют и даже перевыполняют». Мне тут же вспомнилась сценка из моей, тогда еще недавней московской жизни. Довелось побывать на дне рождения у знакомой моей жены — у супруги ministra автомобилестроения, славившегося своей фантастической трудоспособностью и преданностью делу. Уже и гости все собрались, в том числе и из Тольятти, где он как раз и поднимал автозавод, и блюда все перепрели, а хозяина нет и нет. Сели, наконец, за стол. На его месте — пожилая женщина, секретарь, боготворящая, чувствуется, своего шефа до невозможности. Персонаж прямо из производственного романа в духе социалистического реализма. С пылом, с жаром, стараясь смягчить неловкость, рассказывает она о невыносимой загруженности ministра и полной невозможности для него принадлежать самому себе.

— А вот на Западе, — говорю я, — бизнесмены никогда не опаздывают на именины своих жен, а легковые машины делают, пожалуй, получше наших.

Бурное негодование персонажа из романа, естественно, да и всех окружающих, особенно первостроителей Тольятти.

Тогда я судил понаслышке, теперь у меня появилась возможность убедиться в этом. А вместе с нею и потребность от первых, неизбежно наивных ощущений перейти к более или менее систематическому изучению шведской действительности. Тем более что «шведская модель» строительства «общества всеобщего благосостояния» считалась уникальной даже на Западе.

Вообще говоря, все, что проповедовали и претворяли в жизнь социал-демократы, было словно красная тряпка для

быка для нашего марксистско-ленинского сознания. Так называемый классовый мир, культ компромисса, «подачки» рабочим под видом приобщения их к управлению производством, народный капитализм... Все, что тем более выводило из себя наших идеологов, поскольку исходило от социал-предателей и к тому же, увы, давало эффект. Не случайно даже в 1987 году, на третьем году перестройки, моя заметка в «Московских новостях» вызвала такой переполох. Я между тем, апеллируя к модному тогда утверждению, что пропасть между социализмом и капитализмом невозможно перескочить в два прыжка, утверждал, что именно на том ее отрезке, где она разделяет СССР и Швецию, достаточно будет и одного прыжка, если, конечно, собраться с духом.

В конце концов я был как будто услышан. Солидная записка ушла в Москву и легла на все «главные столы», начиная с горбачевского.

В начале 1988 года приехал премьер Рыжков. В ходе его визита по предложению преемника Пальме Ингвара Карлссона, которому, естественно, льстил интерес гигантского Союза к маленькой Швеции, был учрежден «круглый стол» по шведской модели и, словно по навесному мосту, наведенному через пресловутую пропасть, устремились в обе стороны эксперты, менеджеры, ученые, бизнесмены, политические деятели — Андерс Ослунд, Михаил Сульман, Чел-Улоф Фельдт, Антония Юнссон, Ханс Раузинг, Ингвар Кампрад, Абель, Аганбегян, Леонид Абалкин, Геннадий Бурбулис и Николай Травкин, тогда еще рядовые народные депутаты и единомышленники, и многие, многие еще.

Как я и предчувствовал, в числе первых вопросов, которые мне задали теперь в Стокгольме как министру иностранных дел на пресс-конференции, устроенной в Розенбаде, был, конечно же, и этот — о моем увлечении шведской моделью, «третьим путем». Кто-то, кажется, из «Свенска Дагбладет», знакомое лицо, спросил... Остальные напряглись, застыли в ожидании... Поставить гостя-оратора в трудное положение — главное профессиональное удовольствие для журналистов. Милые, смешные чудаки, даже и не отдающие себе отчета, в каком обществе они живут... Напоминаю им, как примерно в такой же аудитории примерно такой же вопрос был задан год назад Травкину. Страсти тогда бушевали в риксдаге вокруг налоговой реформы, и Ингвар Карлссон, спасая курс, грозил отставкой и роспуском парламента.

А у нас в посольстве — прием по случаю пребывания делегации парламентариев, приехавших изучать проповедуемую социал-демократами «шведскую модель». Особенно настойчи-

ва была в иронических вопросах хорошо знавшая Советский Союз корреспондентка телевизионной программы новостей «Рапорт», красивая статная женщина, говорившая по-русски.

— Милая, — с видимым удовольствием взял ее за талию Травкин, которого в тупик поставить никому еще, по-моему, не удавалось, тем более сейчас. — Милая, — повторил он, — нам бы ваши проблемы, нам бы ваши кризисы. И поскорее, и побольше!

Стоявший рядом Геннадий Бурбулис, который тогда еще только открывал для себя Запад и не успел еще стать таким фанатиком монетаризма, как сейчас, согласно кивал головой. С тех пор как ни встретимся, хоть и не часто это бывает, всегда вспоминает этот эпизод и растерянность симпатичной журналистки.

Как ни странно, проходившая теперь буквально на моих глазах «смена караула» только еще больше убеждала меня в резонности моих давних настроений и пристрастий.

Министр иностранных дел Стен Андерссон, принимая меня в качестве хозяина, упорно называл себя «хромой уткой». И порой мне казалось, что повторять это выражение доставляет ему удовольствие. Уходящий премьер, Ингвар Карлссон, тоже выглядел гораздо беспечнее и жизнерадостнее своего преемника Карла Бильдта, который был весь в волнениях и заботах по сколачиванию коалиционного правительства из трех партий. Я поделился своими наблюдениями в коротком спичке на обеде, устроенном в мою честь Стеном Андерссоном в огромном, вместившем до трехсот человек зале старинного дворца, в стенах которого многое десятилетий обитало министерство иностранных дел. Дружный добродушный смех был мне ответом. Смеялись сидевшие за одним столом умеренные консерваторы, народники, центристы, социал-демократы, зеленые.

Да, в Швеции все так. Если консерваторы, так умеренные, модераты; если социалисты, так демократические, аграрники обязательно центристы...

— Вы думаете, у нас в парламенте пять партий? — обратился ко мне профессор Уппсальского университета на очередном заседании «круглого стола» по «шведской модели». — Ничего подобного. Просто пять ветвей одной и той же партии — всеобщего благосостояния. Только не надо думать, что все мы альтруисты. Просто необходимость гармонизировать свои интересы с запросами окружающих стала всеобщей потребностью, сидит у нас в крови, стала частью современного фольклора, вошла в терминологию. Возьмите хо-

тя бы такое краеугольное понятие, как «солидарная заработная плата», то есть одинаковая плата за сравнимо одинаковую работу. Неважно, где вы ее выполняете — на конвейере «Вольво» или «Альфа Лаваль», в правительственный канцелярии или в офисе какой-нибудь промышленной компании. Доходит до парадоксов — бывает, что правительство заинтересовано, из собственных соображений или под давлением каких-либо групп, повысить зарплату той или иной категории трудящихся, а профсоюзы — против: нарушается принцип солидарности. Ну а о том, чтобы понизить, об этом вообще никто не заикается.

Вот и теперь. В коридорах власти царила, я бы сказал, размеренная суматоха. Одни пересаживались из министерских кресел в партийные и депутатские, другие — наоборот. Кто-то уходил в бизнес, кто-то — в дипломатию. Новое правительство разрабатывает программу. Новый парламент готовится обсудить ее и принять. В речах и документах — снова цифры, проценты, ставки, уровни... Только уже другие, естественно, не те, что 9, 6 и 3 года назад, по существу же, все о том — о процветании, о справедливости, благоденствии. Только у новых лидеров взгляд на средства достижения этих целей несколько иной.

Ставший премьер-министром Швеции Карл Бильдт — умеренный консерватор. Он и его партнеры по коалиции из народной (либеральной) партии и партии центра — сторонники монетаризма, неолибералы в экономической политике. А это значит, что будет в еще большей степени ограничено вмешательство государства в деятельность промышленных, финансовых и банковских кругов, дальнейшее развитие получит приватизация экономики, еще меньше ограничений будет в рыночных отношениях; больше свободы будет дано движению капитала, вырастут шансы иностранных инвесторов, протекционизм в отношении агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств будет сведен до минимума. Ну и так далее. А если без терминов, то лидеры и теоретики буржуазных партий в Швеции считают, что социал-демократы делают неоправданно сильный акцент на мерах социальной защиты населения, создают в стране тепличную обстановку, в которой каждый получает минимум необходимого (по нашим меркам — это такой максимум, которого у нас до последнего времени не имела, быть может, даже пресловутая номенклатура самого высокого ранга) и в результате массы людей теряют стимул «стараться больше». Это негативно отражается на развитии экономики, в других сферах общественной деятельности. Другими словами, умеренные консерваторы

против той самой уравниловки, которая заедает и нашу жизнь. Только эта уравниловка существует в Швеции на совершенно другом, недосягаемо высоком уровне.

Как эмоционально заявила однажды наш близкий друг Маргарита Х.: «Этот народ не знает, что такое жить плохо!» Был, помню, курьезный случай в Стокгольме, когда один безработный подал в суд на муниципальные власти, которые с ног сбились, предлагая ему работу. Они, видите ли, нарушают с рождения принадлежащее ему право на свободу ничего не делать и жить под открытым небом.

Вот консерваторы и считают, что безработица нужна, чтобы людям было о чем беспокоиться. Плохо, когда людям живется так хорошо, что они перестают стремиться к еще более лучшей жизни. Это создает объективную угрозу потерять завтра то, что имеешь сегодня, — вот кредо, с которым буржуазные партии победили на выборах.

Грядут, стало быть, изменения, а это означает, что неизменно кому-то в ближайшие годы станет немного лучше, кому-то немного хуже. От того, какие пропорции сложатся между этими «хуже» и «лучше» в ближайшие три года, зависит судьба правительства на следующих выборах. Ингвар Карлссон как-то сказал, что социал-демократы хороши для управления страной, буржуазные партии — для оппозиции. Теперь они поменялись местами

Следующие выборы снова взвесят все это на весах народного волеизъявления. И если обнаружится, что новые лидеры слишком увлеклись, слишком уж отклонились от некоего незримого, но всеми признаваемого эталона, произойдет новая «смена караула». Общество уверено в себе, в своих внутренних силах и потенциях. Если что и способно помешать ему, то только опасность извне. Весь послевоенный период эта опасность в Швеции, как, впрочем, и в других странах Западной Европы, связывалась с Советским Союзом. Отсюда и такой рывок навстречу нам с началом перестройки. Надежды впереди с опасениями, ожидания, сменяющиеся тревогами... Паническое настроение в дни путча — неужели все опять по-старому, и вслеск эйфории, когда путч был разгромлен. И снова — напряженный взгляд в нашу сторону — чего ожидать, как и чем помочь? И всеобщее оживление, что так быстро появилась возможность обсудить все это напрямую с представителем нового, послепутчевого руководства СССР. С человеком, которого здесь знают и которому, кажется, верят. Ну а гостя эта возможность поговорить — откровенно, без утайки — со старыми знакомыми, да что знакомыми — друзьями, воодушевляет, пожалуй, даже больше,

чем хозяев. Ну, а реальность твоего положения такова, что, с какой бы аудиторией ты ни беседовал, обращаешься, по сути дела, ко всему миру. Стало быть, стремишься к тому, чтобы речи твои были весомыми.

В правительственные кругах, в штаб-квартирах партий — а их все надо посетить, таков уж тут неписаный порядок, — разговор о ядерном разоружении, о СБСЕ, о правах человека и гуманитарной конференции в Москве, об отношениях с Прибалтикой после того, как она буквально две недели назад получила независимость, перспективы экономической реформы. Двусторонние вопросы, экономическое сотрудничество, гуманитарная помощь...

На пресс-конференции — опасность повторения путча, поведение послов, судьба КГБ. Тут, естественно, все, что я говорил и писал по этому поводу после своего вступления в должность министра, что успел уже сделать. Что ж, лучшей возможности объясниться, пожалуй, не найдешь. Во всяком случае отступать некуда, да и незачем. Тем более что и противная сторона, вот уж действительно противная, ведет себя по испытанному принципу: лучший вид обороны — наступление. Незадолго до моего отлета в Стокгольм в прессе появилось интервью с одним из отставных работников КГБ — генерал-майором Соломатиным. Естественно, оно было выдержано в духе времени. Интервьюируемый осуждал провокационную и самостоятельную деятельность этого почтенного ведомства в прошлом, выражал оптимизм в связи с планами перестройки его после путча. Критику свою сосредоточивал в основном на «внутреннем сыске», романтизировал «наших славных разведчиков за рубежом» — этакие Штирлицы Юлиана Семенова. Коснулся в этой связи и моих публичных заявлений и действий: мол, жест Панкина выглядит смело и благородно, на деле же это логика заурядного посла, для которого наличие разведчиков в посольстве — источник неприятностей и нарушения душевного покоя. Заявление Панкина, мягко говоря, свидетельство несердечных «взаимоотношений, которые сложились между послами и резидентами (спасибо, хоть отставной разведчик не поскучился на комплименты послам!). Запоздалая месть министра направлена не по адресу и выглядит как сведение задним числом счетов с КГБ».

— А не преувеличиваете ли вы, — спрашивает журналист, — потери в случае реализации плана Панкина?

— Любой профессионал скажет вам — эффективность разведки снизится процентов на 80, не меньше...

В другой публикации другой «экс-резидент», так назвала

его предоставившая ему слово газета, тоже разводил руками, предварительно горько посетовав, разумеется, относительно грехов и преступлений его бывшей конторы: «Министр иностранных дел объявил о том, что внешней разведке отказано в возможности пользоваться дипломатическим прикрытием. Подобные декларации, да еще на таком уровне, не поддаются осмыслинию. По существу, действия Бориса Панкина направлены на развал разведки».

Удивительное, кстати, дело, сколько появилось этих разговорчивых «экс-резидентов» после путча. Что-то не видно и не слышно их было, когда с единственного по тем временам смельчака Калугина сдирали погоны и награды.

Журналисты в Стокгольме не упустили, естественно, случая спросить меня об этих интервью и весьма сочувственно реагировали на эту мою реплику.

— Как бы то ни было, — продолжал я, — мы сами того, быть может, не замечая, живем уже в другую эпоху. Ведь как много полезной информации содержится даже в этих двух выпадах. Сколько раз, бывало, в этом самом здании министерства иностранных дел в ответ на заявления о высылке очередной группы сотрудников посольства я, каюсь, не колеблясь, заявлял, что советские дипломаты недозволенной деятельностью не занимаются. Такова была сверхсекретная инструкция, нарушение которой рассматривалось как уголовное преступление. А теперь вот от самих этих бывших, защищающих честь мундира, слышим и о «крыше», и о резидентах. Тайное стало явным.

В принципе же моя позиция ясна и проста. Сама по себе разведывательная деятельность, увы, существует еще в нашем несовершенном мире, она общепризнана. И заявлений о прекращении ее в одностороннем порядке пока не слышно. Вопрос, и не праздный, значит, пока лишь в том, в каких масштабах она ведется, какими методами и действительно ли служит безопасности страны...

Я понимал, насколько щепетильна, чувствительна была тема, на которую я взялся рассуждать, особенно в такой аудитории, какими пластами предубеждений, предрассудков, ложных приоритетов и самолюбий окутана сама эта деятельность. Тут как по минному полю — один неверный шаг, и не узнаешь даже, чья это была мина, на которой ты подорвался, своя или чужая.

Редкий случай — то, что появилось на следующий день и позднее в средствах массовой информации, не заставило меня пожалеть о своей «откровенности и открытости», которую отметила и пресса.

Журналисты, хотя их призвание — поиск сенсаций, не пошли по следам бывших кегебешников. Выводы, которые они сделали в отношении позиции МИДа, основываясь на сказанном мною, сводились к следующему: число служащих КГБ, составляющее ныне вместе с сотрудниками ГРУ не менее половины всего штатного состава дипломатов, будет радикально сокращено, не меньше чем наполовину. Вся разведывательная деятельность будет протекать в рамках международно-правовых норм и внутреннего законодательства, которое, правда, предстоит еще разработать. На этот счет у Панкина с Бакатиным и Шапошниковым — полное понимание. Что же касается «слежки за своими», то она уже прекращена, а рецидивы и любительские упражнения будут пресекаться, да и наказываться самым решительным образом.

Выступая в Стокгольме на пресс-конференции, министр иностранных дел СССР Борис Панкин заявил, — сообщало нью-йоркское «Новое русское слово», — что в управлении кадрами советского МИДа не осталось более сотрудников КГБ, а число агентов этого комитета в советских посольствах будет сокращено до минимума, обеспечивающего интересы национальной безопасности».

Совсем по-другому откликнулись на все это некоторые мои бывшие сослуживцы в Стокгольме, если применим тут этот термин. Два месяца спустя, когда я уже собирался в Лондон, «Известия» сообщили: «Такого еще не бывало в нашей драматической истории. В Швеции, судя по сообщениям местной прессы, готовится массовый побег сотрудников бывшего КГБ, которые до сих пор трудятся в советском посольстве в Стокгольме». «Если им будет предоставлено политическое убежище или хотя бы вид на жительство, то они сбегут из посольства и раскроют все, что им известно о советской секретной службе и ее деятельности, в частности, в Швеции», — утверждала шведская радиопрограмма «Эхо дня», ссылаясь в свою очередь на источники из Главного полицейского управления Швеции.

Естественно, следовали опровержения со стороны нынешнего руководства той ветви бывшего КГБ, которая ведает разведкой, то бишь шпионажем. И теперь уж не проверишь, были на самом деле такие намерения или нет, тем более что предание гласности этой предполагаемой акции сделало ее осуществление невозможным. Я во всяком случае, догадываясь, о ком идет речь, не удивился бы, узнав, что появилась новая когорта беглецов, которые наверняка тут же принялись бы яростно разоблачать свою «альма-матер». Как бы то ни было, лжедипломатов в нашем посольстве в Швеции за по-

следние месяцы сильно поубавилось в связи с их «возвращением на Родину по завершении служебной командировки».

Третий акт этой трагикомедии, вернее, фарса, о котором я хочу теперь рассказать, случился еще два месяца спустя, в конце января 1992 года. Когда Геннадий Бурбулис, теперь уже в роли первого заместителя председателя российского правительства, отправился в поездку по странам Скандинавии, в составе его делегации на правах помощника оказался человек, который лишь за год до этого был выдворен из Швеции за «недозволенную деятельность». Расчет был прост, и он в известной степени оправдался — власти постесняются отказать в визе члену делегации столь высокого лица. А там, «легализовавшись», можно будет и снова вернуться на работу в эту страну. Не пропадать же добросовестно выученному шведскому. Старый, хорошо известный почерк: вообще-то, мол, мы — на страже государственных интересов. Но когда на карте собственная карьера, тут все побоку. И все средства хороши. Но то, что проглотили шведские и финские власти, не переварило общественное мнение. Шум, поднятый в прессе, заставил незадачливого путешественника распрощаться с главой делегации на финско-шведской границе.

Что ж, логика его поведения — во имя спасения собственной шкуры все средства хороши — мало чем отличается от фортеля, который еще тремя месяцами позднее выкинул его коллега в Бельгии — формально дипломатический сотрудник российского посольства. Об этом шумела вся мировая пресса. Отдавшись бельгийским властям, он выдал им и всю завербованную здесь за долгие годы агентурную сеть. Не приходить же с пустыми руками. В результате пять сотрудников российских представительств в Брюсселе были высланы и пять бельгийцев — три бизнесмена, один журналист и один служащий — арестованы. Девять других — допрошены. Типичная работоговля: сначала их приобретают (вербуют), потом за ненадобностью повыгоднее продают.

Я должен признаться, что за месяцы, прошедшие с того моего визита в Стокгольм и той пресс-конференции, когда, отвечая на вопросы журналистов, я как бы подытожил свои взгляды на разведку, они, эти взгляды, претерпели изменения и стали куда более радикальными. И тут я хочу говорить уже не только о КГБ, хотя, несомненно, именно его имею в виду в первую очередь.

Если мы уж и вынуждены констатировать, что разведка — нечто общепризнанное в мире, то давайте признаем, что это — признанное зло. Институт зла, пусть корни его и ухо-

дят в глубину веков. В мире, где провозглашено и работает новое мышление, в мире, где страны, подобно нашей, одна за другой признают приоритет общечеловеческих ценностей, суверенитет личности, где Россия и Соединенные Штаты от отношений вражды и стратегически-ядерного соперничества переходят к отношениям партнерства и даже союзничества, в мире, где страны, принадлежавшие еще недавно противостоящим блокам, дружно закапывают томагавк «холодной войны» вместо того, чтобы закапывать друг друга, как Хрущев грозил даже в эпоху «оттепели», в этом мире я не вижу места такой разведке, то есть попросту — подслушиванию и подглядыванию друг за другом. Если бы только это!

Чтобы не ходить далеко за примерами, возьмем ту же бельгийскую историю, которая еще свежа в памяти. Оставим на минуту в стороне государственные интересы. Возьмем судьбы людей. Я не случайно назвал это работорговлей. Сначала людей вербовали, насилия их дух, волю, шантажируя, подлавливая на чем-то — о шпионаже по идейным соображениям в наши дни просто смехотворно было бы и думать — коверкали их жизнь, жизнь их семей и близких, а потом продали, предали, выбросили на свалку, как выбрасывают изношенную перчатку. И это — всего-навсего капля в море. Не об этом ли говорим мы как об общепризнанной деятельности? Но чем, собственно, отличается она от преступлений мафии или банальных воровских шаек? От выкрадывания детей и захвата заложников?

А теперь возьмем государственные интересы. Фарс с перебежками, агентами, вербовкой и предательством, разыгранный доблестным российским разведчиком, доставшимся России по наследству от КГБ СССР, разворачивается в Брюсселе, столице НАТО и Европейского сообщества, где как раз в этот момент Президент Буш и канцлер Коль объявляют о выработанном вместе с «группой семи» пакете массированного экономического содействия нам объемом для начала в 24 миллиарда долларов, и делают это как в наших, так и в своих собственных интересах. А в это время шныряющие, подслушивающие и швыряющиеся последними народными деньгами пинкertonы и штирицы устраивают под видом заботы о национальных интересах свои делишки. И ставят под сомнение добрую волю России к сотрудничеству. «Мы верили, по-видимому, наивно,— заявил по этому случаю министр иностранных дел Бельгии Вили Клас, с которым мне тоже довелось не раз встречаться,— что от некоторых видов деятельности, к которым прибегал прежний режим, отказались. Теперь же у меня сложилось впечатление, что нынеш-

ний режим не контролирует эти органы». Он еще деликатен, мой бывший коллега, говорит не вообще об отказе от шпионажа, а хотя бы от некоторых, видимо, особо опасных его форм и методов, дает возможность властям отмежеваться от незаконной и провокационной деятельности своих спецслужб.

Время от времени слышишь или читаешь, что тут или там произошли официальные встречи и переговоры экспертов и руководителей разведорганов стран, некогда противостоявших друг другу. И это звучит позитивно. Но кто знает, о чем они там договариваются? Какой интернационал создают? Нет, если уж и вести многосторонние переговоры о деятельности разведки, то на уровне государственного руководства, чтобы на международном уровне, объединенными усилиями и поставить ей пределы, если уж нельзя сегодня, одновременно и во всех странах, прекратить ее деятельность. Ограничительные меры, меры доверия, которые поставили бы всю эту сферу под международный контроль, кодекс разведчика, если хотите,— все это не менее необходимо, чем разоружение, и имеет прямое отношение к правам человека. Не случайно в документе Московской конференции по человеческому измерению СБСЕ фигурируют положения об «открытом небе» и «открытой суше», которые понемногу уже начинают реализовываться. Согласитесь, что самолет-шпион, тайно вторгающийся на территорию зарубежного государства,— это одно, а использование на международно-правовой основе права «открытого неба» — это совсем другое. Чем меньше и на суше будет «закрытых» объектов и районов, тем меньше будет поводов содержать спецслужбы для шпионажа за ними.

Остается лишь добавить, что из всех видов разведки самой неприемлемой представляется мне — пожалуйста, зовите меня заурядным послом — та, что осуществляется под прикрытием посольств и иных дипломатических учреждений. Так называемые нелегалы и завербованные агенты хоть рискуют, собственно, всем рискуют, а эти — увенчанные дипломатическими рангами, вооруженные всей современной техникой, разъезжающие на машинах с дипломатическим номером, исполняющие поручения посла, чем они рискуют? В той же Бельгии — бельгийцев арестовали и будут судить. Разведчиков в обличье дипломата, на которых указал предатель, всего лишь выслали из страны — у них дипломатический иммунитет. Ну а самого предателя бельгийские власти, видимо, достойным образом наградят. Беспрогрызный вариант. И не случайно он прельщает такое огромное число

карьеристов, приспособленцев, банальных любителей сладкой жизни, которые теперь один за другим и выявляют себя.

Обрело же международное сообщество мужество и мудрость повести дело к радикальному и в конечном счете полному уничтожению ядерного оружия и других средств массового уничтожения. Даже государственный терроризм предали анафеме. Не настало ли время занести в этот разряд и «дипломатию плаща и кинжала»?

...Моя пресс-конференция в Стокгольме проходила теплым сентябрьским деньком. Почему же, спрашивая себя до сих пор, я те дни чувствовал себя чем-то вроде рождественского Санта-Клауса, только для взрослых. Ведь никакого мешка с подарками я с собой не привез. А если и была у меня, образно говоря, сумма, то не для гостинцев, а, наоборот, для просьб о гуманитарной помощи, о льготных кредитах, о гарантиях под возможные инвестиции...

Сегодня мне легче ответить на этот вопрос, чем тогда: я приехал с добрыми намерениями, с твердой решимостью поставить вместе со шведами точку в целом ряде сложных, запутанных и больных проблем, которые до сих пор служат камнем преткновения в наших двусторонних отношениях. И можно уже сказать, что во многом мне это удалось.

Самый больной вопрос — судьба Рауля Валленберга.

После двенадцати лет отрицания какой бы то ни было причастности к этому имени, советская сторона потом три с лишним десятилетия, основываясь на переданной в 1957 году ноте, твердила, что заключенный Рауль Валленберг, арестованный в январе 1945 года в Будапеште и препровожденный в Москву, незаконно содержался на Лубянке, где и скончался 17 июля 1947 года, предположительно от инфаркта миокарда. О чем начальник санитарной службы полковник Смольцов доложил своему страшному и всесильному шефу — главе госбезопасности Абакумову, позднее расстрелянному вместе с Берией, в том числе и за Валленберга. И все эти годы комитет, носящий имя этого героя и страдальца, спасшего в Будапеште десятки тысяч евреев от гитлеровских печей и душегубок, отказывался верить этим нашим заявлениям, не мог расстаться с мыслью, что Валленберг, возможно, еще жив и продолжает томиться в ГУЛАГе.

На одном из традиционных обедов, устраиваемых королем Швеции для дипкорпуса, ко мне и моей жене подошла сводная сестра Рауля, Нина Лагергрен. «Господин посол,— сказала она,— спасите Рауля, откройте правду о нем, и Бог благославит вас. Вы войдете этим в историю».

Я не верил тому, что Рауль Валленберг мог оставаться живым столько лет в условиях советских тюрем и лагерей. Но я прекрасно понимал, как важно для его родных и близких, для комитета, в который входила и Нина Лагергрен, узнать все, что только можно о его судьбе, обстоятельствах его мучительной жизни после ареста.

С просьбами по этому поводу ко мне как к послу обращались и по официальной линии, в том числе и Улоф Пальме. Я в свою очередь бомбардировал телеграммами центр. Но только тогда, когда вовсю уже раскрутился маховик перестройки и к приезжавшему в Стокгольм Рыжкову обратился преемник Пальме Ингвар Карлссон, удалось организовать поездку в Москву Нины Лагергрен, сводного брата Рауля Ги Дарделя и Сони Соннерфельдт, ответственного секретаря комитета.

Я не узнал их в тот день, когда они пришли ко мне в посольство, предупрежденные заранее, о чем пойдет речь. Лица сияли. Они как будто бы родились заново. Весть об их предстоящей поездке облетела весь мир. Перестройка коснулась-таки крылом и этой, горькой и постыдной для нас, страницы советско-шведских отношений. Когда они вернулись, мы встретились в крошечном помещении комитета. Это был знак доверия. Нина Лагергрен варила непременный кофе, Соня рассказывала. Во время бесед в МИДе и в КГБ им передали некоторые документы и личные вещи Рауля. Ничего нового им эти документы не сказали. Наоборот, они как бы подтверждали официальную советскую версию. Но дороги были сами эти вещи и свидетельства, записная книжка, бумажник, несколько денежных купюр, удостоверения, которые поведали им о страшных днях их брата и подвижника.

За первой последовала вторая, третья поездка. Их пустили на Лубянку в архивы Владимирской, потом Лефортовской тюрьмы, где, по туманным воспоминаниям некоторых бывших узников, встречали Рауля...

Со смешанными чувствами внимал я рассказам неутомимых путешественников, каждому из которых ведь было уже за семьдесят. Радовался вместе с ними каждой их находке, но и мучился подозрениями насчет того, что правды, какая бы она ни была, все равно им не скажут...

И вот теперь, что я привез в Стокгольм теперь? Только твердую договоренность с Бакатиным, что будет разыскано все, что только можно разыскать, и открыто сказано все, что станет известно о судьбе Валленберга. Ну и сообщение о том, что историко-архивному управлению МИДа я дал

указание найти и предъявить все, что есть по этому поводу в МИДе.

Но, видно, что-то в воздухе тех дней было такое, что побуждало собравшихся на пресс-конференцию журналистов чуть ли не аплодисментами встречать каждое мое сообщение.

Вот и о судьбе ДС-3, шведского разведывательного самолета, исчезнувшего в 1952 году где-то над водами Балтийского моря. Без малого сорок лет шведы утверждают, что самолет был сбит советскими противовоздушными силами на Балтике над международными водами, и ровно столько же лет мы твердили, что знать об этом ничего не знаем.

Теперь я лишь сказал, что и по этому поводу успел только договориться с новым нашим министром обороны Евгением Ивановичем Шапошниковым. Все, что можно будет найти, заверил он меня, будет найдено. Все, что будет найдено, обнародуем.

Ну и, наконец, злополучные подводные лодки. Были нарушения, которые, по данным шведских военных, продолжались чуть ли не до самого путча, или нет? Тут я им просто выложил как на духу, словно чувствовал, что другой, столь благоприятной возможности исповедоваться у меня уже не будет: «Да, в течение всех семи с половиной лет, что я проработал здесь послом, я внимательно выслушивал протесты, заявления, сетования шведской стороны и исправно направлял их в Москву. Так же исправно передавал я ее ответы: никаких нарушений советскими подводными лодками шведских территориальных вод не было и нет, кроме одного хорошо всем известного случая в ноябре 1981 года, когда старенькая, с дизельным двигателем подводная лодка, у которой испортились навигационные приборы, села на мель недалеку от военно-морской базы Швеции в Карлскунне. С тех пор под страхом уголовного наказания подводным лодкам заказано подходить к границе шведских территориальных вод ближе чем на 12 миль.

Передавая эти ответы, отвечая на многочисленные вопросы прессы и телевидения, я свято верил в то, что говорил, ибо никто ни в СССР, ни в Швеции не мог назвать мне более или менее резонного повода для таких нарушений. К тому же, если наши военные и считали бы из каких-то высших соображений национальной безопасности возможным лгать шведской стороне, должны же они были все-таки сказать правду послу своей страны?! Уверенность эта лишь окрепла с началом перестройки.

Позднее моя работа послом в Чехо-Словакии, где пришлось заниматься выводом советских войск из этой страны,

а особенно события путча и участие в нем руководителей тех самых ведомств, которые имели непосредственное отношение к подводным лодкам, да и вообще ко всем тем вопросам, которые сегодня интересуют и прессу, и политиков, побудили меня по-иному взглянуть на все это.

Закончил же я свою тираду словами, которые привели в такое изумление корреспондента «Известий», что он посчитал необходимым привести их в газете дважды — сразу после пресс-конференции и почти три месяца спустя, когда ему пришлось назвать меня уже бывшим министром: «Не могу исключить, что люди, оказавшиеся во главе путча, могли и ранее что-то утаивать от руководства страны».

Судя по отчетам, и американская «Крисчиан сайнс монитор» посчитала эти мои слова вполне, как мне казалось, естественные в той новой, рожденной разгромом путча атмосфере, которую я и стремился поддерживать своей откровенностью, чем-то из ряда вон выходящим: «Б. Панкин озадачил аудиторию, сообщив, что как дипломатическая служба, так и кремлевские руководители, возможно, были дезинформированы в вопросе о том, проникали ли действительно советские подводные лодки в течение последних десяти лет в шведские территориальные воды».

Для меня это был час истины. И аудитория это хорошо понимала.

Ну а на вопрос, не разочаровался ли я в «шведской модели» после того, как социал-демократы уступили на выборах буржуазной оппозиции, я тогда сказал гораздо меньше, чем у меня было на душе, — в те подаренные мне судьбой два дня в Стокгольме. Неудобно же объясняться вслух. Даже если предмет твоей любви не какая-нибудь красивая герл, а целый народ. О шведской модели я хотел бы говорить без кавычек. И быть может, заменить слово «модель» на «образ жизни». Ведь небольшой по численности народ этой страны, территория которой — третья в Европе после Франции и Испании, поистине сотворил чудо. И мне так хотелось все те годы, что я там работал, чтобы моя страна прикоснулась, приобщилась бы к этому чуду, отпила из этого источника.

Сегодня необходимость этого я ощущаю еще острее. Все то, что мы не умеем или разучились за последние семьдесят лет, здесь умеют. Надменные, согласно историческому клише, шведы, нашли, мне кажется, то золотое сечение, гдеуважение к себе и забота о своих личных интересах соединяется с заботой о соседе, ближнем и дальнем. Императив, ставший здесь одновременно и моральной заповедью, и юридической

нормой. Закон для шведа как компас, как лоция в бурном житейском море. И когда накатывает «девятый вал» — будь то споры промышленников с профсоюзами, журналистов с издателями, фермеров с министерством сельского хозяйства или внешней торговли или налоговым управлением,— только закон подсказывает самое разумное, всех устраивающее, а значит, и самое гуманное решение.

Шведы — законники до кончиков ногтей. Не потому ли они так остро и реагировали на все в нашем политическом и житейском обиходе, что противоречит этой их гражданской религии. Не потому ли так охотно шагнули навстречу нам, когда и наш кодекс гражданственности стал меняться.

Так случилось, что одной из последних моих акций на посту министра иностранных дел была передача послу Швеции в Москве, давнему и добром моему другу, документов из мидовского архива, всего, что относится к судьбе Рауля Валленберга. Это было выполнение обещания, данного во время визита в Стокгольм.

Встреча была назначена с участием прессы. Но как раз за час до ее начала я вернулся от Горбачева... Не объясняя послу причин, я тем не менее предложил встретиться в более узком кругу. Неудобно будет, если телесюжеты об этой встрече появятся одновременно с сообщениями об изменениях в руководстве МИДа. Потом, когда все стало ясно, Бернер согласился с моими резонами. Да и разговор в конечном счете получился более интимным, что ли, больше отвечал чрезвычайности момента. Волнение овладело нами, когда документы один за другим переходили из моих рук в руки послы. Он сказал, что уже в ближайшие дни их изучением в Швеции займется специальная комиссия, после чего будет сделано заявление в парламенте.

Так все и произошло. Переданные шведам документы представляли собой в основном переписку между Молотовым и Абакумовым, МИДом и Министерством государственной безопасности. Из них становилось ясно, что «вопрос Валленберга» в 1947 году становился для правящей верхушки, вплоть до Сталина, «горячей картошкой в голых руках», по выражению одного из сановных преступников. Если признать, что Валленберг в Москве, значит, надо объяснить, почему арестовали гражданина нейтральной стороны, антифашиста, спасителя десятков тысяч жизней. И больше того — почему столько времени незаконно задерживали, почему обманывали правительства стран-союзников, мировую общественность. Этого Сталин допустить, конечно, не мог. Ну а способов решать такие «вопросы» ему было не занимать.

Недаром в ходу у него была поговорка: человек — это всегда проблема, нет человека — нет проблемы. Молотов, тогдашний министр иностранных дел, был из самых понятливых его соратников. Нет, в переписке, которую я передал послу, не было ни приговора, ни тем более документальных свидетельств о приведении его в исполнение. Но они не оставляют сомнений ни в том, что такое указание было дано, ни в том, тем более, что Рауля Валленберга нет на этом свете. По крайней мере в этом советская сторона не солгала, когда в 1957 году, по указанию Хрущева, в ответ на непосредственно к нему обращенную просьбу Таге Эрландера передала ноту о смерти «заключенного внутренней лубянской тюрьмы Р. Валленберга», наступившей 17 июля 1947 года, — за десять лет до того, как это было впервые признано. Только вот погиб он не от инфаркта, как докладывал тюремный лекарь Абакумову, а, по всей вероятности, от пули в затылок.

Я не видел с тех пор ни Нины, ни Сони, ни Дарделя, ни Пера Ангера, который был вместе с Валленбергом в Будапеште, но могу себе представить, каково им было узнать обо всем этом. Поиски Рауля были смыслом их жизни. Теперь они приобретали еще более печальное направление. Бесполезно искать его среди живых. Остается дознаться-таки до обстоятельств его мученической смерти.

Да, пухлая папка документов, переданная мною 20 ноября 1991 года шведскому послу в Москве Бернеру, быть может, не так уж и много прибавляет к известному уже о судьбе Валленберга, но как много она говорит, что говорит — кричит, вопиет о тех, кто были его палачами. Кто мучал и в конечном счете казнил его — пулей или просто пыткой содержания в тюрьме без предъявления обвинений, без связи с внешним миром, без каких-либо надежд на будущее...

В трагедиях Шекспира нет того ужаса, которым веет от этой переписки — в кондово-бюрократическом стиле. «Блаженны нищие духом, — сказано в Евангелии, — ибо не ведают, что творят». Порою кажется, что слова эти можно отнести и к авторам переданных документов. Настолько очевидным становится, что у них нет ни малейшего понятия о таких извечных нравственных категориях, как честь, совесть, жальство, искренность, сострадание... Читаешь бумаги и видишь — судьба человека поистине не дороже и не существеннее зажженной шведской спички в руках этих изъясняющихся таким удручающе казенным языком деятелей, имена которых между тем известны всему миру, — Молотов, Вышинский, Серов, Абакумов... Быть может, эта казенщина и есть самое неопровергнутое доказательство их полной и со-

вершенной в своем роде бесчеловечности. Молотову ли задумываться о судьбе какого-то там шведа, невзначай арестованного, а потом из-за бюрократических проволочек задержанного дольше положенного, если он собственной жене, когда ее «забирали», объяснял: Сталин считает, что так надо, что это правильно, если она будет сидеть в тюрьме.

Хотя в переписке нет ни строки, написанной рукой Рауля Валленберга, читая ее, не можешь освободиться от мысли о том, с какой же бурей в груди жил он все эти годы, каким могло быть его состояние в Будапеште, когда он поехал навстречу долгожданным советским воинам-освободителям и оказался в тюрьме, чтобы пройти тот самый смертный путь, от которого он избавил десятки тысяч евреев.

Александра Коллонтай, которую только почетная ссылка на пятнадцать лет послом в Швецию и уберегла от сталинского произвола, стала, по сути, еще одной жертвой «дела Валленберга». В феврале по поручению Центра она сказала матери Рауля, госпоже фон Дардель, что ее сын жив, здоров, взят под охрану и находится под покровительством Советского Союза. А через несколько месяцев по поручению того же Центра уже совсем накануне своего окончательного отъезда из Стокгольма, была вынуждена повторять, что «советская сторона» слыхом не слыхивала, знать не знает ни о каком Валленберге. И то же самое она твердила потом в Москве, до самой своей смерти в 1952 году, отвечая на многочисленные обращения к ней прессы и письма простых шведов: «Относительно Рауля Валленберга мне нечего добавить к сообщениям, которые были даны шведскому министерству иностранных дел из официальных источников в Москве». Александра Михайловна Коллонтай, женщина-легенда, которую до сих пор вспоминают в Швеции...

А вот и голос палача, работавшего тогда заместителем министра иностранных дел СССР, Андрея Януариевича Вышинского, того самого. Ссылаясь на «шумиху», поднятую в прессе Швеции, а также на нажим со стороны мирового общественного мнения, он просит в письме Абакумову, датированном 7 июля 1947 года, сообщить, что ему известно о Валленберге после того, как тот был арестован в Будапеште. И как бы уже подсказывая выход, пишет, что для ответа важно было бы знать, где помещался Валленберг, когда был «зят под охрану» в Будапеште, и были ли тогда и там бои или бомбардировки... 22 июля того же года Вышинский просит Абакумова ускорить ответ на его письмо от 7 июля — очень уж поджимают шведы да и та же мировая общественность. А между тем на письме пометка от руки, датирован-

ная тем же 22 июля, из которой явствует, что Абакумов еще 17 июля дал ответ личным письмом на имя Молотова. 17 июля, согласно записке Смольцова, — день гибели Рауля Валленберга и его, Смольцова, доклада об этом Абакумову. Вот как быстро все было сделано.

И уже 9 августа того же года Вышинский представляет Молотову на утверждение проект своего официального ответа посланнику Швеции в Москве. В утвержденном виде это письмо гласит, что сведения о контактах советских военных с Валленбергом 17 января 1945 года действительно поступали и шведской стороне передавались, но проверить их сейчас невозможно. Дальнейшие поиски к положительному результатам не привели. К тому же следует учитывать, что, если контакты такие и имели место, время было беспокойное, «могли иметь место всякого рода случайности — самовольный уход Валленберга из расположения советских войск, налет вражеской авиации, гибель от вражеского обстрела и т. п.».

Учитывая, что рапорт военврача Смольцова о смерти Валленберга 17 июля того же 1947 года «предположительно от инфаркта миокарда», уже лежал на всех столах, возможно, и сталинском — шведы знали, что и Сталину докладывали по поводу Валленберга, — остается предположить, что намек Вышинского в его письме Абакумову был понят правильно, если он, конечно, нуждался в подсказках и если автором подсказки не был сам Stalin.

Такие «сюжеты», от которых волосы встают дыбом, были в переданной мною шведскому послу переписке на каждом шагу. Одно преступление тянуло за собой другое, одна ложь — следующую. А послы советские все шли и шли в министерство иностранных дел Швеции. И при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Андропове, который в Генсеки пришел прямо из КГБ, и при Горбачеве... Вот и торопился я, словно чувствуя, что времени мне отпущено немного, успеть сделать то, что от меня зависит. «Сделай, что можешь, большего никому не дано», — любил повторять учитель Колдуэлл — герой любимого мною «Кентавра» Джона Апдейка.

Еще до того, как я передал послу папку с «Делом Рауля Валленберга», пришла весть из Министерства обороны СССР. «Нашлись», когда искали как следует, по моей просьбе и указанию маршала Шапошникова, документы и о судьбе ДС-3. Все было так, как и утверждали шведы. Самолет, действительно, был сбит войсками ПВО над нейтральными водами Балтики. Судьба членов экипажа — неизвестна, дру-

гими словами, все они погибли. Что тут можно предположить? Еще одно трагическое свидетельство грубого, беспардонного вмешательства в дела соседней мирной страны. Еще одно преступление, тщательно скрываемое сначала самими преступниками и их вдохновителями, потом по инерции их преемниками.

...В Средней Швеции уже несколько лет существует огромная страна развлечений для детей, которая так и называется «Страна лета», «Соммарланд». Среди ее экспонатов — различных американских горок, мертвых петель, каруселей — подводная лодка У-137 — нарушитель. Плавает себе у берега озера, а по мостикам, переброшенным с берега на ее борт, тянутся взрослые и дети. Та это или не та лодка — сказать теперь уже, наверное, трудно. Хозяин «страны развлечений» купил ее в Нидерландах, куда ее продали наши внешнеторговые организации. Подводная лодка в виде аттракциона для детей — не так уж и плохо.

Приходится пока ждать исчерпывающей информации по поводу других предполагаемых «вольностей» наших подводных лодок. Тут, насколько я знаю, с нашей стороны, теперь уже не советской, а российской, ничего нового заявлено пока не было. Сами нарушения, правда, истинные или воображаемые, по словам шведских моряков, прекратились. Время покажет, о чем это говорит. Российско-шведская комиссия продолжает работать.

Естественно, что не только расследованиями этих печальных историй отмечено наше сегодняшнее сотрудничество со Швецией. «Шведская модель» продолжает интересовать архитекторов нашей экономической реформы. Ученый-экономист Андерс Ослунд, непременный участник всех заседаний нашего «круглого стола», теперь один из главных иностранных советников российского правительства. Не могу не припомнить, что года четыре тому назад, когда я впервые пригласил его в посольство, Ослунд был только что «выдворен» из СССР по требованию спецслужб.

Своебразным эхом моей последней поездки стали письма из Швеции. Автора одного из них представлять не надо — великая Астрид Линдгрен. Адресовано оно моей жене, с которой писательница знакома много лет. Постеснявшись, как она сама выразилась, обратиться к «наверняка сверх занятому министру», Астрид просила Валентину «рассказать Борису, что все мы, шведы, думаем сейчас о совершенно новом Советском Союзе». Были там и слова обо мне, высокие и добрые, но приводить их здесь я считаю неудобным. Еще одно письмо, с другого полюса известности. Оно помечено

концом октября и пришло ко мне в Мадрид, где я находился на конференции по Ближнему Востоку: «Дорогой Борис! Спасибо тебе за твою любовь к Швеции. И пожалуйста, окажи Карлу Бильдту всю необходимую помощь, чтобы отношения между моей страной и твоей были бы самыми лучшими. Если у тебя есть сила очистить Балтику от экологических загрязнений и подводных лодок, я благословляю тебя на это». Этим письмом человека, чье имя оказалось незнакомым для меня, я и хочу закончить рассказ о первой части своего «сентimentального путешествия». Второй частью его стала Чехо-Словакия. Между ними — почти три недели в Нью-Йорке. О них — позже.

## 2. ПРАГА: ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ СТАНОВИТСЯ БУДУЩИМ

...Да, вот и Прага, которую пришлось нам стремительно покинуть — почти день в день — месяц назад и по которой я теперь еду — из аэропорта в Пражский Град в сопровождении эскорта мотоциклистов, под неистовое завывание полицейских сирен. И не в числе «сопровождающих лиц», а «высоким гостем».

Тринадцать месяцев назад, в интервью журналу «Новое время», очередной номер которого был помечен 17 августа 1990 года, то есть за четыре дня до постыдной годовщины введения войск в Чехословакию, я говорил, что «свою миссию посла рассматриваю как искупление вины — своей собственной и своего государства».

Мне и в голову не могло прийти тогда, что некоторые предварительные итоги доведется подвести так скоро, в такой торжественной обстановке. Что ни говори, а теплота и известная пышность встречи, не предписываемая протоколом рабочего визита, свидетельствовали о чем-то большем, нежели об идеальной официальной вежливости. Беседа с Иржи Динстбиrom, начавшаяся сразу же по прилете, подтвердила, что к сбору политического урожая в эти позднесентябрьские дни готовится не только гость, но и хозяева. На столе у министра лежал проект договора, который назавтра нам предстояло с ним парафировать. Я вынул из папки свой экземпляр — на русском. Мы понимающие посмотрели друг на друга.

- Есть еще замечания?
- Нет. А у тебя?
- Тоже нет.

Значит, открыт путь и к подписанию документа, к визиту Горбачева в Прагу. Эту новость — готовность советского лидера совершить официальный визит в Чехо-Словакию — следовало бы поберечь до встречи с Президентом, но я не в силах был удержаться. Слишком многое стояло за этим долгожданным решением и для Гавела, и для Иржи Динстбира, и для меня.

В тот день, 27 февраля 1990 года, когда в Москве Горбачевым и Гавелом была подписана советско-чехословацкая Декларация, а ко мне в Стокгольм пошла телеграмма Эдуарда Шеварднадзе, казалось, в отношениях двух государств наступила новая эра — окончательно и бесповоротно. Осуждена была акция ввода войск Варшавского Договора 21 августа 1968 года в Чехословакию и достигнута договоренность о выводе до первого июня 1992 года Центральной группы войск.

«Если назначение послом в Чехо-Словакию состоится,— писал я Шеварднадзе в ответ на его предложение,— приложу все усилия, чтобы способствовать созданию новых, уникальных отношений дружбы и подлинного равенства между двумя нашими странами и народами. Отдаю себе отчет, что начинать здесь будет даже труднее, чем с чистого листа».

Как в воду глядел. Не знаю, есть ли более очевидный и наглядный пример тому, с какими невообразимыми препятствиями, даже в пору перестройки, пробивала себе дорогу тенденция здравомыслия, объективности, взаимного уважения. Предрассудки, предубеждения — и вековой давности, и только-только народившиеся — откровенный и скрытый саботаж с обеих сторон стояли на пути «нового мышления» и всех, кто считал себя его поборником.

С чего начать этот длинный перечень взаимных «бед и обид», который теперь, к моменту моей встречи с Иржи Динстбиrom в его рабочем кабинете в Чернинском дворце, подходил, кажется, к концу?

Может быть, с моего «хождения в Каноссу», каким был для меня весь день 21 августа 1990 года? Чехи и словаки впервые тогда открыто отмечали трагическую и для них, и для нас дату. Год назад столкновения в этот день между милиционерами и участниками многочисленных несанкционированных митингов и демонстраций ускорили процесс, который в ноябре привел к «нежной» революции. Теперь все происходившее было освящено ее декретами. Ождалась грандиозная демонстрация на легендарной Вацлавской площади. Выступление президента Гавела с балкона дома, где размещалась штаб-квартира объединившего победителей Гражданского форума.

Утром я пошел к тому месту, где в знак протesta против вторжения покончил жизнь самосожжением студент Карлового университета Ян Палах. Так же, как это делали тысячи жителей и гостей Праги, положил к памятному камню цветы. Именно положил, а не «возложил», потому что пришел один, без обычного для послов сопровождения и предварительного оповещения.

— Что вы хотите этим сказать? — спрашивали меня де-жутившие там круглосуточно журналисты ЧТК. — Это — официальная церемония или личный жест?

С первых дней своего приезда в Прагу я слышал подобные вопросы. Меня поразило, что так мало оказалось в Чехо-Словакии людей, которые готовы были поверить в искренность предпринимаемых нами шагов, нашу добрую волю. И то, и другое крыло — деятели и поборники новой

волны и апологеты старого режима — лелеяли свои собственные подозрения на этот счет.

Александр Дубчек пригласил на эти дни в Прагу тех семерых правозащитников, которые на следующий после «интернационалистской акции» день вышли на Красную площадь протестовать против вторжения. Все они тогда были арестованы и осуждены. Одни попали в ГУЛАГ, другие — в психушки.

Откликнуться на приглашение Дубчека смогли только пятеро. Делоне уже не было в живых. Дремлюга побывал в Праге раньше. Лариса Богораз и Константин Бабицкий (у каждого по несколько лет лагерей за плечами) приехали из Москвы, Виктор Файнберг, Павел Литвинов и Наталья Горбаневская — с Запада. Несколько лет назад они стали эмигрантами и потом были лишены советского гражданства. Теперь, в годовщину вторжения, на церемонии в магистрате их имена должны были вписать в книгу почетных граждан Праги. Приматор Праги пригласил на церемонию меня. Позднее, когда мы стали с ним большими друзьями, он признался, что сделал это с большой неохотой, по настоянию Дубчека, и был уверен, что я не приду.

Мое появление — тем более что, как и на Вацлавскую площадь, я пришел без предварительного уведомления и сопровождающих — ошеломило, я чувствовал, всех, кто меня узнавал. Протокол ратуши был сбит с толку и не знал, куда меня определить. Неприкрыто обрадовался мне, вызвав своей широкой улыбкой спазм в груди, Александр Дубчек. Он пришел вместе со своими гостями и тут же перезнакомил меня с членами этой великой семерки. Я пригласил их всех в посольство на завтра. Литвинов извинился, сказал, что будет уже в дороге. Остальные обещали быть. Правда, только я отошел в сторону, между ними начались дебаты. Как я и опасался, именно по поводу моего приглашения.

На следующий день с полчасовым опозданием пришли только Лариса Богораз и Бабицкий с женой и провели у меня час. Это были самые мучительные полтора часа моей жизни в Чехо-Словакии — и до, и после.

У меня в ту пору было мало союзников в посольстве. Никифоров и Квицинский не спешили с реализацией моих предложений. Вахту все еще нес доставшийся от предшественника, в прошлом первого секретаря дальневосточной партийной организации, боевой коллектив сторонников «нормализации», который теперь чувствовал себя ущемленным не только идеологически, что еще можно было бы пережить, но и практически. Кончилось то беспечальное житье, когда

самого младшего ранга дипломат чувствовал себя здесь в роли кота из песни Булата Окуджавы: «Каждый сам ему подносит и спасибо говорит». В одном маленьком «совсекретном» документе одной из комиссий, попавшем мне в руки, констатировалось, например, что подгулявший в гостях у «чешских товарищей» дипломат мог заметить к вящему ужасу остановивших его полицейских: «Наши танки здесь, а вы меня задерживаете».

Мои появления на Вацлавской площади и в ратуше не остались, разумеется, незамеченными. Кое-кто из «соседей» отважился даже на совет: «А стоит ли перед ними шапку ломать? Ведь они от этого только еще больше зарываются». Старая, хорошо знакомая еще по Стокгольму песня.

Теперь, я кожей это чувствовал, те же люди затаили дыхание: придут или не придут к послу его необычные гости?

Поначалу Богораз и Бабицкий держались так, словно опасались, что посещение посольства может закончиться для них хуже, чем выход на Красную площадь двадцать два августа назад. Я тоже был не в ударе. Когда обе стороны пришли в себя, Лариса извинилась за Горбаневскую — не пришла, потому что не является гражданкой СССР, а так надеялась, что к этому дню будет восстановлена в гражданстве. Я и сам ожидал этого, слал шифровки в Москву, но, увы, они, как и многое другое, только «вызывали раздражение» в МИДе, где Квицинский тщательно просеивал информацию, идущую от неугодных ему послов.

Расстались мы все же, мне кажется, добрыми друзьями, хотя случая увидеться еще раз с тех пор не представилось. В Москву пошли новые шифровки (шифровка — двигатель прогресса, штуки мы в своем кругу) — о восстановлении в гражданстве одних, о необходимости завершить юридически реабилитацию других, и просто — о нормальном человеческом внимании к людям, чья жизнь — чудовищная плата за подвиг — была исковеркана бывшим режимом.

На следующий день одна из новых газет, которые тогда в Праге росли, как грибы, опубликовала интервью с Файнбергом. Он не без иронии рассказывал, как был удивлен появлением в ратуше советского посла, который к тому же еще попытался с ним познакомиться. «Я пожал руку этому человеку, — писал он, — поскольку не сообразил, кто это был, а потом подошел и сказал, что беру обратно свое рукопожатие». Так оно действительно и случилось. Правда, в разговоре со мной он добавил, что дело не в личности. Он не хочет иметь ничего общего с государством, которое посол представ-

ляет. Нет худа без добра. После этой публикации я получил много писем из Чехии и Словакии, авторы которых высказывались в мою поддержку: покаяние не унижает, а возвышает человека. Только оно да еще доверие к нему способно растопить лед прошлого, залечить и ныне ноющие раны.

Следующий психологический кризис не заставил себя ждать. Я получил сообщение, что страны Восточной Европы, из которых выводятся наши войска, намерены посетить народные депутаты СССР — из комитета по вопросам обороны и безопасности. Я счел за благо организовать для них встречу с их коллегами — чехословацкими парламентариями, с прессой. Прибыли они прямо на военный аэродром Центральной группы войск и, прежде чем приехать в посольство, побывали в частях и подразделениях. У меня в кабинете, где предстояло через полчаса начать встречу с чехословацкими парламентариями и прессой, заместитель председателя комитета полковник Очиров заявил, что они поставят перед чехословацкой стороной вопрос о том, что вывод войск надо отложить годика этак на полтора. Шеварднадзе, мол, подписал соглашения, никого не спросив, а офицеры должны теперь страдать.

Я оцепенел. Сказать такое в чехословацкой аудитории, да еще журналистам — все равно, что факел поднести к цистерне с бензином. В радикальной прессе, с точки зрения которой и Дубcek-то всего лишь соглашатель, и так каждый день появлялись намеки на то, что в искренность русских верить нельзя, они вот-вот и приостановят вывод войск. Угроза нависла над всей с таким трудом выстраиваемой системой наших отношений на новой основе, которая подобно дому, построенному на юре, и без того содрогалась от бесконечных порывов ветра то с одной, то с другой стороны.

Я решил про себя, что будем обсуждать этот вопрос в советско-советском, так сказать, кругу до тех пор, пока не придем к согласию. Чехословацких депутатов и прессу придется попросить подождать.

Верховный Совет в ту пору был в зените своего могущества и влияния. Депутаты, проникшись недюжинным уважением к своим полномочиям, активно осваивали в дискуссиях приемы силовой борьбы. Каждый заботился о том, чтобы показать себя в выгодном свете. Нападки на политику «нового мышления» все больше входили в моду. Соблазн заручиться репутацией борца за интересы офицерства был и тогда уже почти непреодолим, тем более среди членов комитета по вопросам обороны. Кремлевские баталии перенеслись теперь в стены посольства.

Дискуссия длилась долго.

В конце концов положение спас командующий группой войск генерал-полковник Воробьев. Хотя кто, казалось бы, мог быть больше него заинтересован в отсрочке?

— Мы уже ставили этот вопрос перед чехословацкой стороной в неофициальном порядке, — сказал он в своей неторопливой, отчасти даже занудливой манере. — Говорили о том, что у нас имеется острая нехватка жилья, особенно для семей офицеров. И знаете, что они нам сказали? Мы вас понимаем, но когда вводили войска — около пятидесяти тысяч человек в течение нескольких дней, — вы думали о том, где вы их разместите? А теперь у вас — полтора года впереди.

На редкость простой и потому неотразимый довод этот, прозвучавший из уст правительенного уполномоченного по выводу войск, который к тому же, тут секрета не было, сам входил молодым капитаном в 1968 году в Чехо-Словакию, подействовал отрезвляюще. Что тут, действительно, можно было возразить? Я напомнил о том, что ведь обязательства в одностороннем порядке вывести значительное число наших войск из Восточной Европы мы взяли на себя в рамках Хельсинкского процесса еще задолго до того, как начались революционные процессы в этих странах. Так что потребность в жилье уже тогда была очевидна.

Разговор, таким образом, перешел в другую плоскость, и можно было уже приглашать журналистов и депутатов Национального собрания. Мы подтвердили чехословацкой стороне, что вывод войск будет продолжаться строго по графику и одновременно напомнили о предложении президента Вацлава Гавела помочь в обустройстве семьям офицеров, поставить в СССР на льготных условиях хорошо зарекомендовавшие себя сборные «чешские домики».

Остается добавить, что последовавшие за этой встречей длительные переговоры по поводу домиков были сорваны... Министерством обороны СССР, язовское руководство которого заявило на решающем этапе, что предпочитает не домики, а оборудование и строительные материалы. Когда же из министерства поступила так называемая спецификация, выяснилось, судя по набору заказанных материалов и предметов — вплоть до биде и узорчатой плитки, что волниют заказчиков отнюдь не офицерские, а генеральские семьи, которых в самой-то Центральной группе войск было раз, два и обчелся. Чертыхался вместе со мной по этому поводу и генерал Воробьев. Войска ушли к 1 июня 1991 года, а переговоры об имуществе и домиках все продолжались. Я как раз соби-

рался писать по этому поводу очередную злую шифровку, да грянул путч.

...Так было все эти месяцы. Казалось, наши отношения с Чехо-Словакией развивались по принципу «А мы просо... сеяли, а мы просо вытопчем, вытопчем...» Причем в роли сеятелей и топтунов выступали отнюдь не страны в целом... Сторонники как одного, так и другого вида активности находились по обе стороны границы.

Перед отъездом в Прагу в мае 1990 года я, побывав у министра, посетил естественно и обоих его заместителей. Ковалев, в силу наших долгих дружеских отношений, рискнул персонифицировать мою задачу: «Сейчас,— сказал он,— есть много любителей заявлять, что мы потеряли Восточную Европу, и связывают все это с именем Эдуарда Амвросиевича. Твоя задача, и, как я понимаю, это совпадает с твоими представлениями,— доказать, что это не так».

Что ж, коль скоро это действительно отвечало моим взглядам на логику наших отношений с миром, который мы все реже уже называли социалистическим содружеством, я не стал возражать и против персонификации. Каково же было мое удивление, когда в соседнем кабинете, от другого первого заместителя министра я услышал нечто противоположное. По его представлениям, Восточная Европа, посягнув на приоритетность отношений с Советским Союзом (читай отношений вассала и сюзерена), сама себя надолго, на целую историческую эпоху, отбрасывает на задворки Европы, обрекает себя на участь глухой провинции. И это говорил человек, который, в отличие от Ковалева, был только-только произведен в первые замы и к тому же «посажен» именно на Восточную Европу. Один из тех кадровых парадоксов перестройки, которым до самых последних ее дней не было числа.

Не стоило тогда затевать полемику с первым заместителем министра, коль скоро я только что получил инструкции от самого министра, но весь последующий период, вплоть до той самой коллегии, после которой Квицинскому ничего уже не оставалось, как подать мне заявление об отставке, наши отношения напоминали перетягивание каната. Боюсь, что с его стороны охотников тянуть было гораздо больше, да и весовая категория — повыше.

Как в дурном сне, мы начинали стесняться того, чем следовало бы гордиться — дали революционным событиям, реформистским процессам развиваться в соответствии с их внутренней логикой, отказались от пресловутой брежневской доктрины «ограниченного суверенитета», — и тут

же стали плакать о потере того, что нам не принадлежало.

Отказались от так называемого «переводного рубля» во внешнеэкономических отношениях со странами, на чью долю приходилось более шестидесяти процентов товарооборота, перевели все расчеты на конвертируемую валюту и, чтобы уж начисто закрыть все лазейки для проклятой централизации, запретили бартер как крамольную форму обмена, отличающую слаборазвитые страны. А о том, что этой самой конвертируемой валюты нет ни у нас, ни у наших партнеров, словно забыли. И вот огромные массы товаров застыли, словно заколдованные, по обе стороны границы, обостряя энергетический голод в некогда «братьских» странах, а у нас — и без того уж нестерпимый дефицит всего самого необходимого для повседневной жизни, что везли раньше именно из Восточной и Центральной Европы.

При первых же признаках спада добычи нефти трубу пригрозили перекрыть именно в направлении бывшего социалистического лагеря, ради которого еще недавно, по выражению премьер-министра Павлова, «готовы были снять с себя и отдать последнюю рубашку». Для Чехо-Словакии же, которая всем предыдущим уродливым развитием в рамках СЭВ была как цепями прикована к этой самой трубе,— 16 миллионов тонн требовалось ежегодно и взять, кроме нас, было негде,— это означало медленное умирание. Километровые очереди на бензоколонках, энтропия нефтехимической промышленности... Вот и ложатся на стол посла сводки ежедневного поступления нефти, и, когда оно падает ниже отметки 30 тысяч тонн, ему звонит премьер-министр Чехо-Словакии, а он звонит премьер-министру в Москву.

Раньше надо — не надо встречались лидеры социалистического содружества — и попарно, и тройками, и семерками. С Чаушеску и Хонеккером обменивались поцелуями за каких-нибудь полгода до их падения. Лидеры же новой волны хотят приехать — не могут досгучаться. К себе зовут — не едем.

Говорим о деидеологизации, а получается — идеологизация наоборот.

Ну и венец всему — судьба нового двустороннего договора. Открываем свои представительства при НАТО, при Европейских сообществах, а в договоре требуем записать отказ от участия в неких враждебных одному из партнеров союзах... Многомесячные изматывающие переговоры вокруг этого злополучного абзаца, навязанного Язовым и Крючковым.

Только не надо думать, что во всем была виновата,

обобщенно говоря, лишь наша сторона. Хватало экстремистов и в Чехо-Словакии, которые тоже не упустили случая сказать свое злое слово в тот самый момент, когда в наших отношениях, несмотря ни на что, начинало проглядывать солнышко. То вдруг задумают убрать с пьедестала танк, поставленный памятником в день освобождения Праги от гитлеровских войск, то внесут на обсуждение парламента закон, по которому все дипломы, полученные в вузах нашей страны, предлагается признать недействительными. Выступить против этого — показать себя «нормализатором». И снова трезвомыслящие оказываются заложниками крайних сил то справа, то слева...

Разгром путча — словно жест доброго волшебника, развеявшего злые черты...

Время бросать в землю зерна и время собирать урожай. Мысль об этом не покидает меня эти три дня в Праге и в Братиславе.

Советско-чехословацкий договор. О нем было упомянуто в том реестрике, который я, помните, дал почитать Горбачеву. В дни работы гуманитарной конференции в Москве Горбачев и Ельцин приняли поочередно Иржи Динстбира. Для Михаила Сергеевича это была первая встреча с высоким чехословацким представителем с тех пор, как в июне 1990 года здесь же, в Кремле, состоялось предпоследнее заседание Варшавского Договора. С Ельциным министр встретился как со старым знакомым. Всего два месяца назад виделись в Праге.

Горбачев согласился с новым вариантом договора и дал добро на то, чтобы мы с Динстбиrom парафировали его в Праге. Сегодня это произойдет. По договоренности я также зачитаю и передам своему коллеге письмо, в котором говорится о том, что ввод войск стран Варшавского Договора имел долговременные негативные последствия как для Чехо-Словакии, так и для СССР, для всего международного сообщества. Этим договором и этим письмом мы отбрасываем последние обломки тоталитаризма в наших отношениях.

Сегодня вечером при встрече с президентом Гавелом я скажу, что его коллега готов будет приехать в Прагу в ноябре-декабре нынешнего года и подписать вместе с ним договор.

Все так и произошло, как задумывалось. В наших отношениях с Чехо-Словакией, как принято писать в официальных тассовских отчетах, была перевернута страница. Газета «Коммерсант» отчет о визите дала под заголовком «Панкин дал чехам вольную». В принципе я против этого ернического

стиля «новой прессы», но в данном случае претензий к «Коммерсанту» у меня не было.

События позднее повернулись так, что договору, который мы с Иржи Динстбиrom парафировали, не суждено было быть подписанным. В начале декабря, когда Горбачев уже собирался в Прагу, состоялась встреча президентов России, Украины и Белоруссии в Беловежской Пуще. Михаил Сергеевич опять опоздал.

В феврале 1992 года в Москве с рабочим визитом побывал чехословацкий премьер Мариан Чалфа. Как сообщил мне в Лондон один из высоких представителей этой страны, договор, парафицированный Чалфом и Бурбулисом, отличался от нашего с Динстбиrom в основном новым названием страны-партнера.

Текст же моего одностороннего заявления, безоговорочно осуждающего вторжение войск, вмонтирован в ткань основного документа.

Приятно, что наши усилия не пропали даром. Вскоре Гавел приехал в Москву, чтобы вместе с Президентом России подписать договор. Встретился он и с Горбачевым. Я не знаю, о чем они говорили, но вид у Михаила Сергеевича на телевизоре был слегка сконфуженный. И я его понимаю.

Подписано было, наконец, и злополучное соглашение об имуществе Центральной группы войск, покинувшей при мне навсегда Чехо-Словакию и прекратившей таким образом свое существование. Договорились-таки, и тем показали пример другим странам, о «нулевом варианте». Стоимость нашего имущества пойдет в уплату за экологический ущерб, вызванный пребыванием войск, а чехословацкая сторона поставит нам для семей военнослужащих на льготных условиях свои сборные домики — на триста миллионов крон. Те самые домики...

На подписании договора присутствовал российский посол в Праге Александр Лебедев, тот самый, кто подписал вместе со мной заявление против путчистов. «Независимая газета» заметила при его назначении, оно состоялось еще при мне, что вообще-то это нарушение неписанных дипломатических правил, согласно которым не принято назначать дипломата послом в той стране, где он работал советником-посланником, чтобы не интриговал против начальства. В данном случае исключение из правил, по мнению газеты, было вполне оправданным. Время от времени мы звоним друг другу — из Праги в Лондон, из Лондона в Прагу.

Во время торжественного обеда, который Иржи Динстбир давал в мою честь в Праге, мы с ним вспоминали Нью-Йорк. Для него это была уже вторая сессия ООН, дело более привычное. Я как новичок все воспринимал острее. И наверное, не только поэтому Иржи рассуждал — в прошлом году был бенефис Чехо-Словакии, ее соседей, сбросивших, как и она, вериги тоталитаризма. В этом году все вращается вокруг Советского Союза.

Структура государства и власти, рожденная ровно месяц назад Пятым чрезвычайным съездом народных депутатов, моим собеседникам в Праге импонировала. В Братиславе к ней относились более скептически.

Сторонники сильного федеративного государства, в котором обе республики пользовались бы абсолютно одинаковыми правами, Иржи Динстбир и другие чехословацкие лидеры считали, что у нас как раз и найдено, если не идеальное, то оптимальное, решение вопроса — обретшие максимальную самостоятельность республики делегируют центру свои полномочия в тех сферах управления и деятельности, где координация — в интересах всех и каждого. Что-то подобное предстоит найти и им. Диссидентское прошлое Вацлава Гавела не входило в противоречие с его федералистскими устремлениями.

В Словакии довольно сильны сепаратистские тенденции. Правда, не в широких слоях народа, а среди интеллигенции, которая всегда жаждет перемен, в рафинированных политических кругах, в руководстве республики и основных партий.

Когда Ельцин был в Чехо-Словакии, в Праге его чествовали как демократа, в Братиславе — как республиканца, россиянина.

Для меня эти три дня в Чехо-Словакии были еще одним подтверждением того главного ощущения, которое я увозил из Нью-Йорка: никому в мире не дано остаться безучастным к тому, что происходит в нашей стране, на одной шестой части суши всего земного шара.

Перелистываю собственные речи, статьи, интервью, заявления на пресс-конференциях — плоды поневоле совершенно невероятной активности. Броские заголовки, аншлаги: «Наша сверхзадача — заговорить языком нового Союза, который родился после путча», «Наша страна никогда не будет прежней», «Союз после путча — на пути к демократии и право-

вому обществу», «Чувствуем прилив симпатий со всего мира», «Путь нами избран»...

Не такое это событие — Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, чтобы хоть один твой шаг, выступление, просто слово для прессы было бы обойдено вниманием, предано забвению, если ты — министр иностранных дел, тем более великой державы. Ничто не исчезнет, все фиксируется на дисплее истории, в любой момент может быть предъявлено к оплате. Будет ли чем рассчитываться?

Прав я был или не прав тогда, я обязан сейчас вернуться к тем дням в Нью-Йорке, сегодняшней меркой измерить свои слова и действия.

В Нью-Йоркском аэропорту не успел я сойти с трапа самолета, меня спросили: какие новые инициативы привезли вы с собой? Многоопытнейший Петровский еще в Москве предупреждал меня, что такой вопрос обязательно будет. Ничего не поделаешь — приучили. Не только в застойные времена, но и в эпоху «нового мышления» отдавали дань этой моде. Целая армия дипломатов зарабатывала этим на жизнь. Сначала «пробить» через ministra, потом «протолкнуть» на трибуну какого-нибудь форума в виде впечатляющего проекта, потом — защищать и отстаивать на бесчисленных конференциях, семинарах, симпозиумах в самых различных точках земной тверди.

Мне пришлось огорчить коллегу-журналиста. Никаких особых инициатив я с собой не привез. Просто — потребность рассказать миру, что же такое Советский Союз после путча, заговорить языком этой новой страны, родившейся на баррикадах у российского Белого дома, в круглосуточных бдениях Чрезвычайного съезда народных депутатов. Страны, которая начинает новый отсчет политического, философского и житейско-обыденного времени в своем многовековом и многострадальном развитии. Разгром путча словно очистительный ливень смыл коросту диктатуры, открыл миру истинный и прекрасный лик народов, которые выстрадали и отстояли свое право на свободу и демократию — эти привилегии разумных и смелых.

Привал государственного переворота, нацелившегося на реставрацию тоталитаризма, вылился в революцию преображения, которая смела последние опоры обанкротившегося режима. Я помню, как Зденек Млынарж — один из рыцарей «Пражской весны» — сказал мне: они хотели повторить в Москве 21 августа 1968 года, а получили пражское 17 ноября.

Разгром путча — это торжество добра над «империей

зла» не только в СССР. Наша победа была нужна всему миру. И только сообща нам удалось отвести угрозу возврата к «холодной войне». С первого же часа схватки мы ощущали могучий прилив симпатий со стороны внешнего мира, который становился реальной силой. Активные действия народа, почувствовавшего вкус свободы, опирающегося на солидарность извне, позволили не только остановить попытку государственного переворота, но и разрушить тот режим, в защиту которого путчисты выступили. Были сломаны механизмы торможения, которые стояли на пути превращения нашего общества в правовое государство.

Чрезвычайный съезд народных депутатов ответил на вызов времени и установил на переходный период такую государственно-национальную структуру, когда входящие в Союз республики получили, выражаясь словами Ельцина, «столько суверенитета, сколько они были способны освоить». Конституированные съездом органы государственного управления были призваны обеспечить в этой новой стране единое экономическое, оборонное и внешнеполитическое пространство. Словом, мотор запущен, двигатель работает и курс кораблю выбран правильный. Важно, чтобы хватило горючего.

В этих условиях мы с новой силой обращаем свои взоры к международному сообществу — в надежде, что и на этом этапе нашего преображения оно, как и в критические часы и дни путча, окажет нам все необходимое содействие, чтобы переходный период был пройден быстрее и по возможности менее болезненно, а страна превратилась бы в нормального, респектабельного члена мирового сообщества.

Что касается предметных характеристик этого феномена, то все в нашей стране, кто привержен демократии и справедливости, согласны насчет них. Это должно быть правовое государство, гражданское общество, парламентская система, рыночная экономика.

Новый Союз на решающем и рискованном этапе своего формирования нуждается в поддержке мирового сообщества, но точно так же и мировое сообщество должно быть заинтересовано в успехе наших усилий, поскольку от этого зависят перспективы создания стабильного, демократического, цивилизованного миропорядка на всей Земле.

Естественно, что я не сказал всего этого журналистам в аэропорту Джона Кеннеди, но именно в этом состоял костяк концепции, которая в наиболее полном виде была изложена в моем выступлении во время общей дискуссии на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мясом» на

нем должна была стать и, смею думать, стала сама моя работа на сессии.

...Если и есть на земле место, где то, что мы называем привычно, автоматически мировым сообществом, можно потрогать руками, то это место — Нью-Йорк в первые недели после открытия очередной Генеральной Ассамблеи ООН. Поначалу кажется, что никто и никогда не сможет хоть что-нибудь понять в этой невообразимой мешанине министров, дипломатов, журналистов, премьеров, бизнесменов, артистов, священников, ревущих автомашин, обгоняющих друг друга кортежей, торжественности заседаний, толкотни приемов, мелькания хрестоматийно знакомых лиц. Постепенно, однако, все как-то образуется, твой рабочий календарь, в который поначалу просто страшно заглядывать, утрамбовывается, и там даже образуются крошечные окошки. Их, впрочем, тут же заполняют неумолимые твои помощники, которые не имеют права проявить к тебе сострадание, потому что пресс просит и требует о встречах, который давит на них, непереносим. Кажется, весь Нью-Йорк, а в нем сейчас заключен весь мир, хочет встретиться с тобой. И смешно было бы приписывать это собственной персоне. Ты сейчас — воплощение твоей страны со всем радостным и горестным, что в ней видят. Вот когда ты просто физически ощущаешь, как она велика и как нужна миру. И нет такой встречи и беседы, где не приходилось бы что-то тут же и решать, что-то такое делать, что подтверждало бы твои собственные слова с трибуны ООН — о демократии, о праве, о свободе, о добре воле и разоружении. И кажется, что весь вес, весь авторитет, честь и влияние твоей страны, снова оказавшейся для мира незнакомой, висит на ниточке твоего разговора с очередным партнером. Это словно конвейер, на ленте которого — страны, народы, континенты, а ты — работник в синей блузке, который должен успеть коснуться каждой проплывающей мимо детали.

Только в отличие от рабочего у станка, оператора у конвейера, который, отстояв положенные восемь или семь часов, может пойти в душевую, умыться, переодеться и отправиться отдыхать, у тебя нет сменщика. Все хотят говорить именно с министром, с человеком, который стал им в «такой напряженный и воодушевляющий момент», да еще при таких чрезвычайных и впечатляющих обстоятельствах.

И ты чувствуешь, что подоплекой этих симпатий и этого неподдельного интереса является... страх. Перед тем, что все могло обернуться по-другому, что огромная страна могла бы повернуть вспять. Как велик этот страх и как же велико от-

вращение к тому, что мы представляли из себя еще недавно, каких-нибудь шесть лет назад, как хрупкое доверие, которое родилось вместе с перестройкой.

Непроизвольно вырабатывается совершенно не зависящий от тебя макет беседы. Сначала то, что я назвал про себя, пользуясь спортивными терминами, обязательная программа. Ни один собеседник, будь то министр, премьер или президент страны, не говоря уж о журналистах, лидерах тех или иных политических, общественных сил, не расстанется с тобой, пока ты ему не расскажешь все о путче, о съезде, о сформированной им структуре, о политических и экономических реформах, об отношениях между Центром и республиками, Горбачевым и Ельциным. Пока не успокоишь, что все взятые на себя твоей страной обязательства будут соблюдаться, ядерное оружие под надежным контролем, вооруженные силы останутся едиными, внешний долг будет выплачиваться. Я был убежден, что так оно и должно быть, свято верил, что так оно и будет, и аргументам моим было не занимать убедительности.

«Дайте выплеснуть слова...»

Затем начиналась произвольная программа: у каждого собеседника своя проблема и каждый хочет заручиться твоей поддержкой, пониманием, сочувствием в ее решении. Одни претендуют на это в силу тех великих и благотворных изменений в твоей стране, о которых ты только что рассказал. Другие ревниво следят — поворачиваясь лицом к новым друзьям, не отказываемся ли мы от старых?

В своей речи в ООН я негативно высказался относительно пресловутой резолюции ООН от 1975 года, приравнивающей сионизм к расизму. У этого, сравнительно скромного по объему пассажа, который тем не менее прозвучал, как выстрел крейсера «Аврора», только в противоположном направлении, была своя предыстория. Так уж повелось с самого начала, что каждое утро члены делегации и эксперты собирались в моем временном кабинете в нашем представительстве, которым руководил тогда Юлий Воронцов, окунуть коллективным взором, что нам предстоит на сегодня. В тот день перед каждым лежал проект речи, которую я должен был произнести через несколько часов. Поднялся министр иностранных дел Туркмении. Вместе со своими коллегами из Азербайджана и Киргизии, они тоже здесь присутствовали, он входил в состав делегации.

— Обсуждался ли, — спросил он, — проект выступления министра «наверху»?

Возник шумок. Это был вопрос из прошлого, когда каж-

дый абзац таких выступлений буквально обсасывался на заседаниях Политбюро, в результате чего даже при Шеварднадзе, этом признанном проводнике «нового мышления», из текста могло уйти то, ради чего он, собственно, и создавался.

Я напомнил министру, что «верха» в его прежнем понимании уже нет, но с основными положениями речи я познакомил Президента и некоторых других членов Госсовета. Ниязова, туркменского лидера, вынужден был я констатировать, в их числе не было. Так вышло в суматохе нашей нынешней жизни.

— Тогда, — сказал министр, — я бы предложил абзац, осуждающий резолюцию о сионизме, убрать. Он может настроить против нас мусульманские страны. Да и в Туркмении многие будут против.

Все снова загудели. Многое послышалось тогда мне в этом гуле.

С одной стороны, собравшиеся справедливо видели в таком подходе дань прежним стереотипам. Мы провозгласили принцип деидеологизации внешней политики, и вот лучший способ подкрепить наши слова делом.

С другой стороны, — да, тут была и другая сторона, — пренебречь замечаниями нашего туркменского коллеги тоже было бы данью прошлому. Его голосом говорит молодое суверенное государство, заявляющее о своем праве на собственную позицию... Это то, с чем все чаще придется иметь дело в самом ближайшем будущем... И тут у нас слово тоже не должно расходиться с делом.

Министры Украины и Белоруссии, возглавлявшие делегации своих республик, высказались за то, чтобы этот абзац оставить. Киргизский и азербайджанский министры в смущении посматривали друг на друга. Решение надо было принимать мне.

Осложняющим моментом было то, что об осуждении резолюции ООН в Москве речи вообще не шло. Этого пассажа просто не было в том тексте, который я увозил с собой из Москвы. Он родился уже здесь, под впечатлением тех дискуссий, в которые пришлось включиться с первых же часов на нью-йоркской земле. Инициатором его появления стал Лавров, нынешний заместитель министра иностранных дел России. Тогда он у меня был руководителем департамента международных организаций. Его поддерживал Юлий Воронцов, наш Чрезвычайный и Полномочный Представитель в ООН. Резолюция, говорили они, обречена на ostracism, и я был согласен с ними. Это понимают даже многие арабские страны. Но им заявить об этом сейчас еще труднее, чем нам.

Буш непременно скажет о резолюции в своей вступительной речи. Зачем опять отдавать все на откуп американцам? Ведь мы уже совсем другая страна.

Джордж Буш, конечно же, не упустил случая категорически осудить резолюцию, выступая в ООН. Однако не это обстоятельство было для меня решающим. В конце концов то, что об этом сказал Президент США, никого не удивило. Американцы и в 1975 году голосовали против резолюции. Да и их произраильские симпатии тоже были более чем хорошо известны в мире. Наше высказывание на этот счет будет несомненно сенсацией. И тут необходимо снова и снова взвесить последствия.

Последствия для кого? — тут же спрашивал я себя. — Для тебя лично? Будет недоволен Президент? Пойдут к нему жаловаться члены Госсовета из среднеазиатских республик? Судя по высказываниям туркменского министра, этого вполне можно ожидать. И чувствовать себя будешь, несомненно, весьма неловко. Ведь оставить это место в речи, значит, нарушить в одночасье массу правил, касающихся как содержания нашей внешней политики, так и ее формы, устоявшихся процедур принятия решений. Убрать — значит, опять пойти по старой дорожке. Говорить о деидеологизации одно, поступать по-другому. И потом снова догонять поезд. Звонить в Москву? Поздно. Да и не для телефона этот вопрос. Что ж, бывают времена для голосований и утрясок, а бывают — для решений. Риск? Да, но необходимый, а значит, оправданный. Продолжался мой «час лаять».

С трибуны ООН эта часть моего выступления прозвучала так: «Необходимо раз и навсегда отказаться от наследия «ледникового периода» вроде одиозной резолюции, в которой сионизм приравнивается к расизму». На следующий день эта фраза аншлагом фигурировала во всех средствах массовой информации.

«Вашингтон пост» назвала это «неожиданным примером того, что означает на деле новое сотрудничество, о котором СССР и США постоянно говорят после разгрома заговора в Москве».

Газеты не преминули упомянуть и о том, что «Советский Союз, по словам министра, приступил к процессу полного восстановления дипломатических отношений с Израилем».

Так случилось, что давно запланированная встреча с министром иностранных дел Израиля Дэвидом Леви состоялась именно в этот день, через несколько часов после моего выступления. У входа в отель, где он остановился, меня ждала огромная команда журналистов. Все жаждали комментариев.

Леви, энергичный, улыбчивый, экспансивный, встретил меня, образно говоря, с распластанными объятиями. Он говорил о том, с какой тревогой следили в Израиле за развитием путча, как ликовали и приветствовали победу демократии. Наше осуждение резолюции ООН по поводу сионизма было для него естественным самовыражением этой победы. Закончил он тем, что готов хоть сейчас подписать со мной соглашение о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Израилем. Для него будет высокая честь именно меня иметь своим партнером. «Что мне еще жаль,— воскликнул он,— советский министр — демократ, интеллектуал, гуманист».

Откровенно говоря, я чувствовал себя немного смущенным. Мне вовсе не хотелось, чтобы наше выступление выглядело подарком Израилю. Оно преследовало совсем другие цели. Что касается восстановления дипломатических отношений, я предложил сделать это немного позже, когда яснее станут перспективы созыва Конференции по Ближнему Востоку. Он, я понял, огорчился, но виду старался не подавать. Провожая, крепко жал мне руку, сиял улыбками в сторону прессы, приглашал в Израиль. Через три недели мы снова увиделись в Иерусалиме.

Мои коллеги из арабских стран вели себя по-другому. Традиции восточной вежливости не позволяли им открыто заявить свое неудовольствие, но именно язык арабской дипломатии знает сотни способов выразить тончайшие оттенки мыслей и мнений. Впрочем, как я не без облегчения констатировал, какой-то единой линии тут не было. Здравомыслие все громче заявляло о себе в мировом сообществе. Наш пример оказывался заразительным.

Отголоском тех нью-йоркских дискуссий пришло ко мне в Лондон письмо президента Всемирного европейского конгресса Эдгара Бронфмана. Он поздравлял меня с назначением послом в Великобританию и выражал надежду на продолжение знакомства, «которое началось в советской миссии при Организации Объединенных Наций, в воскресенье, 29 сентября 1991 года, когда мы говорили, наряду с прочим, о Вашем осуждении резолюции ООН № 3379, приравнившей сионизм к расизму».

С латиноамериканцами мы обсуждали положение на Кубе. Их не могло не привлечь наше заявление о предстоящем выводе с острова военной учебной бригады. «*Infant terrible*» континента, Куба теперь оставалась его «больным ребенком». Когда один из моих высокопоставленных собеседников, никогда очень близкий к Фиделю Кастро человек, сказал, что

«надо опасаться румынского варианта», я вздрогнул. Я последнее время много думал о судьбе и будущем этого режима и его лидера, но возможность такого исхода мне не приходила в голову.

Как это случается, что борец за свободу своего народа становится его злым гением? Что за дьявольские законы тут действуют?

В 60-е годы все мы, «дети оттепели», увлекались Кубой, Кастро, бредили казармой Монкада, шхуной «Гранмой», «барбудос». В спорах Хрущева с Кастро, с легкой руки романтического Евгения Евтушенко, еретически брали сторону несгибаемого Фиделя. «Комсомолка», помню, и при мне как редакторе, и раньше помещала целые страницы — и в прозе, и в стихах — Евтушенко, Рождественский, Симонов, — посвященные реформам в области образования, борьбе с нищетой, безработицей, проституцией... В 1963 году я побывал сразу на Кубе, в Чили, Уругвае. На фоне трущоб, бидонвиллей, толп безработных, стай оборванных, купающихся в грязи ребятишек в Сантьяго-де-Чили и Монтевидео поющая, танцующая, марширующая под звуки революционных гимнов Гавана — зеленая защитная униформа на фоне синего моря и белых особняков, отданных во владение ребятни и молодежи, казалась воплощением человеческой мечты о счастье и свободе.

Поначалу стремление научить этих гордых и смелых кубинцев жить по-нашему казалось просто досадным заблуждением, издержками интернационализма. Точно так же, как и неровный, но пристальный интерес Кастро к формам нашей государственности воспринимался как естественный поиск модели, обмен опытом между двумя строящими новый мир странами.

Годы шли, иллюзии рассеивались по мере того, как ты все отчетливее начинал понимать, что происходит в твоей собственной стране.

И все же и сегодня — дань увлечениям молодости? — горестно и больно ставить бородатого великана Фиделя на одну доску с Чаушеску или Пиночетом. Хотя даже и внешне, в стоящей на нем коробом униформе, в ореоле серо-серых кудрей он давно уже больше похож на постаревшего Демона, чем на Буревестника, каким рисовался нам тридцать лет назад.

С моими собеседниками в Нью-Йорке я рассуждаю о том, что диктаторам и диктатурам на нашей земле становится все более неуютно. Не так уж и много их, кстати говоря, осталось, и чем скорее каждый из них поймет, что выход только

один — в реформах, тем лучше для него, а главное — для страны.

Даже тем из моих собеседников с латиноамериканского континента, кто, подобно мне, искренне увлекался когда-то рыцарями кубинской революции, предпринятая нами мера кажется полезной и своевременной: пусть даже она носит чисто символический характер,— Кастро как раз и нуждался в таком знаке, в свидетельстве того, что поддержка с вашей стороны не будет вечной и безоговорочной. А именно это всегда воодушевляет всех каудильо с красным оттенком.

Тут уж разговор непременно переходит к фигуре Наджибуллы. Еще один диктатор и еще один режим, который доживает исторически последние дни. Но сколько в реальном измерении эти последние дни продлятся и сколько еще будет пролито крови?! Моя встреча и переговоры с афганскими моджахедами — еще одна сенсация тех дней в Нью-Йорке. Перспектива урегулирования и этой застарелой проблемы становится нагляднее. Отвечающие истине подробности этой встречи обрастают слухами. И прессы, и политические наблюдатели, однако, сходятся в одном — это еще один штрих к портрету Советского Союза после путча.

Посылаемые нами сигналы не остаются неуслышанными. Мир откликается на них. И, несомненно, самый мощный и очевидный отклик — именно в эти дни выдвинутые предложения Президента Буша о резком одностороннем сокращении тактических и не только тактических ядерных вооружений. Свое выступление по этому поводу он прямо начнет с апелляции к драматическим, с обнадеживающим исходом, событиям в Советском Союзе, чья внутренняя и внешняя политика после разгрома путча позволяет окончательно расстаться с периодом «холодной войны», от отношений соперничества и ядерного противостояния перейти к партнерству, к дружбе.

Встречи и беседы, которые состоялись у меня в эти дни с Бушем, с Джеймсом Бейкером, побуждают меня сделать вывод, что именно воздух преображения и очищения, которые Джеймс Бейкер и его люди не могли не ощутить в Москве и в столицах других республик, то настроение обновления, которое и наша делегация привезла с собой в Нью-Йорк, подтолкнули Буша и его команду к этому решению и уж во всяком случае повлияли на его масштабы и время его обнародования.

И пусть скептики сколько угодно поднимают брови. Нет, отнюдь не все в мировых делах даже на самом высоком уровне делается исключительно по подсказке и в угоду

яйцеголовых компьютеров. Остается место и для морального настроя, психологических порывов, обыкновенного человеческого настроения.

Когда еще в Москве ранним сентябрьским утром журналисты спросили меня в особняке МИДа на улице Алексея Толстого, где мы вместе поджидали опаздывавшего Бейкера, будут ли на переговорах обсуждаться его «пять принципов», я ответил утвердительно, но сказал, что собираюсь добавить еще и от себя по крайней мере два.

Мы имели в виду предложить американцам начать переговоры по сокращению и даже полному уничтожению тактического ядерного оружия, а также возобновить дискуссию о полном запрещении ядерных испытаний. Это был наш общий с новым руководством Министерства обороны настрой. Я вспоминаю, что необходимость как можно скорее избавиться от тактического ядерного оружия, в Генштабе обосновывали, помимо общих, нравственного плана рассуждений, еще и соображениями весьма практического свойства: обе стороны накопили слишком много такого оружия и доступ к нему, по сравнению с оружием стратегического назначения, значительно проще. К тому же и размещены они на территории, которая сейчас быстро становится зоной риска,— Германия, Балканы, ряд советских республик.

Что касается ядерных испытаний, то и тут у нас возникли проблемы чисто внутреннего свойства. Казахстан, как известно, к тому времени заявил уже о закрытии семипалатинского полигона, а перенос взрывов на Новую Землю тоже никто не приветствовал. О ней и так уж рассказывали ужасы.

Мое предложение внести эти два пункта в повестку дня двусторонних переговоров по разоружению, которую мы с Бейкером утрясали на той нашей первой встрече в Москве, не вызвало у него энтузиазма. И на последовавшей сразу за переговорами пресс-конференции он в ответ на вопросы заинтересованных мною журналистов тоже ограничился, по существу, междометиями. Тем не менее нажим на Бейкера продолжался, и когда в Нью-Йорке, на встрече с Бушем, я снова упомянул эту проблематику, реакция американцев на предложение о переговорах по тактическому ядерному вооружению была уже чуть мягче. Буш сказал с загадочной улыбкой, что знает о нашей заинтересованности, понимает наши мотивы, тем более что такую же обеспокоенность проявляет и Федеративная Республика Германии, а именно Геншер.

— В связи с наследством, доставшимся ему вместе с Восточной Германией,— опять тонко улыбнулся он.

Когда я на следующий день, воодушевленный словами Буша, на наших переговорах с Бейкером снова вернулся к этому вопросу, он сделал минутную паузу, перекинулся парой фраз со своими сотрудниками и спросил меня, не сможем ли мы встретиться вне графика завтра утром, примерно на полчаса, с глазу на глаз...

Я заглянул в свой рабочий календарь. В 9 часов утра у меня встреча с группой министров иностранных дел стран — членов Содружества арабских государств Персидского залива. В 10.30 — с турецким коллегой. Но попробуем вписаться.

Мы встретились с ним в 10 утра в знаменитом отеле Уолдорф-Астория, который был в те дни штаб-квартирой американской делегации. Бейкер вынул из кармана несколько страниц, отпечатанных на машинке и сказал, что хочет изложить мне то, с чем планирует выступить по телевидению Президент. У нас ушло на это полчаса — он читал, я записывал. Да, это была та самая знаменитая инициатива Буша. Бейкер сказал, что сегодня же, до того, как выступить, Буш намерен переговорить по телефону с Горбачевым и Ельциным.

Что еще? Бейкер смотрел на меня с торжествующей улыбкой тинэйджера, одержавшего верх над своим приятелем в какой-нибудь незамысловатой ребячьею игре: мы, конечно, рассчитываем, что вы последуете нашему примеру, но делаем это абсолютно в одностороннем порядке. Мы осуществим это при любых условиях, хотя, конечно, рассчитываем на вашу положительную и конструктивную реакцию.

— По-моему, вы должны быть удовлетворены, — закончил он тоном великого смиренника. — Все-таки это лучше, чем вести бесконечные утомительные переговоры.

У меня был порыв отыграться за счет того, что о ядерных испытаниях в предложениях Буша ничего не сказано, но я вовремя удержался.

Припомнилось, что как раз в те дни, когда мы встречались в Москве с Бейкером, в американском журнале «Ньюсик» появилась статья сенатора Мойнихена, который писал: «Я предупреждал еще десять лет назад, что СССР может «взлететь на воздух» и добавлял, что «мир может взлететь на воздух вместе с ним». Сейчас, когда происходит быстрая дезинтеграция СССР, мои опасения лишь возросли». Наверное, и Бушу, и Бейкеру, и Чайни были знакомы эти высказывания. Да и у них самих, слава Богу, предостаточно материалов на эту тему. Но для меня несомненным было и другое: американский Президент не кривил душой, когда в своем телевизионном выступлении ссылался не на дезинте-

грацию СССР, а на разгром в ходе путча тех сил, которые и представляли главную угрозу миру.

И я не преминул публично сказать об этом уже через несколько часов после того, как Буш выступил по телевидению. У меня в это время на ужине был Иржи Динстбир. Мы прервались и с волнением внимали выступлению Президента. После этого Иржи, отказавшись от десерта и кофе, заторопился к себе. Я вышел вместе с ним в холл нашего представительства. А там всегда дежурили на всякий случай несколько журналистов из наших и американских газет, агентств и телекомпаний. Они вежливо позволили мне проводить гостя, а потом набросились с вопросами: как вы относитесь, какова ваша реакция? не застали ли врасплох предложения Буша?

Накануне я, естественно, сообщил в Москву не только существование предложений американской стороны, но и свое первое впечатление от них, поделился соображениями о нашей возможной реакции. Ответа пока не поступило. Я тем не менее решил рискнуть, сказав прессе примерно то, что адресовал в Москву. «Нет, предложения Президента Буша не застали меня врасплох, хотя бы потому, что американская сторона заранее познакомила нас с ними — и здесь, в Нью-Йорке, и в Москве. По-человечески меня тронул тот факт, что свои предложения Президент Буш прямо связывает с теми радикальными политическими изменениями, которые произошли в моей стране. Наша страна никогда не будет прежней. Мир справедливо скажет сейчас, что предложения Президента Буша — это драматический мирный вызов. Я бы добавил, что это и ответ на столь же драматический вызов, который был сделан нашим народом, разгромившим попытки повернуть движение в нашей стране вспять, бесповоротно вставшим на путь демократического развития.

По существу же, предложения, связанные с радикальным сокращением и уничтожением целых видов ядерного оружия, прежде всего тактического, представляют собой возможность кардинальным образом изменить весь характер отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом в такой ключевой области, как ядерное разоружение,— сказал я и добавил,— как мера одностороннего характера, так и меры, требующие наших взаимных действий, найдут, безусловно, полную поддержку с нашей стороны и свидетельствуют о том, что наши отношения бесповоротно выходят из полосы конфронтации и строятся на основе тесного взаимодействия и дружбы. Наш ответ будет адекватным».

На следующий день в водопаде откликов, последовавших

за выступлением Буша, политические наблюдатели выделили высказывания Горбачева, Ельцина и мои. Они отмечали, что в то время, как высказывания Ельцина и Панкина, по существу, безоговорочно поддерживают предложения Буша, соображения Президента СССР звучат осторожнее: по мнению Горбачева, «инициатива Буша поднимает много вопросов и требует дальнейшего обсуждения и дискуссий».

«На понижение», по мнению обозревателей, играли и слова советского лидера о том, что инициатива Буша — продолжение процесса, который стартовал в Женеве, был продолжен в Рейкьявике, на Мальте и затем в Вашингтоне и в Москве...

По реакции Бейкера, с которым мы ежедневно встречались в Нью-Йорке, я чувствовал, что американцы несколько расстроены такой сдержанной реакцией Горбачева. Если два дня назад в беседе со мной госсекретарь выглядел сознательно набедокурившим подростком, то теперь — обиженным пай-мальчиком, который не получил заслуженного вознаграждения за хороший поступок. Мне всегда импонируют такие психологические всплески у серьезных людей. Я успокаивал его, говоря, что, конечно же, требуется время, чтобы досконально изучить такую материю, про себя же думал, что, наверное, в этот момент с Михаилом Сергеевичем рядом оказался кто-то из последних «ястребов», и не жалел о своей безоговорочной поддержке американцев. В данной обстановке это было нужно для баланса.

Вскоре все встало на свои места. Мы договорились о том, что в Москву срочно вылетит один из заместителей Бейкера — Бартоломью. В Москве Горбачев создал комиссию по выработке ответных мер во главе с Силаевым. Вместе с Шапошниковым, Лобовым, Рыжовым, Бакатиным в нее вошел и я. Когда после нелегких дебатов все было согласовано, я посоветовал Горбачеву не медлить с выступлением по телевидению. Он послал Шапошникова и Петровского к Ельцину, который был в это время на юге, в коротком отпуске, сам уселся вместе с нами, членами комиссии, редактировать свое выступление. Ельцин на юге одобрил документ. Когда Горбачев выступил, пресса писала, что за восемь дней, отделяющих одно заявление от другого, мир прошел расстояние в 40 лет. Акция, превратившая гонку вооружений в мире в гонку разоружений, была проведена на одном дыхании. Мир вздохнул чуточку свободнее.

Уже в Нью-Йорке стало ясно, что следующим моим маршрутом будет Ближний Восток. Никто не спрашивал меня, полечу ли я туда, все спрашивали — когда: израильтяне, арабы, палестинцы, представители американской администрации.

Совместная, как ее скоро стали называть, инициатива Буша и Горбачева в области ядерного разоружения — величайшее дело. И все же прежде всего она касается ядерного клуба — пяти великих держав. Все — постоянные члены Совета Безопасности. Нашего, вместе с американцами, участия в запуске мирного процесса на Ближнем Востоке ждали десятки государств по обе стороны реки Иордан: каждое со своими интересами и своим представлением о нашей роли. Лейтмотивом звучало: мир не может и не хочет оставаться без второй сверхдержавы.

По мнению министра иностранных дел Израиля, восстановление наших дипломатических отношений было бы долгожданным отходом Советского Союза от его многолетних заблуждений. По мнению министра иностранных дел Сирии Шараа — с ним мы тоже познакомились в Нью-Йорке, — моя поездка в регион, наоборот, удержала бы нас от «усугубления ошибки», которую уже, по сути дела, совершили, подписав год назад консультское соглашение.

Прислушиваясь к тону нашей послепутевой дипломатии, прощупывая ее пульс, и та, и другая сторона улавливали, что роль так называемого субъективного фактора в определении внешней политики возросла. Уже в первые дни после моего назначения в западной прессе замелькали сообщения, что, мол, одним из первых шагов нового министра будет восстановление дипломатических отношений с Израилем, поскольку, в отличие от главного советника Горбачева по проблемам Ближнего Востока Примакова, он настроен, скорее, произраильски. Вопросы на этот счет неизменно звучали и на пресс-конференциях как в Москве, так и в Нью-Йорке. И это еще до того, как я выступил в ООН.

Я пытался понять, чем, собственно, вызваны такого рода предположения?

Думаю, что причиной тут была общая направленность нашей послепутевой дипломатии. О ней судили по моим заявлениям и по конкретным акциям, которых немало было уже осуществлено к тому времени, когда поездка на Ближний Восток встала твердо в повестку дня. Завершался демонтаж

идеологических доспехов нашей внешней политики, который был начат с перестройкой и оказался несколько приторможенным после отставки Шеварднадзе. Перспектива восстановления дипломатических отношений с Израилем в представлении политических наблюдателей резонно вставала в один ряд с решением о прекращении военных поставок Афганистану, с выводом военно-учебной бригады с Кубы, с решениями Московской гуманитарной конференции...

Не исключено, что на память прессе приходили и некоторые конкретные штрихи моей дипломатической деятельности в недалеком прошлом.

Еще в Стокгольме у меня установились хорошие отношения с Фрицем Холландером, крупным предпринимателем в области кожевенной промышленности, который активно вел дела в этой сфере с советскими партнерами. Познакомил меня с ним наш торгпред, и при первой же встрече, которая по просьбе Холландера проходила с глазу на глаз, он представился президентом Европейского совета содействия еврейским общинам, ставившего задачей оказывать своим соплеменникам в разных странах содействие в поддержании культурных и бытовых традиций предков. Просьба, с которой он, как он сам выразился, рискнул ко мне обратиться, была достаточно тривиальна, с моей точки зрения. Просто надо было помочь ему в официальном порядке установить контакты с нарождавшимися под влиянием перестройки культурными еврейскими организациями в нашей стране. Говорил он об этом, однако, полуслепотом, беспрерывно оглядываясь по сторонам, словно опасался, что вот я сейчас вскочу со стула и гневно укажу ему на дверь.

Но поскольку ничего подобного не случилось, разговор постепенно принял спокойный, плавный характер. Холландер предвидел, что по мере ослабления системы всяческих запретов в СССР число евреев, желающих выехать в Израиль, будет быстро увеличиваться. Это его, к моему удивлению, беспокоило. Он видел в этом дань безрассудной моде, стихии. Люди порой по инерции, просто из подражания друг другу ищут вдалеке то, что могут иметь дома. Задача нашего Совета — помочь им обрести это.

С легким сердцем я взялся помочь ему. Жизнь, однако, показала, что это не так-то легко. К моим телеграммам в Москве относились настороженно, а я был достаточно опытным человеком, чтобы понимать, в чем тут дело.

Посол посыпает свои депеши в МИД, там же, как правило, на уровне замминистра, ведающего твоим регионом, их «расписывают» по всем «заинтересованным» организациям.

Такой порядок был заведен с незапамятных, я думаю, с ленинских еще времен, и на практике КГБ, как бы он ни назывался на протяжении нашей истории, оказывался той организацией, которая была «заинтересована» по крайней мере в 90 процентах всего того, о чем сообщали посольства. В стране тогда, несмотря на ветры перестройки, бушевали силы, которые во всем, что происходит, видели козни «жидомасонов», их тайным лидером называли А. Н. Яковleva, и «происки» Холлантера, который недаром-таки оглядывался по сторонам, оказались весьма кстати, чтобы подтвердить опасения наших «красных патриотов» и насчет меня.

Особенность момента между тем была в том, что на открытое сопротивление расширению связей и контактов гуманитарного характера не могли решиться уже и в КГБ. В ход былпущен испытанный метод — затянуть решение этого простого вопроса, которому я, со своей стороны, противопоставил столь же испытанный способ — надавить. Эффект дятла, как я это называл. Телеграммы шли одна за другой, и в конце концов в Стокгольм пустили-таки президента одной из нарождавшихся тогда у нас организаций — еврейского культурного центра имени Михоэлса, а вскоре и Холлантер отправился в Москву по его приглашению.

В Праге, вскоре после прибытия туда в качестве посла, я получил приглашение на прием по случаю заседания, по инициативе местной еврейской общины, американо-израильской внешнеполитической ассоциации.

Приглашали всех послов, а пришло лишь несколько человек. Тем больше внимания было нам со стороны хозяев. В разговоре за кошерным обедом выяснилось, что мои собеседники кое-что слышали обо мне от Фрица Холлантера. Как я убедился, вести о контактах такого рода распространяются в этой среде довольно интенсивно. Кто-то из наших антисемитов найдет в этом, как, наверное, и в письме Бронфмана, еще одно подтверждение существованию пресловутого жидомасонского заговора. Я же увидел лишь естественную человеческую отзывчивость на знаки тоже обычного в моем представлении внимания, которым, однако, никогда не баловали наши официальные лица ни отечественное, ни зарубежное еврейство.

В мае 1991 года, в канун праздника Победы, та же пражская община пригласила меня в «новую синагогу», которой было уже несколько столетий, на церемонию в память погибших в годы гитлеровской оккупации. На этот раз, кроме меня, там был только посол Германии.

Не потому ли неожиданно популярной оказалась в Иерусалиме, к моменту моего появления там, скромная публикация не ахи какого влиятельного издания на русском языке «Круг» — «Неизвестный Панкин?» Мне этот номер журнала показали еще в Москве, а в Иерусалиме я видел его в руках у многих людей, которые на улицах просто подходили к нам поговорить. По форме это было интервью с репатриантом из Советского Союза Михаилом Шульманом, когда-то работавшим у меня в Москве во Всесоюзном агентстве по авторским правам в качестве исполняющего обязанности начальника управления. Обратите внимание на «исполняющий обязанности», к этому еще предстоит вернуться. Видимо, то обстоятельство, что новый гражданин Израиля работал с нынешним министром, и побудило редактора журнала обратиться к Шульману.

Признаюсь, мне приятно было читать эту публикацию и не потому, разумеется, что на мою долю там выпала изрядная доля комплиментов. Важнее было другое — устами специалиста, к тому же еще и изгоя, по существу, потому что в СССР до начала перестройки мало кто из евреев не чувствовал себя в той или иной мере изгояем, сказано справедливое слово об авторском агентстве, которому в силу путаницы и неразберихи, долгие годы царивших в нашем общественном сознании, сильно не повезло в «паблик релэйшенз». Сначала тогдашний редактор «Литературной газеты», любивший щегольнуть вольнодумием, пустил обоюдоострую фразу: «Современного Белинского назначили Бенкендорфом, посмотрим, что из этого выйдет». Потом Владимир Войнович обратился ко мне с «открытым письмом», а за ним и сам Александр Исаевич Солженицын в своем «Бодался теленок с дубом» назвал агентство «вертухайским ваапом». Стоило ли обижаться? У Войновича и Солженицына мало было оснований доверять инициативам советского руководства, тем более трудно было предположить, что кто-то способен будет из «поросся» сделать «карася», по старой русской поговорке. Между тем именно так и получилось. Не «третьим отделением», вопреки опасениям одних и ожиданием других, стал ВААП, а «детищем разрядки», «коллективным диссидентом». И вот теперь об этом говорил человек, объективности которого, в силу некоторых деталей его биографии, трудно не поверить.

ВААП, рассказывает Шульман, родился в результате того, что СССР присоединился к Женевской конвенции по авторскому праву. Само же это присоединение произошло под сильным давлением Запада, где, особенно США, считали эту меру необходимой в свете завершившейся подготовки к зна-

менитому Хельсинкскому совещанию 1975 года. Уступив в одном, партийные власти были уверены, что отыграются на другом. Им это было не впервой. Если уж признали де-юре верховенство международного права над национальным, превратим это на практике в свою противоположность. «Условия игры» для ВААПа действительно создавались такими, чтобы оно могло выполнить роль «охранки». Даже кандидатура на пост председателя была предложена соответствующая — заместитель председателя комитета по цензуре (Главлит). Тут, правда, хватило у кого-то (говорят, у Суслова) ума сообразить, что это уж слишком. Так ведь можно потерять все преимущества, выторгованные у американцев благодаря присоединению к Конвенции. А тут еще шеф комсомола Тяжельников каждый день приходит и жалуется на вольнодумство главного редактора «Комсомолки». Вот «посадим его на ВААП», сами обстоятельства отучат его вольнодумствовать. История партийного руководства культурой и искусством изобилует такими ходами со стороны ЦК. «Но не всегда они давали желанные результаты,— свидетельствует эмигрировавший в Израиль Шульман.— Вот и в этом случае, завязав энергично контакты с огромным числом авторско-правовых организаций и издательств на Западе, опираясь на букву международного права, которое, говорили властям, никак нельзя обойти, если не хочешь нарваться на скандал, ВААП занялся продвижением за рубеж как раз той литературы, музыки, произведений живописи, театра, которые едва были терпимы или отвергались в своей стране. «Ничего не подешь,— разводили руками эксперты и консультанты ВААПа,— другого на Западе не берут и денег за другое не платят. А мы ведь существуем за счет отчислений от авторских гонораров».

Игра эта, где на одной стороне ВААП, да и то лишь в лице сравнительно немногочисленной команды профессионалов, беззаветно преданных своему делу, а на другой — два отдела ЦК, идеологический и международный, и тринадцать организаций-учредителей, вроде почившего в бозе Госкомиздата, хренниковского Союза композиторов и марковского Союза писателей, с переменным успехом продолжалась девять лет. И за это время советская авторско-правовая служба прочно вросла в международную систему и весьма широкий круг авторов, не очень-то угодных режиму, получил широкое признание за рубежом. А охрана авторских прав, как известно, это не только моральная, но и материальная поддержка, какими бы грабительскими ни были налоги.

— Вот уже несколько дней в мире говорят о новом ми-

нистре и не упоминают о его работе в ВААПе,— подает Шульману реплику журналист.

— Честно говоря, меня это удивляет, задевает за живое.

— Но вы же так и остались «исполняющим обязанности»...

— У меня сохранилось представление председателя о моем назначении начальником управления, обязанности которого я несколько лет исполнял. ЦК, который решал все эти вопросы, меня не утвердил — еврей!

Я предполагаю, что эта публикация, став известной общественной прессе, тоже сыграла свою роль в создании той атмосферы, которая меня ожидала в Израиле.

Надо ли говорить, что перспектива побывать в Израиле, в Иерусалиме, привлекала меня не одной только важностью и сложностью внешнеполитических проблем.

Приглашения, полученные от моих коллег из Сирии, Иордании, Египта, да и других арабских стран (к сожалению, не все удалось тогда посетить), давали возможность выслушать обе стороны, познакомиться с целым спектром точек зрения.

Начать поездку решено было с Иерусалима. Туда в это время собирался и Джеймс Бейкер, с которым, в случае успеха переговоров, нам предстояло стать сопредседателями мирной конференции по Ближнему Востоку. В Иерусалиме можно было вести переговоры одновременно с Израилем и палестинцами. Ну и, наконец, есть ли в многострадальном арабо-израильском регионе другое место, где можно было бы одним движением груди вдохнуть аромат веков, услышать голос трех религий, ощутить всю остроту и противоречивость интересов, раздирающих на клочки эту загадочную и притягательную для каждого, наверное, человека землю.

Итак, через двенадцать дней после возвращения из Праги снова Внуково-2, снова спецрейс, снова группа экспертов и журналистская команда. Через четыре часа — под ногами древняя, священная библейская земля. Прямо из аэропорта Бен-Гуриона в Яффе, на берегу Средиземного моря, растянувшийся чуть ли не на полкилометра кортеж направляется в Иерусалим. Отель «Кинг Дэвид» — «Царь Давид».

Взял сейчас в руки программу этого визита: тоненькая на мелованной бумаге книжечка — и собственным глазам не поверил. Весь визит продлился немногим больше суток. В час дня 17 октября прилетели, в 6 вечера на следующий день вылетели — да и то еще с двухчасовым опозданием по сравнению с намеченным сроком — Дамаск, где в аэропорту ждал меня министр Шараа.

Трудно теперь представить, как могло в столь короткий срок произойти столько драматических событий, состояться столько поистине судьбоносных решений. А все дело в том, что слишком многое сошлось именно в те дни и часы в Иерусалиме — обстоятельства, случайности, исторические императивы, скрещение событий и судеб, личных и государственных. Предыстория и основные события того решающего этапа процесса урегулирования на Ближнем Востоке, который начался в субботу 18 октября 1991 года, хорошо известна. Следуя логике своего повествования, я намерен говорить лишь о том, что происходило в те памятные два дня.

И все же...

Незадолго до отлета в Иерусалим я побывал у Михаила Сергеевича. На столе у него уже лежала моя записка, посвященная ближневосточной проблематике. В ней говорилось, что мир, ближневосточный регион ждут, торопят нас с активным включением в подготовку мирной конференции, нынешняя формула которой, впрочем, далеко еще не завершенная, вчерне была намечена в беседах президентов СССР и США в Хельсинки и затем в Москве, буквально за месяц до путча. Поскольку Израиль категорически отказывается от конференции под эгидой ООН по типу той, что происходила в 1973 году, возникла идея своеобразной комбинации двусторонних переговоров Израиля с его соседями с многосторонними при сопредседательстве двух великих держав. Поскольку ни Израиль, ни арабы не отвергли эту инициативу с порога, завязалась дипломатическая активность. Вклад двух держав был, однако, не равен. Бейкер за сравнительно короткое время побывал в регионе уже восемь раз, в то время как мой предшественник Бессмертных, в силу целого ряда обстоятельств объективного характера, только один раз. Обстановка убеждала, что получившая в принципе поддержку модель может быть реализована лишь при том условии, что сохранится и будет работать принцип сопредседательства. И отнюдь не одна любовь к симметрии движет теми, кто заинтересован в нашей активности. Слишком сложна и глубока история наших отношений с этим регионом, слишком переплетены интересы расположенных здесь стран с нашими, чтобы мы могли себе позволить выйти из игры.

Даже с чисто утилитарной, прагматической точки зрения — положение в регионе во многом зависит и от ситуации в нашей стране. В Израиле проживает более полумиллиона наших соотечественников, которые ожидают, что в решении их судеб будут расставлены, наконец, все точки над «и» — с позиций того самого нового мышления, которое в результа-

те разгрома путча получило, как справедливо считают во всем мире, мощный дополнительный импульс.

Так или примерно так все это было в моей записке. Согласно установленному порядку, я ставил перед Президентом вопрос о необходимости моей поездки в регион, перечисляя страны, которые предполагал посетить.

Впрочем, значение проблемы ему не надо было объяснять. Понимал он и то, что выдержать этот экзамен на звание великой державы нам было важно и с точки зрения положения внутри страны.

Самый щепетильный вопрос по-прежнему — восстановление дипломатических отношений с Израилем. На конференцию он идет с большой неохотой, выставляет одно предварительное условие за другим, которые, естественно, не по душе другим эвентуальным участникам конференции. Сейчас камнем преткновения является формула участия палестинцев. И тут приходится «работать» как с израильтянами, так и с представителями арабских государств. Роль спонсоров в том и заключается, чтобы усадить противников, а в дальнейшем, будем надеяться, партнеров за стол переговоров, а там уж пусть договариваются, как считают нужным. У нас, как и у американцев, есть, естественно, свой взгляд на каждое из противоречий, раздирающих регион, как и на всю ситуацию в целом. Основа тут для нас — необходимость выполнения резолюций 242 и 338 Совета Безопасности.

Израиль надо было убедить в том, что он должен-таки сесть за стол переговоров, а арабов заставить понять, что это его ожидаемое согласие — уже счет в их пользу. Раньше Израиль вообще отказывался признать, что для обсуждения есть какая-то материя. Ведь ставка на переговорах — территории, которые он должен отдать. «Мир в обмен на землю». Земля — это нечто осязаемое, а мир... Это понятие еще нужно наполнить содержанием. Словом, чтобы конференция могла все же открыться, надо не только каждой стороне — арабской и израильской, — но и каждому участнику чем-то пожертвовать. И с точки зрения давления на Израиль, у американцев одни рычаги, у нас другие. У них — таска, у нас — ласка... Та самая старая русская мудрость. Американцы уже предложили конгрессу отложить на энный период предоставление государственных гарантий под 10-миллиардный кредит для обустройства поселенцев, в основном, кстати, из Советского Союза. Наше «оружие мира» — дипломатические отношения. Пикантность же ситуации заключается в том, что нам эти отношения нужны, пожалуй, не меньше, чем Израилю, так что использовать это как рычаг тоже будет не просто...

— Словом,— заключил нашу беседу Горбачев,— поступай, как написано (моя бумага была у него перед глазами). Объявим о восстановлении отношений за пару-тройку дней до начала конференции, если только вы о ней договоритесь, а чтобы время занять — обсуждай с Леви текст письма по этому поводу. Да подольше. Пока! — он энергично, как всегда, потряс мне руку. Я уже прошел в направлении двери половину его длинного кабинета, когда он окликнул меня снова: — Слушай, Борис Дмитриевич, ты ведь через три дня летишь? Так, может, разошлем эту твою бумагу по членам Госсовета? Для верности? А? И тебе спокойнее будет.

Мне моментально припомнилась та дискуссия в Нью-Йорке, перед моим выступлением в ООН. Пугающая методика согласований была мне знакома еще с застойных времен. Кому-то покажется, что запятая не на месте, и дело застопорилось.

— Михаил Сергеевич! — взмолился я.— А может, не надо? Рискнем? Я беру все на себя. Ведь я докладывал Госсовету о результатах работы на сессии ООН, в том числе и о беседе с Леви. Возражений не было. Восстановление отношений — вопрос, в сущности, предрешенный.

В его взгляде скользнуло нескрываемое облегчение. Так уже не раз бывало, когда он предлагал сделать то, что на самом деле его не устраивало. И радовался, когда его же вроде бы предложение «не проходило».

— Да нет,— вырвалось у него,— я-то не боюсь... мне-то... Давай, ладно, поезжай, приветы там передавай, кто заслуживает,— заторопился он, словно опасаясь, что новый виток разговора может привести нас к нежелательным осложнениям.

Я еще раз убедился, как прочно сидели в нем иные предрассудки и как трудно ему было переламывать их в себе. Нет, не только «особое мнение» какого-нибудь члена Госсовета его сейчас беспокоило. Иногда мне казалось, что перед его мысленным взором все время маячит некий указующий перст из будущего, и он, помимо воли своей, непрерывно примеривает, а что же будет сказано или написано о том или ином его поступке и решении. О том, что было и чего не было при нем.

Кажется, что Ельцин ведет себя на этот счет гораздо решительнее, если не сказать — безогляднее. Репутация человека, завершившего процесс распада Советского Союза, судя по всему, мало его смущает.

Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что Дэвид Леви с первых же минут визита, как и в Нью-Йорке, возоб-

новит свой натиск. Что я ему скажу? Предложу обсудить письмо... Вот его проект. «Союз Советских Социалистических Республик и Государство Израиль, руководствуясь стремлением к сотрудничеству и взаимопониманию в интересах народов обеих стран, решили восстановить дипломатические отношения, начиная с даты опубликования настоящего совместного Заявления, и обменяться дипломатическими представительствами на уровне посольств.

Обе стороны заявляют о своей готовности строить двусторонние отношения в соответствии с Уставом ООН, нормами международного права и на основе принципов равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Стороны выражают уверенность в том, что восстановление в полном объеме дипломатических отношений между СССР и Государством Израиль всецело отвечает задаче всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, установления прочного мира и стабильности в этом регионе, развития и укрепления международного сотрудничества».

Ничего не скажешь, хороший документ. Хоть сейчас подписывай. Именно так наверняка, если только не смутит его последний абзац, заявит и Леви? И что тогда?

Пространство для маневра было у меня небольшое. Но и жаловаться не на кого — сам себе его очертил. Как плату за возможность решения, с которым мы и так безбожно запаздывали.

Мы расстаемся с Леви сразу после короткой встречи в аэропорту Бен-Гуриона, чтобы после нашего размещения в лучшем, самом знаменитом отеле Иерусалима «Царь Давид» встретиться на переговорах в МИДе, который, как мне кто-то сказал, расположен в бывшей военной казарме. Отель же вошел в историю взрывом, который был совершен в 1946 году боевиками экстремистской еврейской организации «Иргун цвей леуми» и унес огромное число жизней. Увы, это был не первый и не последний взрыв. Кровь льется в этих местах не переставая. Вот и в эти дни, как мне объясняют, в связи с визитом Бейкера и моим приездом в Иерусалим объявлено, по существу, чрезвычайное положение. Полицейских, солдат, джипов, мотоциклов на земле, вертолетов в небе столько, что даже нашему кортежу, ради которого все и затеяно, трудно пробиваться сквозь эту кашу людей, машин и оружия.

Наш номер, вернее, резиденция в «Царе Давиде» — на трех уровнях. На первом этаже — холл и гостиная, ниже — ванная и даже маленький бассейн, на самом верху — спальня.

Говорят, это самый большой апартамент в отеле, чуть ли не больше того, в котором разместился Бейкер. Честь большая, но жить неудобно. В этом убеждаешься с первых же минут. Тут повесил пиджак, там оставил галстук... Вот и носись беспрерывно с этажа на этаж. Можно было бы воспользоваться лифтом, но это совсем уж смешно. Невольно успокаиваешь себя тем, что жить в этой роскоши предстоит всего сутки, а находиться в номере — лишь несколько часов. Вот и сейчас пора уже выйти к машинам. Корridor забит охраной, нашей и израильской, обслуживающим персоналом. К этому начинаешь понемногу привыкать. После Америки вообще уже ничему не удивляешься.

Выясняется, что планы наши несколько меняются. Только что началось непредвиденное заседание кабинета министров, и Леви, естественно, там, тем более что и заседают-то, вполне очевидно, как раз по нашему поводу.

Что ж, нет худа без добра, открывается возможность, которой мы прежде, ввиду кратковременности визита, были лишены — хоть что-то посмотреть на улицах города. Хороши бы мы были в ином случае. Садимся по машинам. Прилежно крутим головами. Все в «святом городе» кажется на редкость знакомым. Столько о нем и его истории прочитано, столько видено в кинофильмах. Хрестоматия, задерживаться на которой — обижать читателя. Что по-настоящему удивило: выйдешь из машины — русская речь вокруг. Сбывается анекдот, который успел мне рассказать, ссылаясь на иерусалимский фольклор, корреспондент «Комсомолки», путешествующий с нами: «Какой язык, кроме иврита, станет в Израиле государственным? Угадали — русский».

Предположить, что эти толпы, которые собираются вокруг нас, стоит только выйти из машины, «организованы» трудно — ведь наша прогулка не была предусмотрена программой. Охрана с обеих сторон старается вовсю — и ее понять можно, ее задача — предотвратить непредвиденные и опасные контакты. Но отовсюду протянутые руки, взгласы на русском: «Добро пожаловать!», «Когда будут установлены дипломатические отношения?», «Господин Панкин, верните нам Родину!»

«Комсомолка» напишет, не без капельки соляной кислоты, разумеется, без чего сейчас не обходится в нашей прессе ни одно сообщение: «Когда новый министр иностранных дел, укрепляя традиции последних советских руководителей, вышел пообщаться с народом в старом Иерусалиме, у стены Плача его приветствовали сотни людей, выкрикивая на русском языке: «Удачи вам!»

До невозможности коротки эти встречи, мимолетен обмен репликами, но и этого достаточно, чтобы осознать — ведь у нас здесь, действительно, более полумиллиона соотечественников. А у них по крайней мере миллиона три-четыре родственников и близких по городам и весям все еще необъятной нашей страны. Это для тех, кто сочинял и столько лет прилежно следовал закону о лишении гражданства в связи с выездом в Израиль, все они — отрезанный ломоть. Для них, чувствуя, во всяком случае для многих, покинутая страна до сих пор остается Родиной... Они живут ее интересами, болеют всеми нашими болями и комплексами, и кое-кто не без юмора замечает, что коль скоро СССР переходит, наконец, к рыночной экономике, опыт евреев, прошедших школу Израиля, просто неоценим. Тем более что и язык учить не надо — ни там, ни тут. Вопрос об установлении дипломатических отношений из проблемы чисто внешнеполитической оборачивается своей бытовой, житейской стороной.

Это чувство возрастающей близости обостряется после посещения самого, должно быть, страшного в Иерусалиме места. Это мемориальный институт Яд Вашем. Памятник 6 миллионам евреев, уничтоженных Гитлером за годы его правления в Германии. Свидетельство расистского геноцида, холокоста.

Фотографии, реконструкция газовых печей, страшные вещественные доказательства, душегубки, ветхие одежды с нашитыми сверху огромными шестиконечными звездами, пепел в мешочках, остатки костей, золото зубных протезов — вся эта уже полузабытая жуть, которая вошла в сознание моего поколения в поздние сороковые годы. И цифры, цифры, цифры — число плененных, повешенных, застреленных, сожженных, умерших от голода — по странам. Самые большие потери, конечно же, у нас, в СССР, и в Польше.

Вот уже возложен при звуках иудейской молитвы венок к вечному огню, оставлена при выходе ермолка, которую полагалось, как и в синагоге, возложить на голову. Угомонилась без конца щелкающая затворами фотоаппаратов прессы. Застывшая в камне женская фигура «Немой крик» взыскиующе смотрит нам вслед.

Только теперь вспоминаю, что предложение посетить Яд Вашем было сделано мне сопровождавшими меня хозяевами с какой-то робостью, неуверенностью. Почему? Отвечают, что, во-первых, этого не было в первоначальной программе, во-вторых, никто из официальных лиц нашей страны раньше прийти сюда не соглашался... Почему? Ведь в конце концов чуть ли не половина погибших, чьей памяти посвящен этот

мемориал, были нашими согражданами... Да и спроектирована экспозиция (уж не знаю, комплимент это или нет) по образцу тех памятных, поминальных мест, которыми покрыта многострадальная земля наша... Пожимают плечами... Что было, то было. Еще одна разительная примета разделявших нас предубеждений.

Между тем мы уже опаздываем в МИД. Он и впрямь расположен в невысоких одноэтажных павильонах, сильно напоминающих казармы. Дэвид Леви только что вернулся с заседания министров. Широко улыбается, простирает для объятий руки, но в глазах еще всполохи только что отшумевших дискуссий. Как я и предполагал, речь на заседании шла о мирной конференции, ну и, естественно, о визите «высокого советского гостя» и предстоящих переговорах с ним.

Расстановка сил примерно такова — он, Леви, пожалуй, самый очевидный сторонник участия Израиля в конференции; Шамир скептически относится к ее возможным результатам, но считает, что надо попробовать. И есть крайне правые, небольшие, но влиятельные партии, которые категорически против всяких конференций и переговоров. Голосов у них в кнессете мало, министров — раз-два и обчелся, но ведь и большинство у «Ликуд» очень хрупкое. Правые партии угрожают выходом из коалиции, а это значит — отставка всего правительства и, возможно, досрочные выборы. Один из аргументов в устах противников конференции — отсутствие дипломатических отношений в СССР. Как это понять: Израиль — сторона в переговорах, Советский Союз — сопредседатель, а отношений между двумя странами нет. Это не просто неудобно практически, это оскорбительно!

Министр как будто бы просто пересказывает позиции безымянных противников конференции, но слышится в его голосе, пусть и не в словах, он в чем-то с ними согласен, по крайней мере в необходимости безотлагательного, прямо сейчас, восстановления дипломатических отношений.

Кто-то из моих экспертов бросает спасительную реплику: в 1973 году мы тоже были сопредседателями конференции, а дипотношений у нас и тогда не было.

Леви оживляется. По его мнению, этот довод работает в пользу Израиля: может быть, поэтому конференция и не дала результатов.

Достаю проект подготовленного нами письма. Предлагаю обсудить. Леви прямо набрасывается на документ. Эффект тот самый, которого я и ожидал: у него нет никаких замечаний к письму, оно ему нравится, и он готов тут же его подписать.

Пауза. Мои эксперты, выручая своего шефа, начинают вносить редакционные поправки в нами же предложенный текст. Израильская сторона с ними охотно соглашается. Ход снова за нами. Создается положение, которое в шахматах называют цуцванг.

Предлагаю перейти к обсуждению положения дел с подготовкой к конференции. Излагаю нашу позицию. Леви излагает свою.

К счастью, время, отведенное на переговоры, истекает. Следующая встреча — вечером, в том же «Царе Давиде», где министр иностранных дел Израиля дает обед в честь нашей делегации.

До этого у меня — встреча с палестинцами. Но это уже израильской стороны не касается. Они эту встречу даже в программе визита, розданной нам, не указали, хотя, разумеется, знают о ней.

Предвижу, что переговоры с палестинцами будут не легче, чем с израильтянами. Об этом можно судить и по тем контактам, которые состоялись у нас с ними в последние недели. С тех пор решено было максимально активизировать наши усилия по подготовке к конференции. У себя на Смоленской я принимал Каддуми, одного из ближайших соратников Ясира Арафата, правда, из числа умеренных. После этого нашему послу в Тунисе пошло поручение передать лидеру ООП послание Горбачева. Я тоже вступил с ним в переписку. Речь шла о формуле участия палестинцев в конференции. Тут Израиль выставил жесткие условия. Первое — на конференции палестинцы выступают не отдельной, самостоятельной делегацией, а вместе с Иорданией. Второе условие — Организация освобождения Палестины, которую Израиль рассматривает как террористическую организацию, не признающую права еврейского государства на существование, официально в состав делегации не входит. Палестинская часть иордано-палестинской делегации состоит из палестинцев, проживающих постоянно на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Участие палестинцев из так называемой диаспоры, а также из Восточного Иерусалима, где нам как раз и предстояло с ними теперь встретиться, тоже нежелательно.

В общем-то несправедливые требования, с которыми тем не менее приходится считаться, если хочешь заполучить Израиль за столом переговоров. А это важно хотя бы потому, что его согласие на конференцию означало бы и признание того, что проблема оккупированных территорий существует, как раз то, о чем крайне правые в Израиле и слышать не хотят.

Словом, как и всегда при стремлении к компромиссу, даже посреднику, нам и США, порой трудно определить, где тут и с чьей стороны уступка, а с чьей — неоправданно большой запрос. Сами же «стороны» из тактических соображений стремятся, особенно в глазах посредников, свое положение обрисовать в самом мрачном свете, а преимущества противника — в самом радужном. Логично, что американцам при этом больше доставалось от Израиля, который привык рассматривать их в качестве «естественных союзников», а нам по тем же соображениям — от арабских государств и палестинцев.

Моя задача в переговорах в отеле «Нэшнл Пэлэс» в Восточном Иерусалиме, как я ее сам определял для себя, была двойная — постараться максимально сблизить точки зрения участников планируемой конференции и сопредседателей на формулы относительно представительства палестинцев и прощупать их реакцию на предполагаемое установление дипломатических отношений с Израилем. Эксперты рекомендовали мне набраться терпения и не впадать в отчаяние, особенно в первые полчаса. Потом все пойдет лучше.

Началось с того, что народу пришло больше, чем мы предполагали, кое-кто подтягивался по ходу беседы — это тоже принято на Востоке, — и приходилось снова и снова возвращаться к истокам, тем более что каждый из собеседников был представителем какой-либо организации и рассматривал себя не как члена делегации, а как совершенно независимого участника переговоров, и потому требовал отдельного к себе внимания. Это — по форме. По содержанию же наши партнеры тоже постарались начать все с «азов», как будто и не было позади многочасовых переговоров с нами и американцами на самых разных уровнях, как будто бы и не было переписки Горбачева и моей с Ясиrom Арафатом. Я понимал — для них это была на редкость благоприятная в психологическом плане возможность выложить все свои боли и обиды, накопившиеся за долгие минувшие годы, поделиться надеждами и чаяниями с полномочным представителем страны, которую они привыкли рассматривать своим естественным, без оговорок, союзником. И я посчитал необходимым начать именно с этого — подтвердить, что так оно и есть на самом деле. За вздохом облегчения последовало недоумение — почему же, дескать, тогда вы?!. И возвращение ко всему тому, что мы считали уже пройденным этапом. Пришлось объяснять снова — подробно и терпеливо.

— Почему мы должны будем делать вид, что наше руководство, ООП не участвует в работе конференции?

— По той же самой причине, — растолковывал я, — по какой и Израиль вынужден делать вид, что ООП не представлен в делегации, хотя для всего мира разрабатываемая нами формула — всего-навсего фиговый листок.

Постепенно, один за другим, благо никто никого не прерывает — хотя я уже безбожно опаздываю на торжественный обед от имени Дэвида Леви, — участники встречи излагают свои точки зрения, и страсти успокаиваются. Диалог с нами, практический, деловой, продолжают те, кому, как покажет время, предстоит еще долгий путь дискуссий, переговоров, ультиматумов и соглашений. И среди них — пожилой врач, один из основателей Национального совета Палестины Хейдар Абдель Шафи, который через несколько дней будет назначен Арафатом руководителем палестинской части иордано-палестинской делегации. Мне предстоит не раз еще встретиться с ним в Мадриде. Деятель, известный трезвостью и взвешенностью своей позиции. Вместе с ним — Ханан Ашрауи и Фейсал Хуссейни. Конечно, дают они понять, им предстоит доложить об итогах нашей сегодняшней беседы в Тунис — там ждут звонка, но у них есть такое чувство, что консенсус будет достигнут и конференция сможет-таки начать свою работу. Другое дело — ее результаты. Палестинцы готовы пойти на какие-то уступки в тактическом плане, но по существу дела будут стоять твердо и до конца. Право палестинского народа на самоопределение должно быть реализовано, и его представители твердо верят, что могут положиться на нашу поддержку. Восстановление дипломатических отношений с Израилем? Почему бы и нет, если это поможет главному...

В отеле «Царь Давид», где коктейль в ожидании гостя длится уже второй час, журналисты расспрашивают меня о результатах переговоров с Леви. Из нашего совместного коммюнике, опубликованного по результатам переговоров, им известно, что «стороны в конструктивном духе обсудили вопросы двусторонних отношений и намерены это обсуждение продолжить». Леви уже разъяснил, что советская делегация привезла с собой проект совместного заявления о давно ожидающемся шаге. Ну что ж, секрета из этого я и не собираюсь делать. Я все еще под впечатлением на сердечной ноте окончившихся переговоров с палестинцами. Мои помощники были того мнения, что тут, возможно, сыграло свою роль то обстоятельство, что, не будучи экспертом в ближневосточных вопросах, я разговаривал с партнерами нормальным человеческим языком, избегая сложившихся уже клише. Которые, действительно, не пристали еще, слава Богу, к язы-

ку,—думаю я про себя. Отвечая теперь журналистам, я к нашему с Леви коммюнике добавляю только несколько слов — если переговоры будут продолжены в том же духе, в каком проходили, они, возможно, будут и завершены.

Кто-то из официальных лиц в избытке чувств аплодирует, журналисты бегут в операторский зал — передавать новость в свои редакции.

Утром чуть свет звонок из МИДа Израиля: не будет ли советская сторона возражать, если на нашу сегодняшнюю встречу с Леви будет приглашена пресса? Вчера мы вели переговоры за закрытыми дверями. Значит, израильяне истолковали мой сигнал совершенно определенным образом. Отступать некуда, да и незачем. Я твердо в этом убежден, особенно после вчерашней встречи с палестинцами.

Беседа с Бейкером только укрепляет мою уверенность. Мы с ним не виделись с Нью-Йорка. Он прилетел сюда за день до меня. И его кортеж, еще более громоздкий, чем мой, трети сутки без устали снуют по запруженным улицам Иерусалима. Газеты гадают, когда же министры спят? Город полон ожиданий, и это действует на всех — на участников переговоров, на наблюдателей и просто на обывателей.

До встречи со мной Бейкер успел уже, чуть свет, повидаться с моими вчерашними собеседниками — палестинцами. Он тоже констатирует, что их позиция смягчилась. Осталось несколько, скорее, формальных моментов, касающихся чисто американо-палестинских отношений. Его люди сидят с Шафи и с Ханан Ашрауи и утрясают эти вопросы. Он рассчитывает, что уже через пару часов сможет позвонить Шамиру и сказать, что палестинская часть делегации сформирована в соответствии с договоренностью.

Газеты, правда, утверждают, что он намерен послать Шамиру список, но это не так, — уверяет меня госсекретарь. Это — неправда. Есть понимание, об этом хорошо известно и палестинцам, что он просто позвонит Шамиру по телефону.

В тех узорах, которые мы тут вместе с ним вышиваем, нет мелочей. Пренебречь хотя бы одной, даже малозначительной деталью, значит, поставить под вопрос все уже достигнутое.

Бейкер говорит далее, что, по его информации, на израильян произвело впечатление мое вчерашнее вечернее интервью прессе. Так что если сегодня действительно будет объявлено о восстановлении дипломатических отношений — вопросительный взгляд в мою сторону, — это выбьет окончательно козыри у правых, да и Шамиру, — Бейкер хитро по-

сматривает на меня, — после этого деваться будет некуда.

Мы заговорщики потираем руки и садимся редактировать официальный текст приглашения на конференцию, который, если все пойдет так, как нам сейчас это представляется, будет оглашен сегодня же, во второй половине дня на нашей совместной пресс-конференции, а затем разослан от имени Горбачева и Бейкера главам государств-участников, то есть королю Иордании Хусейну, президентам Асаду, Мубараку лидерам Ливана и Израиля. Это — основные участники, те, кто сядет за стол двусторонних переговоров сразу после завершения пленарной части конференции.

Тут Бейкер просит меня остаться с ним один на один. Говорит приглушенным голосом, что переговоры о месте конференции, которые он вел от имени двух наших стран, показывают, что наиболее подходящим местом для этого будет Мадрид. В его пользу — предварительный зондаж, проведенный среди основных эвентуальных участников конференции, а руководство страны готово нести расходы. Мадрид так Мадрид. У меня на этот счет нет особых преференций. Я, правда, слегка лоббировал Прагу, которая тоже подавала заявку, но ей пока трудновато все же соревноваться с Мадридом.

Словом, все вроде бы идет как надо. Еще и еще раз убеждаю себя, что не нарушу полученных мною от президента инструкций, подпишу сегодня с Леви заявление. Ведь главное тут — не в дате, в уверенности, что это действительно будет способствовать созыву конференции, а теперь сомнений в этом нет.

И вот только я успел об этом подумать, как наше с Бейкером единение прерывают его ближайшие помощники, кажется, это были Дэнис Росс и Маргарет Татуайлер. Извинившись, они что-то сообщают Бейкеру в конфиденциальном порядке. Возвращаются мои главные эксперты — Колотуша и Дерковский. С помрачневшим лицом Бейкер говорит в чем дело. Те «технические» вопросы с палестинцами, которые, по его убеждению, носят чисто двусторонний характер, урегулировать до конца не удалось. И он не может сделать тот звонок Шамиру, без которого, как он договорился с Бушем, американская сторона не может пойти на объявление о созыве конференции...

Вот так, в одну минуту рушится с таким трудом построенный воздушный замок.

Но и это, увы, не все. У моих помощников «подарок» и для меня. Один из них протягивает мне свежий номер израильской газеты «День» на русском языке. 18 октября

1991 года. Крупно — заголовок «Перес в Москве». Сообщается о том, что лидер оппозиции Шимон Перес имел в Москве двухчасовую встречу с Горбачевым. «На этой встрече, — писала газета, — Горбачев сообщил гостю, что дипломатические отношения будут установлены, когда станет известна дата созыва региональной конференции по Ближнему Востоку». Вот так!

Еще десять минут назад эта заметка только бы обрадовала меня. Ведь Горбачев, по существу, сделал шаг вперед по сравнению с тем, о чем мы с ним говорили в Кремле перед моим отлетом в Израиль. Не за день или два до начала конференции, а в день, когда о ней будет объявлено. Это как раз совпадало с моими нынешними намерениями и «снимало» то мое легкое своееволие, на которое я намеревался «в здравом уме и твердой памяти» пойти.

Я перевел с листа заметку Бейкеру. Он, разумеется, все понял без слов. Спросил меня, как же намереваюсь теперь поступить? Я неопределенно сказал, что в любом случае поеду сейчас на переговоры, которые начинаются через полчаса. Несколько минут мы сидим с Бейкером молча. Мрачные, в раздумье. Тут еще приближается священная для евреев суббота — и уже в пятницу с заходом солнца прекращается любой вид активности.

Вот и снова на моем пути ситуация, из которой, как ни старайся, формально безукоризненного выхода не найдешь.

Как-то в Праге мне попала в руки малоизвестная статья бывшего чехословацкого президента Эдуарда Бенеша, который пришел к власти сразу после второй мировой войны и ушел в отставку и вскоре умер после «тихого» бескровного коммунистического переворота в феврале 1948 года. Статья называлась «Демократия и дипломатия», и автор рассуждал там о двух типах политика — дипломате-художнике, у которого верх берут чувства и интуиция, что отдает авантюризмом, и ученом, который делает акцент, порой преувеличенный, на фактах и их скрупулезном анализе, в результате чего оказывается нередко просто неспособным принять решение. Боюсь, что в те минуты пришлося призвать на помощь все доступные мне эмоции и все потенциальные способности к размышлению.

Поступить надо так, как велит тебе твоя совесть, долг Твой внутренний голос, как любят говорить юмористы. И я решаю, что обязательно подпишу с Леви письмо. У меня нет сомнения, что это будет только на пользу делу, ради которого я сюда приехал. А там — пусть хоть голова с плеч...

Я сажусь в машину. Эскорт трогается, полицейские сире-

ны заводят свою, уже привычную песню. Едем в израильский МИД.

А там все идет как по-писаному. Мы подтверждаем друг другу, что текст заявления о восстановлении дипломатических отношений нас устраивает, что каждый из нас готов его подписать, потом садимся за один стол и подписываем. Под лучами юпитеров и вспышек несколько раз жмем друг другу руки. И только выражение лица у меня, боюсь, несмотря на все мои старания, не адекватно праздничности момента, хотя в глубине души я радуюсь совершаемому ничуть не меньше, чем мой коллега, министр Леви, и все окружающие. Может быть, это был первый в моей жизни момент, когда, подобно Горбачеву, я подумал об истории и о том, что как бы дело ни пошло дальше, под этим документом всегда будет стоять моя подпись.

И вот когда, подписав документ, мы снова рассаживаемся по своим местам и заводим разговор о практическом исполнении того, под чем мы только что подписались, мне на стол текстом вниз кладут записку. Я переворачиваю и читаю. Дружище Бейкер! Он-таки решился, если у меня не будет возражений, объявить сегодня вместе со мной о созыве конференции. Объяснение с палестинцами и Израилем он берет на себя. В конце концов детали, которые остались еще нерешенными, носят действительно технический характер. Пресса сидит и ждет. Но надо поторопиться, напоминает он, потому что сегодня пятница, канун субботы, и все спешат попасть домой до установленного законом часа.

Надо ли говорить, какой камень упал у меня с души и с каким лицом шагнул я вместе с Леви из дверей израильского МИДа на встречу с журналистами. А они-то еще не знали, что впереди у них еще одна сенсация.

Беседуя с премьер-министром Шамиром — а встреча с ним последовала сразу же после обнародования нашего с Дэвидом Леви Заявления, — я весь был уже там, в отеле «Царь Давид». Вот и его огромный холл. Улыбающийся и нетерпеливый Бейкер. Он показывает завершенный за время моего отсутствия проект нашего совместного заявления о рассылке приглашений на конференцию в Мадрид. То, что она начнется 30 октября, у нас давно было обусловлено. Соответствующим образом спланировали свое время и президенты двух стран, которым предстояло выступить при открытии. Когда мы уже усаживаемся за стол перед несметной толпой журналистов — это вторая моя пресс-конференция за последний час, — я в шутку говорю Джеймсу, чтобы он не забыл упомянуть о том, что в руках у него наше совместное

заявление. Потом мы вместе отвечаем на вопросы. Их, впрочем, немного. Журналисты узнали главное и торопятся вступить в контакт со своими редакциями, сообщить новость, которую ждали столько времени и в которую уже почти перестали верить.

Я, однако, успеваю добавить одну, очень важную, на мой взгляд, вещь: договоренности о созыве конференции удалось достичнуть благодаря тому, что все ее будущие участники оказались способными на компромиссы. Изменились и подходы стран-сопредседателей. Сломан тот стереотип, в соответствии с которым предполагалось, что СССР априори настроен антиизраильски, а США — антиарабски.

Пресса и в тот день, и на следующий цитировала мое замечание. Но один журналист, кажется, это был Фридман из «Нью-Йорк Таймс», ухватился и за другое.

Чуткие современные микрофоны уловили фразу, брошенную мною Бейкеру в начале пресс-конференции, насчет авторства заявления, которое он зачитывал, и это дало повод Фридману порассуждать относительно «подчиненной роли» советской дипломатии — у советского министра даже бумажки в руках не было. Я не оставил его реплику без внимания и отреагировал на нее в Мадриде. Там, когда мы с Бейкером давали пресс-конференцию по итогам Мадридской встречи, мы, по добруму согласию, поменялись ролями. Я зачитывал наше совместное заявление, он комментировал его устно. Я обратил на это внимание прессы, и дружным смехом журналисты оценили этот ход.

Ну а в Дамаске, куда мы прибыли через два часа после пресс-конференции в отеле «Царь Давид», меня ждали не приятности посеребренее.

Но я об этом пока не знаю, и в салоне самолета все мы живем еще тем, с чем только что расстались в Иерусалиме. Если бывают часы и минуты, когда энтузиазм и воодушевление господствуют безраздельно, и те, кто вчера еще чуть ли не по разные стороны баррикад стоял, чувствуют себя заодно, то эти полтора часа, что провели мы в самолете по дороге из Иерусалима в Дамаск, были как раз такими. Журналисты выпытывают какие-то недостающие им детали у мидовцев. Те, по традиции, весьма скучные на слово, сейчас неузнаваемо красноречивы. Дух успеха царит в салоне.

— Какой бы высокой ни была активность американской дипломатии, без нас посадить участников конференции за стол переговоров никому бы не удалось,—вещает наш главный эксперт по Ближнему Востоку, благо журналистская аудитория как никогда настроена его слушать.

Кто-то торопится сказать, что коль скоро СССР и США так эффективно задействовали свой дипломатический арсенал, чтобы вырвать у противоборствующих сторон согласие на конференцию, она станет еще одной вехой в создании совершенно нового качества самих советско-американских отношений.

Особенно много толков, разумеется, вокруг дипломатических отношений с Израилем. Скептиков нет. По крайней мере здесь и сейчас. Образно говоря, они остались в Иерусалиме или еще ждут по ходу маршрута. Один из них — корреспондент «Правды» в Каире — еще во вчерашнем номере предостерегал относительно этого шага. Даже заголовок такой дал «Поберечь бы козыри».

Кто-то принимается рассуждать, какую глупость сделали мы в 1967 году, когда разорвали отношения с Израилем, уже в третий раз за каких-нибудь двенадцать лет. А в 1947 и в 1948 годах даже у Сталина, при всем его оголтелом антисемитизме, хватило ума и проголосовать сразу за еврейское и палестинское государство и установить с Израилем дипломатия чуть ли не первым... Разорвав же их, мы фактически выпали из процесса, все эти годы были, что ни говори, сбоку припека...

Кто-то вспоминает, что Израиль, пожалуй, вторая страна после нашей, где так чтут 9 мая — День Победы. И кто-то замечает, что, мол, не надо обольщаться — отнюдь не все наши бывшие граждане в Израиле будут приветствовать установление отношений: решат, что у нас теперь больше рыбаков нажима на Израиль. Ему возражают: вспомни эти возгласы — будем всю жизнь молить за вас Бога.

Своеобразный итог подводит наш шеф по связям прессой, который привык на своих брифингах в МИДе говорить отточенными формулами. Теперь он как бы проверяет на нас свою следующую встречу с прессой: мало найдется в истории дипломатии двух таких дней подряд, какими были эти — 17 и 18 октября 1991 года.

Желая несколько приглушить патетику, напоминаю слова Бейкера, тоже на пресс-конференции: впереди еще долгий путь, подозрительность в одночасье не исчезнет. Ну и как в воду глядел. Пока мы с Шараа приветствовали друг друга у трапа самолета, пока сидели в ВИПе на софе и отвечали на вопросы журналистов, мой сирийский коллега, с которым мы познакомились еще в Нью-Йорке, как-то еще «держал лицо», но стоило нам сесть в машину, длинный представительский «мерседес», как он буквально набросился на меня: как вы могли в такой момент установить отношения с Израи-

лем, почему вы не посоветовались с нами? Неужели нельзя было это отложить? Я не знаю, что завтра будет в прессе!

Поток этих восклицаний и риторических вопросов, к тому же в тональности, совершенно не свойственной дипломатическому языку, тем более стилю восточной дипломатии, продолжался до тех пор, пока я не был вынужден в шутливой, правда, манере, предложить коллеге вернуться в аэропорт. Только тут он понял, что перехватил, и притих. Через несколько минут мы заговорили о программе визита. И снова — что-то не то. Еще вчера утром мой помощник сказал мне, что окончательно утряс все детали по телефону с сирийским МИДом, а теперь выяснилось, что график визита состоял в основном не из мероприятий, а из вопросительных знаков. Правда, все изменения шли со ссылкой на наше двухчасовое опоздание.

— Планировали официальный ужин, но теперь его пришлось отменить. Для переговоров тоже времени не осталось, так что придется начать их завтра утром, и визит к президенту состоится поэтому позднее...

Мне было все ясно. Вести из Иерусалима застали хозяев врасплох. Им нужно время, чтобы собраться с мыслями. Утром наши предположения подтвердились. Когда, позавтракав в номерах, мы в 9.45 готовы уже были садиться по машинам, взволнованный шеф протокола сирийского МИДа попросил нас немного подождать. Министр задерживается в правительстве. Около часа мы чинно, парами, все в черных костюмах, из уважения к хозяевам, прогуливались вокруг отеля, любовались окружающими его горами. Кто-то из сопровождающих показал на большую ярко-зеленую рощу на склоне одной из гор. Новая резиденция президента. Он принимает там только глав правительств и государств.

Интересно, где он примет нас? И примет ли?

Минуты тянулись мучительно медленно. Тревожные мысли теснились в голове. Но паники не было. Ни у меня, ни у моих помощников. Зато было время поразмыслить над происходящим. Вчерашняя встреча в аэропорту и нынешнее утро давали для этого достаточно повода. Я теперь мог воочию убедиться в том, о чем мне рассказывали в ходе подготовки к этой поездке специалисты по Ближнему Востоку. Да и раньше приходилось слышать об этом не раз. С какой бесцеремонностью могут обходиться с нами, даже на таком уровне, наши, казалось бы, лучшие друзья. Можно подумать, что это не мы им, а они нам помогают, снабжают оружием, выделяют безвозмездные, по существу, кредиты. Делятся ноу-хау, посыпают специалистов и советников. Как будто не

они нам, а мы им должны... А кто виноват? Мы сами и виноваты. Так повелось еще с Хрущевым. Достаточно тому или иному лидеру, тому или иному режиму — и не только на Ближнем Востоке, возьмите Кубу или Афганистан, Эфиопию или Анголу — вставить слово «социалистический» в название страны или в собственный титул, и пожалуйста — он наш лучший друг. Мы за него и в ООН горой, и пышнейшими визитами обмениваемся, фестивали на вес золота устраиваем, кучу долларов вбиваем, смотрим сквозь пальцы, а то еще и поощляем самые различные художества по части прав человека... Ведь кто такой был, например, Менгисту Хайле Мариам? Самый настоящий бандит, палач собственного народа — а у нас он проходил как истинный революционер, чуть ли не марксист-ленинец...

И так до самого последнего времени. Года три назад, приехав в командировку из Стокгольма, я был у Шеварнадзе. Заговорились. Ему позвонили по внутреннему телефону. Он озабоченно взглянул на часы:

— Надо ехать в аэропорт встречать Менгисту. Попросил вчера Михаила Сергеевича об экстренном визите. Без огласки.

— А не пора ли нам с этим Менгисту?..

— Нет, нет, нельзя,— как взрослый на подростка посмотрел на меня Эдуард Амвросиевич.— Это наш друг.

Может быть, он уже и забыл об этом эпизоде, но мне запомнилось.

...А время между тем идет. Наш посол в Сирии приносит еще одну беспокоящую весть. Дело в том, что согласно по неволе сложному регламенту, который разработан для созыва конференции, послы СССР и США в каждой из стран, которым мы вчера с Бейкером разослали от имени президентов приглашения, должны вдвоем — «совместный демарш» — посетить министра иностранных дел «или лицо, которое он назовет», и передать это приглашение. И получить ответ, предположительно позитивный. Так вот Эль Шараа и сам не нашел пока времени принять послов, что еще можно объяснить в этой ситуации, и лица, которое это могло бы сделать по его поручению, не назвал. А это уже тревожнее.

Наконец часа через полтора — мы уже успели и погулять, и вернуться в номера, и снова выйти подышать свежим воздухом — прибежал взволнованный шеф протокола: сейчас появится министр, и надо будет сразу ехать к президенту.

Вздохнул с облегчением, но виду не подаяю.

— А разве переговоров с министром перед встречей не будет? — спрашиваю как ни в чем не бывало. Протокол раз-

водит руками: я, мол, ничего уже не понимаю. Но по настроению его угадываю все же, что дела наши пошли на поправку.

Вот наконец появляется и Эль Шараа. Вчерашнего раздражения будто и не бывало. Подтверждает тоном человека, с удовольствием делающего вам большой подарок, что через двадцать минут нас в своей новой резиденции — той самой, мелькает у меня, — ждет президент. Так что, если мы готовы и если у нас нет других планов — вот это уже начинаются чисто восточные церемонии, — мы можем прямо сейчас поехать. Резиденция высоко в горах — министр показывает в сторону уже знакомой мне купы деревьев, — так что времени у нас в обрез.

Хорошо, что мы все в сборе, что папки с бумагами в руках у экспертов, традиционные подарки — альбомы, хрусталь — в багажниках машин. Поехали!

Из отеля виделось, резиденция прямо нависает над нами, но оказалось, чтобы только к подножию горы попасть, на которой она построена, надо миновать полгорода. Позднее, во второй половине дня у нас еще будет время побродить по старому Дамаску, городу с многотысячелетней историей, городу-сказке, но кварталы и улицы, которыми мы сейчас проезжаем, неприятно поражают своим сходством с нашими Черемушками, Мневниками и иже с ними. Чувствуется знакомый почерк наших архитекторов и строителей, которые считают своим долгом, а вернее, по подсказке своих ведомств, под всеми широтами возводить совершенно одинаковые, похожие друг на друга унылые гиганты из стекла, железа и бетона. Только в очертаниях балконов и окон слегка просматривается лицемерная дань климату и традициям.

Но вот мы миновали наконец город, начинается наше восхождение — иного слова не подберешь — к резиденции.

От массивных ворот — длинный путь, все вверх, вверх, к главному подъезду. От него широким торжественным холлом — под ногами роскошный ковер, стены из стекла — в огромную залу. При входе в нее нас приветствует, просто и непринужденно, президент.

Садимся в кресла, заботливо предложенные хозяином. Чай, кофе? Фрукты? Короткий рассказ о месте, где мы находимся. Извинения, с добродушной улыбкой, за некоторые изменения расписания. Как провели первую ночь в Дамаске? Впервые на Ближнем Востоке? Какие впечатления от Иерусалима? Постепенно подходим к тому, что, собственно, меня и привело в Сирию (и другие страны региона).

В годы работы главным редактором «Комсомольской

правды», а потом и в ВААПе, я частенько бывал в наших среднеазиатских республиках, доводилось встречаться с их лидерами, в том числе и с покончившим с собой Рашидовым. В форме общения с гостем нахожу что-то общее. Восточные традиции.

Я знаю, что Асаду немалых усилий над собой стоило — в беседах с Бейкером, а потом и с нашими представителями — дать в принципе согласие на конференцию. Это согласие обставлялось столькими условиями, оговорками, что порой — как жаловался мне Бейкер еще в Москве, а потом не раз и по телефону — и сам не знаешь, есть оно или его нет. Только накануне моего отлета в регион после обращения Горбачева и последней, буквально два дня назад, встречи с Бейкером Асад подтвердил свое согласие на... «рассылку приглашений». Сообщения о том, что оно принято, мы до сих пор не получили. Однако теплые приветствия президента обнадеживают.

Коль дело сделано, хорошая мина только украшает деятеля такого масштаба, — пытаюсь думать за президента.

Как бы скептически ни относился он сам на ранних этапах к перспективе созыва конференции, в стране есть — он сейчас не говорит, но это хорошо известно — силы и весьма влиятельные, которые настроены еще более негативно, и в позиции президента видят недостаток твердости, решимости противостоять натиску Запада и Израиля. И Асад не может их игнорировать. Сам же он понимает, — продолжаю я строить свою рабочую гипотезу, — что ему пора, пока еще не поздно, менять имидж диктатора, ястреба, благо дело еще не зашло так далеко, как у Кастро или — еще более впечатляющий пример — у Саддама Хусейна. Он не хочет, чтобы в мире его ставили на одну доску с ними.

Конференция — хороший способ расставить все по своим местам. На нее следовало пойти, что бы там ни говорили экстремисты, чтобы показать, что и он, Асад, готов к разумным, взвешенным шагам в духе времени. Но уж в ходе самой конференции стоять твердо, ни уступая ни на йоту. И это будет хорошим уроком всем скептикам и маловерам внутри страны. А то, что СССР — наш старый, верный и надежный друг, — как будет сказано в коммюнике с сирийской стороны об этой встрече с советским министром, — выступает сопредседателем этой конференции, лишний раз свидетельствует, что мы на правильном пути. Ну а как можно выступать коспонсором, не имея отношений с одной из спорящих сторон? Так что акт, совершенный новым министром иностранных дел в Иерусалиме, вполне вписывается в общий ход подго-

товки конференции. И Советский Союз можно только поздравить с таким удачным ходом.

Последние фразы — это то, что президент произносит вслух. И я в этот момент не могу краем глаза не глянуть в сторону своего коллеги — министра Эль Шараа. Не было в тот момент человека, который был бы более согласен со своим президентом.

— Да,— говорит он, окидывая нас с президентом лучезарным взором,— отклики на ваш визит в Израиль хорошие. Наша пресса сегодня об этом много пишет.

Я в ответ подробно и откровенно — не было никакой нужды что-то скрывать или хитрить — излагаю нашу позицию, которая уж известна читателю.

Встреча с Асадом имела решающее значение. В беседе с советским министром иностранных дел свое твердое «да» конференции сказал лидер страны, у которого больше других было сомнений в целесообразности такого форума. В тот же день Эль Шараа принял советского и американского послов и заявил, что приглашение в Мадрид принимается. Об этом было заявлено и в коммюнике сирийцев по итогам моего визита.

Через час после встречи со мной Асад принял Ясира Арафата и в беседе с ним подтвердил свою позицию. Это была их первая встреча после многолетнего перерыва, что тоже служило хорошим знаком.

После трех критических дней в Иерусалиме и Дамаске, визиты в Амман и в Каир, при всей их насыщенности, при вечном дефиците времени, когда спать приходилось не более четырех-пяти часов в сутки, вспоминаются, скорее, как прогулки, где полезное гармонично сливалось с приятным. Продолжительные встречи с королем Хусейном, президентом Мубараком, их премьер-министрами и моими коллегами — министрами. Пирамиды, сфинксы, музеи, мумии Тутанхамона и Рамзеса II. Мертвое море, в водах которого можно сидеть и читать книгу; библейские берега реки Иордан, мечети, храмы, базары...

Но вот просматриваешь газеты тех дней, альбомы с фотографиями, которые прислали в Москву гостеприимные хозяева, собственные записи, официальные документы и публикации и диву даешься, как много и в эти дни между Дамаском и Парижем было сделано для подготовки конференции. Из туманной, почти недостижимой мечты, какой она представлялась еще при отлете из Москвы, она на глазах вырастала в реальность, к которой было приковано внимание всего мира.

Пресса — и местная, и советская, и международная — исправно публиковала отчеты о моих встречах с лидерами ближневосточных стран, в ходе которых каждый из них давал свою трактовку предстоящего форума. На виду у всех вышивалась канва ожиданий, надежд, запросов, предупреждений. Конфронтация переливалась в хрупкое согласие, согласие пестрело узорами особых мнений.

Одна за другой арабские страны, будущие участники конференции, сообщают в официальной форме о принятии приглашения сопредседателей.

В Аммане мы обсуждаем с моим коллегой министром Абу Джабером ход дискуссии по этому вопросу в израильском правительстве. Советско-израильское заявление, как и ожидалось, укрепило позиции Шамира. Кабинет шестнадцатью голосами против трех принимает решение об участии в конференции.

Экстремисты в том и другом лагере негодуют. В ходпускаются не только слова и декларации, но и оружие. На оккупированных территориях двадцать два палестинца получили ранения в схватках с израильскими солдатами. «Братья-мусульмане» организуют «масштабный митинг протesta против концепции конференции» и призывают к джихаду — священной войне. Позже, когда конференция уже начнется, они объявят, что все ее участники приговорены к смертной казни.

...Президент Мубарак рассказывает мне, что достигнуто согласие о той встрече лидеров заинтересованных арабских стран, о которой тремя днями раньше упоминал и Асад. Конференция буквально на днях — время на вес золота — состоится в Дамаске. Из Тегерана приходит сообщение, что там началась четырехдневная конференция «В поддержку исламской революции народа Палестины», и принимающий в ней участие генсек экстремистской организации «Хезболлах» уже при открытии заявил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить конференции в Мадриде. Несогласные с решением израильского кабинета министров члены правительства грозят своим выходом из него. Примерно в том же духе высказываются несколько экстремистских палестинских организаций, входящих в ООП.

Мадридская конференция по Ближнему Востоку — еще пять дней назад это название ничего не говорило миру, а сейчас его повторяют все.

Газетчики наперебой спешат разгадать еще одну загадку, сопутствующую подготовке к Мадриду. Дело в том, что в те же дни по тому же маршруту, что и я, совершил поездку Ясира Арафат. Его компактный самолет, тот самый, на кото-

ром он несколькими месяцами позже совершил вынужденную посадку в Сахаре, приземляется и взлетает с аэродромов в Дамаске, Аммане и Египте то часом позже, то часом раньше нашего. И каждый день пресса предрекает, что вот уж сегодня-то в Аммане, нет, теперь в Каире, состоится встреча Арафата и Панкина. Не было секрета в том, что Арафат попросил о такой встрече еще до моего вылета в Иерусалим. Я, естественно, немедленно ответил согласием и готов был побеседовать с ним в любой из столиц, которые в те достопамятные дни посетил. Но он все откладывал и откладывал встречу и, наконец, назвал Париж, куда направлялся из Каира, чтобы принять участие в Международной конференции по Камбодже.

В Париже, по приезде в резиденцию посла на улице Гренель, я узнаю, что Ясир Арафат уже ждет меня.

Мы вспоминаем, что впервые встретились еще в 1983 году, когда он побывал в Стокгольме по приглашению Улофа Пальме. Арафат говорит — о благословенный восточный политес, — что слышал много хорошего обо мне от своих представителей в Стокгольме и Праге, гордится советско-палестинскими связями и по-прежнему надеется на твердую поддержку Советским Союзом справедливого дела палестинского народа.

О его заявлениях в связи с путчем, да и ранее, в связи с агрессией Ирака против Кувейта я не упоминаю, он, чувствуя, признателен за это. Сдержанность приносит плоды. Арафат сообщает, что решение об участии палестинцев в конференции принято. Формула, пусть и несправедливая, навязанная, будет тем не менее соблюдаться. Мы расстаемся друг с другом у порога резиденции, на глазах у многочисленной прессы, для которой мой гость делает заявление.

В изложении «Известий» оно выглядит так: «Мы высоко оцениваем усилия СССР и Соединенных Штатов, направленные на созыв конференции в Мадриде. Эта очень важная конференция, без сомнения, состоится в конце месяца и, как мы рассчитываем, поможет мирному урегулированию в регионе на основе международной законности».

Я думаю о том, что эти слова, несомненно, и Бейкеру облегчат согласование с палестинцами тех самых «последних технических деталей», которые еще его беспокоили, когда мы прощались в Иерусалиме.

Так в Париже звучит заключительный аккорд моего путешествия по четырем странам Ближнего Востока, в ходе которого восстановлены отношения с Израилем и объявлено о созыве 30 октября, то есть буквально уже через неделю,

Мадридской конференции. Тогда же было условлено, что открытию ее будет предшествовать, там же, в Мадриде, событие, которое само по себе выглядит в глазах мирового сообщества историческим — саммит, встреча на высшем уровне президентов СССР и США. На этот раз ей придается особое значение, поскольку, как все знают, это еще будет и первый выезд Горбачева после разгрома путча за пределы Советского Союза.

Никто тогда не предполагал, в том числе и я, и он сам, что это будет и последний его выезд в качестве главы государства, что и само государство перестанет существовать ровно через два месяца.

Не предполагал этого, естественно, и президент Франсуа Миттеран, когда, принимая меня в Париже, передал приглашение Горбачеву навестить его в его поместье на обратном пути из Мадрида в Москву.

Поздняя осень, последние дни октября. Бабье или, как его здесь называют на английский манер, индийское лето. Мадрид празднично оживлен, Мадрид встречает высоких гостей со всех сторон света. В торжественном убранстве резиденция королей — дворец «Ориенте», где 30 октября в 10 часов утра по среднеевропейскому времени откроется Мадридская конференция по Ближнему Востоку.

А в рядах нашей делегации, начиная с ее главы, Президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева, настроение элегическое. Двойственное, противоречивое чувство не оставляет меня и сейчас, когда, вспоминая о тех поистине исторических днях, я пишу эти строки.

Было чему радоваться, было от чего торжествовать. С того самого, совсем еще недалекого дня, когда в Иерусалиме мы с Бейкером объявили о дне и месте конференции, тема эта доминировала в средствах массовой информации всего мира. И если бы кому-то пришла в голову мысль собрать воедино все, что тогда было сказано и написано об извечноном, начавшемся еще с Сима, Хама и Яфета противоборстве в этих загадочных и манящих к себе краях, называемых недаром родиной человечества, получилась бы великолепная хрестоматия — благородства и подлости, верности и коварства, невиданной жестокости и неслыханного самопожертвования. Знаменательные вехи этой уходящей в глубь тысячелетий истории то отделены столетиями, то непрерывно следуют друг за другом. Только почти полвека советско-израильских отношений, когда их курс менялся чуть ли не ежегодно, чего стоят.

Века, отмеченные враждой, нетерпимостью, и вдруг — впервые за исторически обозримое время — луч надежды. Кровные враги собирались сесть за один стол, который даже смактирован был таким образом, чтобы те, кто отдален больше всех, оказались бы и ближе всех друг к другу — палестинцы и израильтяне.

И хотя до последнего часа, до последней минуты, до того самого мига, когда мне суждено было ударить молотком по столу и объявить конференцию открытой, в воздухе висела, страницы газет пропитывала тревога, что все еще может сорваться, рухнуть, подобно вавилонской башне, в очередной раз в пропасть предрассудков и гордыни. Опасаясь этого, даже завзятые пессимисты и скептики в прессе макали в те дни свои перья не в желчь, а в нектар.

Находили, например, особый смысл в том, что конференция собралась именно в Мадриде, давшем миру образ Дон-Кихота, символа благородства и безрассудной самоотверженности; в Мадриде, где, как и на Ближнем Востоке, соседствуют, только давно уже мирно, три великие религии — христианская, мусульманская и иудейская.

Сопредседательство двух великих держав, чье былое ожесточенное соперничество в регионе только подливало масла в огонь, называли залогом грядущего успеха: они помогут региону, и это сблизит их самих.

Никто не ждал немедленных результатов, тем более решающих, но историческим называли, во-первых, сам тот факт, что конференция все-таки собралась, и, во-вторых, то обстоятельство, что за время ее пленарных заседаний, как показал ход событий, никто не рискнул встать и покинуть стол переговоров. Как бы порой ни силен был инстинкт сделять это.

То, о чем раньше и заикнуться было невозможно, теперь обсуждалось публично, по крайней мере в прессе: самые различные варианты решения самых неразрешимых, казалось бы, проблем. Демилитаризация Голанских высот, переходное правительство на оккупированных землях Западного берега и сектора Газа, Восточный Иерусалим — столица палестинской автономии, уход Израиля из Южного Ливана — слухи, предположения, «утечка» информации...

Всеказалось возможным в те дни. И всматриваясь в лица арабов и евреев, которых «наконец-то удалось посадить за один стол», люди вспоминали, что палестинцы по крови-то вовсе не враги евреям, а скорее, двоюродные братья, может быть, те самые «исчезнувшие двенадцать колен Израиля», которые доставляют историкам столько хлопот.

Вспоминали о том, что в промежутке между объявлением о созыве конференции, прозвучавшим в Иерусалиме, и ее началом в Мадриде состоялось заключительное заседание конференции по Камбодже в Париже. Потрясало, с одной стороны, что за тем же самым столом сидели, по существу, палачи и жертвы, но и обнадеживало — еще одно свидетельство, что нет другого способа восстановить мир, как переговоры, мирный процесс, поиск компромисса.

Незамеченным осталось и то, что сопредседатели той, Парижской конференции — министр иностранных дел Дюма и его индонезийский коллега Алатас передали эстафету успеха американскому и советскому министрам, которые вместе с ними подписывали документы по Камбодже. Лишь бы не останавливались часы!

Вспоминаю, что слова Дюма, прозвучавшие через два дня после завершения поездки на Ближний Восток, не на шутку растрогали меня, обострили чувство ответственности, осознание «миссии», без чего, наверное, нельзя всерьез рассчитывать на успех в любом благородном деле. Хотя, естественно, само по себе это ощущение — еще не гарант успеха. Я был совершенно искренен, когда в интервью иерусалимской газете «День», данном уже в Москве по возвращении из Мадрида, говорил, что верю — впрочем, я и сейчас в это верю — в некую самодовлеющую силу процесса переговоров, лишь бы они начались. Что есть какая-то магическая сила в самом механизме мирного урегулирования и есть уже определенный эталон такого механизма, которого можно, с определенными поправками, придерживаться в разных ситуациях в различных регионах...

Может, и оттого еще я чувствовал себя в те дни в Мадриде оптимистом, что не было в прессе недостатка в указаниях на роль стран-сопредседательниц. И если раньше доминировала мысль о том, что Советский Союз в силу целого ряда обстоятельств, связанных с его внутренним развитием, вынужден работать чуть ли не на подхвате у дяди Сэма, то теперь, словно компенсируя недоданное, политические наблюдатели делали акцент именно на нашем участии. Своебразный итог всему сказанному подвела «Нью-Йорк Таймс»: «Наиболее важный советский вклад в конференцию состоит не в выкручивании рук своим прежним союзникам, а в предоставлении арабам того, в чем они более всего нуждаются,— символического прикрытия. Арабы никогда не восприняли бы положительно дипломатическую инициативу, на которой увидели бы единственное клеймо: «Сделано в США»,— поскольку Вашингтон всегда занимал произраильскую позицию, на чисто американское шоу арабы не пошли бы. Советский Союз поддержал их и таким образом дал возможность согласиться на переговоры».

Снова мысль о том, что мир захромает, если из игры выйдет одна из сверхдержав. Пресса, какой бы независимой она себя ни полагала, не может существовать, успешно функционировать, не улавливая направления доминирующих политических настроений. Даже ослабление нашей страны, как предполагалось временное, оборачивалось в рассуждениях политических наблюдателей силой. Советский Союз, перестав безоговорочно поддерживать все требования арабов, следует в кильватере у США? Но ведь и США перестали безоговорочно поддакивать и потакать Израилю! Идеологические шоры сброшены обеими сторонами. Государства, как и люди, не могут жить одним лишь прошлым.

В те дни в Мадриде дули ветры сотрудничества, компромисса, примирения. Несомненно этому способствовало и то, что уникальному международному форуму сопутствовала встреча на высшем уровне. Горбачев прилетел в Мадрид вечером 28 октября, буквально из-за стола переговоров с президентом Кипра Георге Василиу. Буш появился в испанской столице ранним утром следующего дня. Через несколько часов после этого они встретились в советском посольстве, провели переговоры и позавтракали. С участием министров и других высоких сопровождающих лиц. Вечером президентов принимал король Хуан Карлос. На этой встрече трех даже присутствие премьер-министра Фелиппе Гонсалеса было неожиданным, потому что не предусматривалось заранее. Горбачев вернулся в посольство, где все мы остановились, поздно вечером, приказал разыскать — собственно уже поднять с постели — меня, двух своих помощников и с помощью переводчика, то есть апеллируя к его записям, стал взвужденно пересказывать долгий и важный разговор в загородной резиденции короля. Но об этом чуть позже.

Что же касается самой конференции, то ее ход и результаты известны до мельчайших деталей. Си-Эн-Эн транслировала ее от первой до последней минуты. Сотни корреспондентов расписывали, как водится, каждое слово, каждый поворот головы основных ее участников. Упомяну лишь о некоторых, маргинальных подробностях, которые именно в силу второстепенности своей нагляднее передают нешуточное напряжение, господствовавшее в пышных королевских покоях.

В те вечерние часы, которые Горбачев и Буш провели в гостях у короля Хуана Карлоса в его загородном доме, я побывал во дворце Ориенто, гостеприимно предоставленном для работы конференции. Перед этим у нас в посольстве шефы протокола, наш и испанский, так долго и скрупулезно объясняли мне — человеку, которому завтра ударом деревянного молотка предстояло открыть конференцию, — порядок сбора, появления и рассадки высочайших и высоких гостей, то есть президентов и министров, что я совершенно запутался и попросил все это показать на месте.

Ну вот теперь все явно. Король, премьер-министр и министр иностранных дел Испании ожидают главных гостей в тронном зале, в двух переходах от того, в котором будут проходить пленарные заседания. Первыми, как расписано, появляются Буш с Бейкером. Испанцы их приветствуют и вместе с ними ждут нас. Через четыре минуты появляемся мы с Горбачевым. Приветствия, знакомства. Затем три министра иностранных дел покидают короля, премьера и президентов

и направляются в зал заседаний, где занимают свои места в президиуме — по правую сторону от трибуны. Через пять минут в зал направляются высочайшие персоны. Когда и они займут свои места, по левую сторону от трибуны, я стукну по столу молотком со словами: «Конференция... открыта».

И вот утро. Мы с Горбачевым в сопровождении тучи протоколистов поднимаемся пролетами торжественной лестницы, направляясь в тронный зал. Портретами королевских предков смотрят на нас история Испании. Я рассказываю Горбачеву то, что описал выше, не преминув заметить, что этим порядком нам оказана особая честь — американцев ждут только испанцы, а нас — испанцы и американцы.

— Американцам они это совсем наоборот, наверное, объясняли, — усмехается Горбачев. И с этими его словами мы входим в Тронный зал, где, к моему величайшему удивлению, я обнаруживаю только хозяев. Американцев нет. Значит, поменяли нас местами в последнюю минуту, думаю я, со смущением вспоминая свои объяснения Президенту. Приветствия, рукопожатия, даже объятия. Это я с королем и Гонсалесом встречаюсь впервые, а с Горбачевым они — старые друзья. Треск затворов, вспышки фотокамер, стволы телекамер... Американцев все нет, а нам с Горбачевым уже предлагают пройти в зал. Опять все не так, как мне вчера рассказывали. Спросить не у кого. Протокол в этот зал не допущен. Входим, торжественно эскортируемые, в зал заседаний и обнаруживаем — вернее, я обнаруживаю, потому что Горбачева это мало волнует, — что и здесь Буша и Бейкера на отведенных им местах нет. В зале же при нашем появлении — легкое и веселое оживление. Мы достигаем предназначенных нам мест, оживление усиливается, и нас вдруг «заворачивают» обратно. Мы возвращаемся в тронный зал и видим здесь всю большую пятерку — король, премьер, Ордоньес и Буш с Бейкером. Оказывается, Президент и госсекретарь, покинув Тронный зал преждевременно, тоже побывали уже в зале заседаний и, обнаружив свою, вернее, испанского протокола, ошибку, пошли нам навстречу — и мы разошлись. Как бы то ни было, мы наконец все вместе. И теперь уже в точном соответствии с первоначальными указаниями перестаравшегося протокола направляемся поочередно — сначала министры, потом король и президенты — в зал заседаний. Все это на виду у всей Испании да и у всего мира — Си-Эн-Эн ведет прямую, живую передачу.

Молотком я ударяю по столу тем не менее в точно назначенное время. На трибуну поднимается Фелиппе Гонсалес, потом — Буш и Горбачев... Начали!

На следующий день напряженное, но, слава Богу, ровное течение конференции чуть было не обрывается из-за словесной дуэли премьер-министра Шамира, который, оставив дома Дэвида Леви, сам возглавил делегацию, и министра иностранных дел Сирии Фарука Эль Шараа.

Стороны выступают по второму разу. Есть возможность ответить на критику. Шамир говорит, что в Сирии «один из самых репрессивных террористических режимов в мире». Может ли Эль Шараа остаться в долгу? Он предъявляет собравшимся плакат времен британского мандата в Палестине, которым объявлен полицейский розыск Шамира за участие в террористических акциях. Зачитывает «приметы преступника»: рост 165 сантиметров, большие уши, неопрятная внешность... Слов нет, Шамир сам напросился на ответный удар, но он, что называется, ниже пояса. И все это — под моим председательством. И мне как председателю вмешиваться в ход прений, тем более брать чью-то сторону не положено.

Не исключено, что Шамир своей непростительной резкостью хотел подтолкнуть сирийцев, самых трудных своих «партнеров» по переговорам, к уходу с конференции. Шараа ответил ему тем же, да еще перешел на личности. Что будет дальше?

Положение спасают жесткие, но выдержаные по тону выступления ливанца, иорданца и палестинца. И все же перерыв, объявленный мною на двадцать минут, продолжается больше двух часов. Бейкер беседует с сирийским министром, я — с израильской делегацией. Потом мы меняемся партнерами.

Наши с Бейкером выступления в завершение заседаний вносят, кажется, дополнительное успокоение.

Наступает пора — это опять выпадает на мою долю — стукнуть молотком: «Пленарное заседание объявляю закрытым». Все поднимаются с мест, но тут Эль Шараа неожиданно просит слова. «Конференция не завершена, она лишь прервана и может быть возобновлена в любой момент с согласия сторон», — говорит он. Реплика сирийского министра отражает различные толкования статуса двусторонних переговоров, которые должны начаться на днях. Арабы рассматривают их как органичное продолжение конференции, Израиль толкует как совершенно самостоятельное мероприятие. Моя формула, тщательно «обкатанная» сопредседателями, скрупулезно точно отражает суть дела. И Шараа это прекрасно понимает, конечно. Но такова уж логика полемики. «Именно это я и сказал, — я примиряюще повторяю, — закрыто лишь пленарное заседание. И оно, я согласен с уважаемым

оратором, может быть возобновлено в любое время с согласия сторон».

Дальнейшее развитие событий тоже известно. После двух дней консультаций двусторонние переговоры состоялись-таки, и именно в Мадриде, как того хотели арабы, да и со-председатели. Расставаясь в испанской столице, мы с Бейкером условились предложить следующий тур двусторонних переговоров провести в Вашингтоне, а многосторонние начать в Москве. Горбачев, который был уже дома, как всегда, не сразу согласился с идеей пригласить всех участников в Москву. Но произошло это, когда он уже не был Президентом СССР, да и сам Советский Союз перестал существовать.

Сегодня, когда отчетливо видны все ожидавшиеся и не-предвиденные сложности и завалы, которые возникли на пути миротворческого процесса на Ближнем Востоке, я все еще остаюсь оптимистом, все еще смотрю на светлую сторону... Все в мире изменилось, всюду рождается новая политика — и в России, которая стала преемницей Советского Союза, и в СНГ, и в Южной Африке, и в Албании, и в Афганистане...

И никто уже на Ближнем Востоке не может позволить вести себя так, словно берлинская стена все еще на месте, а конференции в Мадриде никогда не было. Выражение «Мадридский процесс» прочно вошло в политический, да и в повседневный лексикон мирового общения.

## МАДРИД — ПОСЛЕДНИЙ САММИТ ГОРБАЧЕВА

...Но в те дни в Мадриде разыгрывалась и другая драма, что и настраивало членов советской делегации и ее главу на элегический лад.

Все было, как обычно бывает на встречах на высшем уровне, судя по свидетельствам очевидцев и участников многих предыдущих встреч, и все же — словно вынули душу живую...

Заголовки и аншлаги в газетах, звучавшие бравурно в адрес конференции, отдавали почти похоронным звоном, когда речь заходила о саммите. «Посол несуществующего государства», «Последнее танго в Париже?» — такими веселенькими словами встречали М. С. Горбачева московские газеты.

Да, все вроде бы было, как обычно. И то, что времени на подготовку к встрече после объявления о конференции у президентов было совсем немного и какой-то формальной повестки дня не составлялось, поначалу истолковывалось даже позитивно: пора широковещательных, многоформатных встреч, обреченных на успех, прошла, как миновало, после инициативы Буша, и время утомительных, многоэтажных двусторонних переговоров по вопросам ядерного вооружения. Отношения лидеров — и личные, и на государственном уровне — стали такими, что нужда в усиленной подготовке, вернее, заготовка каких-то документов, без подписания которых и встреча — не встреча, отпала.

Буквально накануне нашего отлета в Мадрид из американского посольства передали письмо президента Буша Горбачеву. Оно касалось как раз ядерной проблематики, недавних заявлений двух президентов. Еще раньше было договорено обсудить все это в Мадриде. Теперь Буш сообщал, как, по его мнению, выглядит дело в связи «с моей инициативой и Вашим мудрым и смелым ответом». Президент констатировал, что «разительное продвижение вперед в укреплении ядерной стабильности достигнуто без продолжительных и сложных переговоров. Преодолены многие препятствия на пути к приспособлению вооруженных сил к новым реальностям отношений между двумя странами».

Буш информировал своего коллегу о том, что именно американская сторона успела уже сделать во исполнение собственных односторонних обязательств. Получалось солидно. Горбачев затребовал справку от министра обороны. Послед-

ние данные уточняли уже по телефонной и радиосвязи прямо из направляющегося в Мадрид самолета.

Помимо намерений обсудить с Бушем ближневосточные дела, Горбачев вез с собой просьбу президента Василиу, с которым расстался за час до отлета, адресованную Бушу,— активизировать участие в мирном процессе по решению кипрской проблемы. Предстояло, естественно, рассмотреть югославскую ситуацию, которая приобретала отчаянный характер. Ну и, конечно, весь комплекс вопросов, связанных с экономическим содействием Запада, «семерки»... Все последние недели Горбачев беседовал в Кремле по этому вопросу с добрым десятком глав государств и правительств, высшими представителями европейских сообществ, мировых экономических организаций и т. д. Несмотря на то что в Москве весьма энергично и эффективно шел процесс выстраивания соответствующих институтов и структур, Запад в лице своих многочисленных посланцев самого высокого уровня все вопрошал и вопрошал — с кем иметь дело, кто кого представляет... Надо было кое-что заявить Бушу и по этому поводу...

Повестка дня была длинной, и портфель с материалами в руках у Черняева был раздут до отказа. В самолете Горбачев попеременно совещался то с одной, то с другой группой своих советников. Все шло как положено. Мы заседали в одном конце салона, Раиса Максимовна, с которой я в этом полете возобновил знакомство, сидела тихо, непохожая на себя, за столиком в другом конце салона, читала книгу.

Президентский Ил-62 мало чем отличался внутренней своей организацией от того самолета, в котором я летал в Нью-Йорк, разве вот только был оборудован президентской связью. А так — такой же длинный и скучный салон с двумя столиками и парой диванов — для главного пассажира, маленькое купе — спальня, куда время от времени удалялась Раиса Максимовна. И еще две маленькие, на четыре и на шесть человек, кабины, в которых с удобствами пассажиров обычного рейсового самолета разместились мы. Я обратил внимание, что, как и в том моем самолете, самым душным и шумным был большой, то есть для главного пассажира, салон.

Перед самой посадкой в Мадриде сообщили, что чету Горбачевых в аэропорту ожидает премьер-министр Гонсалес с супругой. Мне показалось, что это сообщение Михаила Сергеевича порадовало, даже как бы приободрило. Ранее предполагалось, что и того, и другого президента встретят на рабочем уровне, тем более что Буш прибывал один, без Барбары.

На другой день встреча двух президентов в центральном холле нашего посольства была радушной, даже сердечной, особенно пока шла съемка, но всеказалось, что обмену приветствиями не хватает, как хорошо приготовленному самолету, какого-то забытого поваром ингредиента, а потому — видимость та же, впечатляющая, а на вкус... За обедом то же ощущение. И даже во время беседы в узком составе — президенты и министры.

Чего же недоставало? Во всяком случае не тем для разговоров. Тут все как положено. Обмениались мнениями по поводу выполнения разоружительных инициатив и остались довольны ходом дела. Поговорили о Югославии — Буш сказал, что здесь надо, наверное, положиться на Европейское сообщество, о Кипре — Буш закряхтел и сказал, взглянув на Бекера, что пора, действительно, возобновлять разговор с турками. Прикинули, естественно, шансы на успех Мадридской конференции. Буш задал вопрос о внутреннем положении в Советском Союзе... Началось все, естественно, с разгрома путча, с эмоциональных поздравлений американцев с победой и избавлением — ведь после путча они встречались впервые.

Постепенно я начал догадываться, в чем дело. Горбачева не могли не раздражать все эти мудрствования в прессе относительно раз渲ла страны и его положения в ней, о чем помощники президентов исправно докладывали шефам. Быть может, он ждал, что Буш как-то выразит свое отношение к этим спекуляциям. Подаст знак. Буш знака не подавал. Беседа их, вопреки обыкновению, закончилась точно в срок, так же, как и последовавший за нею завтрак. Пресса, которой не пришлось долго ждать, была, казалось, не обрадована, а огорчена этим.

На пресс-конференции многие вопросы касались предполагаемого флирта американской администрации с республиками, и Буш, опровергая это,дежурно говорил о своем высоком уважении к Горбачеву и безоговорочной его поддержке. Воодушевился Михаил Сергеевич, как я уже упоминал, только после вечерней встречи у короля. Судя по его возбужденному рассказу, там-то он и получил допинг, в котором нуждался. Король и премьер, с их опытом мирной трансформации диктатуры в демократию, говорили, как важно не медлить с реформами и в то же время не выпускать из рук рычагов власти. Демократия не может быть без порядка, без дисциплины, иначе она выродится в охлократию. И хотя замечания испанцев носили порой критический характер, именно это нужно было Горбачеву, чтобы воодушевиться и отмобилизоваться. Так под впечатлением этой ночной беседы он

и улетел — сначала к Миттерану, потом — в Москву, где его ожидало заседание Госсовета.

Под тем же настроением, видимо, он ночью переделал свое выступление на конференции в Мадриде, которое, к удивлению слушателей, оказалось наполовину посвященным нашим внутренним делам. Психологически объяснимый, но не очень удачный шаг. Делегатов, писала наутро мадридская «Паис», «удивило, что Горбачев говорил меньше, чем было отведено ему регламентом, и большую часть своей речи посвятил своим внутренним проблемам».

Откровенно говоря, меня это тоже удивило и даже разочаровало. Конференция в Мадриде была, по моему убеждению, пиком нашей внешнеполитической деятельности после разгрома путча, венчала целый ряд крупных дипломатических акций, которые гармонично вытекали одна из другой. Мы еще раз выдержали «экзамен на чин» великой державы. А это в свою очередь привело к советско-американской встрече на высшем уровне, столь необходимой в этот переломный момент. Впереди — встреча с Миттераном. И вот теперь все это как будто бы увязало в песке.

Впрочем, я и сам не мог не беспокоиться по поводу того, что происходит дома.

Между Парижем, где я, прилетев с Ближнего Востока, участвовал в конференции по Камбодже, и Мадридом у меня было всего пять дней в Москве. Уже в аэропорту, перед отлетом в Мадрид, кто-то из журналистов спросил меня, как я отношусь к заявлению министра иностранных дел Козырева, что в МИДе СССР надо в будущем оставить не более трехсот человек для исполнения тех немногих функций, которые поручат ему республиканские министерства.

Нимало не озабоченный вопросом, я выразил предположение, что это всего лишь обмоляка Андрея Владимировича. Или прессы исказила. Накануне отлета на Ближний Восток мы с ним говорили и обнаружили сходство наших подходов к распределению полномочий и к формам взаимодействия союзного и республиканских внешнеполитических ведомств.

В Мадрид, однако, пришла весть, что Борис Николаевич Ельцин высказался на заседании Верховного Совета РСФСР в том духе, что союзный МИД надо бы сократить на 90 процентов. Это сообщение озабочило меня сильнее. Но тут я решил отшутиться. Корреспонденту московского телевидения сказал, что, видимо, это — метафора. Ведь когда встречаются два человека и один другому говорит, что, мол, не видел тебя тысячу лет, никто не воспринимает это буквально.

У корреспондента московского телевидения были вопросы

о ходе Мадридской конференции — я считал это главным в интервью, — но в Останкино отсекли эту часть, зато мое замечание о метафоре передали в эфир. Несколько раз подряд. Видно, понравилось. Или хотелось рассердить Ельцина?

Юмор мой, увы, дошел не до всех. Панику на Смоленской, как мне сообщали мои первые замы Ковалев и Петровский, он не предотвратил. Послышался даже ропот, что, мол, министр сидит в Мадриде, когда дома крыша горит. Ходила даже петиция по руками, неизвестно кому адресованная. Вначале я прочитал об этом в «Известиях» и не поверил глазам своим. Мне казалось невероятным, чтобы серьезные люди, дипломаты, с которыми столько за эти без малого три месяца пудов соли было съедено, могли рассуждать таким образом. Ставить на одну доску какие-то внутриведомственные дела и судьбу конференции. Увы, наивность моя была наказана, когда из Москвы шифром мне «перегнали» заявление, подписанное одним из заместителей, моим выдвиженцем, кстати, и рядом других больших и малых начальников и экспертов, в котором черным по белому так и было сказано: надо не мир на Ближнем Востоке восстанавливать, а МИД спасать.

На дворе 31 октября. Четверг. Пленарные заседания конференции закончились. В воскресенье, отведя два дня на консультации, мы с Бейкером планировали усадить конфликтующие стороны за столы двусторонних переговоров. С тем чтобы в тот же день к вечеру и разлететься по домам с чувством выполненного долга. На понедельник, 4 ноября, было назначено заседание Госсовета. Один из вопросов повестки дня — о реорганизации МИДа. Мои основательно подготовленные предложения были еще перед Мадридом направлены в Госсовет и Президенту. Я чувствовал себя уверенно — вернулся и доложу.

— Борис Дмитриевич, — сказал мне многоопытный мой заместитель, он же главный эксперт по Ближнему Востоку Белоногов, — мой вам совет — заказывайте на завтра самолет и летите. Как раз будет у вас два дня — суббота и воскресенье — подготовиться к выступлению, успокоить народ. А мы уж тут как-нибудь справимся. Если полетите завтра во второй половине дня, успеете еще встретиться с палестинцами, они опять попросили о встрече.

Подумав, я счел за благо прислушаться к доброму совету.

В разгар подготовки конференции в одной из наших газет, кажется, это была «Независимая», мелькнул заголовок: «Как Белоногов спасал Бейкера». Это не было преувеличением. В конце сентября госсекретарь позвонил мне в Нью-

Йорк из Аммана, где он находился в очередном, восьмом по счету, вояже на Ближний Восток, попросил меня направить нашего эксперта (им оказался как раз Белоногов) в Тунис — «надавить» на Арафата, чтобы тот послал «своих людей» в Амман составлять список палестинской части совместной иордано-палестинской делегации. Он признался, что для него самого попытки заполучить их в Аммане оказались непосильными. Белоногов полетел в Тунис, где у него состоялись три встречи с лидером ООП, общей продолжительностью в семь часов. Через сутки, как совершенно точно сообщала газета, в Амман прилетела Ханнан Ашрауи. Она получила из рук Бейкера документ с американскими гарантиями палестинской стороне и приступила к формированию делегации, которое, помните, продолжалось и тогда, когда я уже покинул Иерусалим.

Теперь у Белоногова нашелся неожиданный союзник в лице Бейкера. Когда я сказал Джеймсу, что, возможно, вынужден буду улететь в Москву несколько раньше, чем мы об этом уставливались, он огорчился и в высшей степени деликатно поинтересовался, в чем причина. Поскольку вопросы о будущем МИДа Буш и особенно Бейкер, как это ни покажется странным, поднимали в беседах с Горбачевым в Мадриде: как же, мол, можно нападать на внешнеполитическое ведомство в такой момент, когда его руководитель исполняет здесь мирового значения миссию,— я решился намекнуть Бейкеру, в чем дело, и он поддержал мое решение. Даже сказал, что поговорит с Бушем, чтобы тот позвонил Ельцину. Видит Бог, у меня и в мыслях не было этого, и я до сих пор не знаю, был ли сделан такой звонок.

## ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ — ДЕНЬ ПЕРВЫЙ?

Два дня, выкроенные мною по совету Белоногова для подготовки к заседанию Госсовета, оказались отнюдь не лишними. Тем более что они совпали с субботой и воскресеньем. Хоть чуть-чуть да спокойнее.

В субботу, правда, пару раз звонил Президент — поинтересоваться последними новостями из Мадрида, поддержать дух перед Госсоветом. Зато уж в воскресенье я был полностью предоставлен сам себе в моем кабинете на седьмом этаже «высотки» на Смоленской. Ну и, естественно, все мои заместители и помощники были наготове в положении «на боевом дежурстве». Подносили справки, выкладки, статистику, последние телеграммы.

Задуматься было о чем. Ведь до сих пор, до тех первых, понапалу вроде бы и неотчетливых ударов в колокол, которые прозвучали перед самым отлетом в Мадрид, я шел вперед, не оглядываясь, «без страха и упрека». Уколы прессы мало трогали — кого она только сейчас не жалит. Сам в прошлом журналист, я относился к ним спокойнее других. Все предложения мои с ходу поддерживали, реализация их без лишних проволочек доставляла удовольствие и прибавляла друзей в тех странах, которых они касались. С интеллектуальными кругами в Москве, тяготеющими к современным подходам, было рабочее взаимопонимание.

В симпатиях Горбачева и Ельцина, с которыми я тоже регулярно встречался или обменивался звонками, у меня сомнений не возникало. Так что и теперь не личная моя безопасность и даже не ближайшее будущее МИДа волновали меня в первую очередь. Не зря же, отвечая на надоедливые вопросы журналистов, я не раз говорил: судьба МИДа — производное от будущего страны.

И вот настало время подумать об этом.

Как заявили «10+1» на V Чрезвычайном съезде народных депутатов, срыв заговора «создал исторический шанс для ускорения коренных преобразований, обновления страны».

Начинающий танцор, по русскому поверью, танцует обязательно от печки, так и я в своей деятельности министра танцевал от решений съезда. Напомню: мое появление в Москве почти совпало с его началом. Мне довелось быть свидетелем того, как Горбачев вдохновенно пересказывал первому после путча высокому гостю с Запада — премьер-министру Англии Мейджору — наметки будущих решений. На моих

глазах потом эти наметки в ходе драматических заседаний съезда обрастили мясом, по-хорошему тяжелели, трансформируясь в конституционные основы нового государства, которое рождалось буквально на глазах. С особым волнением, естественно, я следил за стремительными изменениями формулировок относительно внешней политики страны и ведающих ею органов и с облегчением вздохнул, когда положения эти в конечном счете из аморфных и зыбких, как исчезающая материя, превратились в нечто четкое, определенное. Стали хорошей основой для активной и полноформатной деятельности.

К тому же съезд предрешил роспуск Верховного Совета, спасовавшего перед путчистами, в результате чего сам собой отпал и вопрос об утверждении меня, да и других министров этим назадчивым парламентом, в отношении которого предостерегал меня Яковлев.

С тем большим интересом приглядывался я к первым шагам Государственного Совета, созданного съездом. Это была беспрецедентная в истории государства властная структура, соединившая законодательные полномочия с исполнительными.

Я участвовал в самом первом, по существу, организационном его заседании, когда авторы обращения к съезду — президенты, председатели верховных советов и другие старшие должностные лица республик — собирались сразу же по его окончании за кулисами Кремлевского Дворца съездов, разгоряченные, взорванные и... счастливые по крайней мере тем, что трое суток — ни дня, ни ночи — уже позади. То, что происходило на моих глазах, напоминало остывание металла, разлитого в новую, заранее подготовленную форму. Только что это были «10+1», и вот уже — Государственный Совет.

Обсуждали повестку дня завтрашнего заседания, а там первый вопрос — признание независимости Прибалтийских республик. Я уже два дня подряд напоминал Горбачеву, что надо решить с этим до окончания съезда. Даже написал ему по этому поводу записку. Приложил проект постановления, который следовало бы принять. И вот, потянув по своей привычке время, он решил поставить вопрос на обсуждение на Государственном Совете.

В записке Президенту я напоминал, что процесс международного признания Латвии, Литвы и Эстонии нарастает: это уже сделали 50 государств, включая все ведущие страны Запада. Неизбежно уже принятие этих стран в ООН, а также в ряды участников СБСЕ, что может быть оформлено при на-

личии консенсуса уже на предстоящей в Москве Конференции по человеческому измерению. Между тем, развивал я далее свою мысль, международный фактор, хоть он и является крайне важным в нынешней реально складывающейся обстановке, имеет сопутствующий характер. Главное же в том, что вопрос о выходе Латвии, Литвы и Эстонии из состава Союза практически предрешен — особенно после недавнего признания независимости этих республик Россией. В интересах дела — не отстать от убыстряющегося хода событий и действовать оперативно, в духе сделанных уже заявлений.

Между строк там читалось, что известная непоследовательность в этом, да и многих других вопросах, разрывы во времени между декларациями и решениями никогда ничего, кроме вреда, не приносили. Я подчеркивал, что акт этот не может служить прецедентом для других суверенных республик, поскольку признание независимости Латвии, Литвы и Эстонии связано с той конкретной исторической и политической обстановкой, которая предшествовала их вхождению в Союз. Всем было понятно, что речь идет, по существу, о занятии этих стран в 1940 году. Как в записке, так и в проекте предложенного от имени МИДа постановления вопрос о признании независимости тесно увязывался с немедленным проведением полномасштабных переговоров с ними по таким основополагающим проблемам, как вопросы армии и обороноспособности, экономическое сотрудничество, режим границ, надежные гарантии защиты прав национальных меньшинств на территории этих республик, правовая защита как тех из них, кто пожелает остаться на территории этих республик, так и тех, кто решит уехать. Позднее, по моему предложению, М. С. Горбачев назначил руководителями переговоров со стороны СССР соответственно — А. Н. Яковлева, Э. А. Шеварднадзе, А. А. Собчака.

Постановление было принято почти без обсуждения. И только присутствовавший на заседании премьер Грузии, близкий к Гамсахурдии человек, тоном обиженного ребенка все высматривал, почему такое же признание не хотят представить его Родине. Не добившись своего, он с тем же обиженным видом удалился. Зато единственный представитель Прибалтийских республик, оказавшийся, кстати, на заседании случайно, даже по ошибке — прибалты уже не принимали участия в работе съезда, — тогдашний премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар, вздохнул свободнее. Навестив меня позднее в МИДе, он признался чистосердечно, что боялся, как бы поднятая грузином «булага» не сорвала принятие решений и по Прибалтике.

Поручив, как мы это и предлагали, МИДу, то есть мне, сделать соответствующее заявление для прессы, Госсовет перешел к вопросу о заключении Договора об экономическом Союзе республик.

Хотя такого сообщения в мире давно ожидали, поверить в то, что все уже свершилось, журналисты, присутствовавшие на моей первой пресс-конференции и привыкшие к определенному почерку и ритму ведения государственных дел после путча, никак тем не менее не решались.

— Будет ли этот вопрос обсуждать Верховный Совет?

— Решения Государственного Совета достаточно. Заявление поручено сделать мне.

Пресса была в шоке.

А на заседании Госсовета все выглядело так буднично, рутинно...

Я с ненасытным любопытством вглядывался в лица этих людей. Кому теперь вершить судьбу страны? На столе передо мной, как и перед каждым участником заседания Госсовета, всегда лежал список. Каримов, Ниязов, Дементей, Муталибов, Кравчук... Я пытался соединить почти незнакомые мне фамилии с наименованиями республик и все вместе — с лицами. Сразу привлекли внимание импозантный, пластичный Тер-Петросян, основательный Назарбаев, который, оказывается, помнил меня еще по «Комсомолке».

Нельзя было, конечно же, с первого взгляда не признать украинца в Кравчуке. Его полноватость была из тех, которую носят с достоинством, а воспринимают как представительность. Муталибов напоминал манерами приосанившегося парня из бакинской подворотни, расставшегося по возрасту со своей закадычной компанией, но не утратившего ее примет. Ниязов — председатель передового колхоза. Акаев — просвещенный правитель 20-х годов...

А в целом меня еще долго не покидало ощущение, что я — на заседании бюро обкома партии, ну максимум бюро ЦК какой-нибудь среднеазиатской или закавказской республики.

С любопытством, особенно первое время, приглядывался я к характеру заседаний, к обстановке и атмосфере вокруг них. В бытность главным редактором «Комсомолки» и председателем ВААПа, мне приходилось посещать и заседания секретариата ЦК КПСС, канувшего теперь в Лету, и заседания правительства. Памятен еще идеальный, почти казуистический порядок на этих заседаниях, особенно в ЦК, где он насаждался явно с тяжелой руки педантичного Суслова. Один из помощников его рассказывал мне с придыханием, какой потрясающей организованности человек его шеф. Уже

сколько лет подряд он покидает свой кабинет ровно в шесть вечера — ни минутой позже и при этом не оставляет на своем столе ни одной «неотвеченной» бумаги. Увы, это, кажется, было единственное, что он был способен сказать в его пользу.

На заседания каждый чиновник вызывался точно на «свой вопрос», его приход и уход отмечали в десятке разных книг и табелей. Выступали на заседаниях, в том числе и секретари, и члены Политбюро, строго в раз и навсегда установленном порядке. Говорить больше пяти минут Суслов никому не давал. Брежнев же последние годы на таких заседаниях вообще не появлялся.

Нет, теперь от былого порядка не осталось и следа. В приемной — в клубах папиросного дыма — толпы. Гомон, шум, поцелуи и объятия. Двери зала заседаний, вопреки обыкновению, открыты задолго до начала. И еще прежде самих участников там устраивается пресса, в том числе телевидение, с его огромными старомодными телекамерами, которые потом операторы, прямо во время заседания, начинают неожиданно и с шумом передвигать. На председательском месте Горбачев, справа от него Ельцин, слева Назарбаев, дальше — Кравчук, другие члены Госсовета, мы, министры — нас всего четверо, Силаев — тогда председатель межреспубликанского комитета по управлению народным хозяйством, его команда — Вольский, Явлинский, Лужков и др., члены политического консультативного совета при Президенте — два Яковлевых, Шеварднадзе...

По бокам, на стульях — приглашенные на тот или иной вопрос. Входят по своему усмотрению, сразу же заводят свой, сепаратный разговор.

Мне не приходилось бывать на заседаниях под председательством «раннего» Горбачева, но я представлял себе, что общий дух непринужденности, демократизма идет, конечно же, из тех времен. И все же что-то преувеличенное, ущербное было в этой суматохе, постоянных перепалках, какой-то обособленности каждого от каждого. Словом, неладно было что-то в датском королевстве...

Поначалу это до меня как бы не доходило. У меня была, как в народе говорят, своя копна, мне никто не мешал ее мотолить, и мне этого было достаточно. К тому же из-за моих зарубежных поездок бывать приходилось не на каждом заседании. Да и настроение было часто чемоданное. То я приезжал на заседания чуть ли не с самолета, то прямо из Кремля спешил во Внуково-2.

Улетал я всегда преисполненный самых радикальных на-

мерений, возвращался «на коне» и искренне полагал, что и в Москве все идет нормально, в правильном направлении. Тем более что и вопросы, за которые взялся с самого своего появления Госсовет, были весьма серьезными. Их набор вполне отвечал моим представлениям о том, как и куда надо вести дело в стране, когда корота тоталитаризма была содрана, мощные механизмы торможения разрушены, республикам дана полная свобода и независимость в решении всех своих дел, а Центр в соответствии с решениями съезда сведен до минимума.

Что он такое теперь — этот некогда загадочный, безобразно разросшийся, стерегущий всех и всюду своими щупальцами Центр? Вот он, весь собирается здесь, на «Высоте», не подалеку от рабочего кабинета Президента. И добрая половина его — руководители независимых республик.

Приняв на своем первом заседании решения по Прибалтике и поручив мне заявить о них, Госсовет, не откладывая, занялся проектом договора об экономическом союзе, тоже предусмотренном съездом. Подготовлен был этот проект группой современно мыслящих экономистов во главе с Григорием Явлинским, и от этого тоже веяло уверенностью и надеждой. Действительно, кто не знает Григория Явлинского? Автор программы «Переход к рынку (500 дней)», некогда послужившей, правда, яблоком раздора между Горбачевым и Ельциным. Соавтор проекта экономических реформ в СССР, разработанных таким мощным мозговым трестом в области экономических наук, как Гарвардский университет США. Программа эта была представлена вниманию лидеров «семерки», когда Горбачев встречался с ними в Лондоне. Беспрецедентное событие, одно из тех, кстати, что так напугало будущих путчистов. Словом, человек, поработавший и с Ельциным, и с Горбачевым, и тому, и другому доказавший свою самоценность и независимость, а теперь как бы интегрировавший в себе очищенные грозой путча интересы и устремления того и другого.

Ну а тот факт, что в паре с ним выступал премьер российского правительства, верный соратник Ельцина Иван Степанович Силаев, утвержденный теперь Госсоветом по предложению не кого-нибудь, а Горбачева, Председателем межреспубликанского комитета по оперативному управлению народным хозяйством, то есть одновременно как бы и российский, и союзный премьер... Это ли не дополнительное свидетельство авторитетности предлагаемого ими документа?

И правильно, что начали с восстановления на новой основе именно единого экономического пространства, хотя в до-

кументах съезда речь идет и о политическом, и об оборонном союзах. Аксиома, что в период трансформации и перемен, нестабильности и смуты в государстве именно экономика с ее императивами выступает интегрирующим, цементирующим все прочие интересы и амбиции фактором.

Вот он передо мной, первый проект этого Договора, вместе с комментирующей его запиской Явлинского, помеченной 5 сентября 1991 года. Да, 5 сентября, на следующий день после окончания съезда этот документ лежал уже на столе заседаний перед каждым членом Госсовета и другими его участниками. Значит, работать над ним начали уже давно.

«Главной задачей экономического Союза,— писал Явлинский,— является консолидация усилий суверенных государств с целью образования общего рынка и проведения согласованной экономической политики как непременного условия преодоления кризиса».

В преамбуле Договора как само собою разумеющееся постулировалось, что речь идет о переходе к рыночной экономике и врастании в мировое экономическое пространство.

Особо подчеркивалось, что вступление республик в экономический Союз не обусловливается подписанием Договора о Союзе суверенных государств, что каждая из них свободна присоединиться к Договору или выйти из него, когда того пожелают ее легитимные органы.

В главе «Предпринимательство» постулировалось, что основой подъема экономики являются частная собственность и свобода предпринимательства, которые законодательно будут ограждены от произвольного вмешательства государства.

Именно с учетом этих краеугольных принципов предполагалось организовать сотрудничество и взаимодействие участников Договора в таких сферах, как движение товаров и услуг, банковская и валютная системы, ценовая политика, финансы и налоги, внешнеэкономическая деятельность.

Наряду с основным договором предусматривалось заключение большого пакета дополнительных соглашений, которыми детализировались принципы и методология сотрудничества независимых государств в ключевых сферах.

Как известно, в дальнейшем судьба этого договора в течение многих недель находилась в фокусе мирового общественного мнения. Договор был сначала одобрен Госсоветом, потом парафирован, а там даже и подписан большинством бывших республик, по сути дела, теми же людьми, которые

несколько недель спустя ратифицировали и соглашение об СНГ.

Эксперты в мире сходились потом, что Договором было предусмотрено все оптимально необходимое, чтобы каждая из республик, если она этого желает, могла бы развивать свою экономику на общепринятых в мире принципах частной собственности и рыночной экономики, координируя в оптимальных же пропорциях свою деятельность и свои решения с акциями других участников Договора, как это широко принято во всем мире между странами, находящимися в рамках того или иного экономического сообщества. Образ и дух самого мощного из них — Европейского — как бы витал в зале заседаний.

Парадоксально, но факт: когда Горбачев чересчур уж на-жимал на сравнение с ЕС, кто-нибудь из членов Госсовета обязательно охлаждал его пыль, напоминая, что Общий рынок — это все-таки сообщество разных государств, а мы пока, слава Богу, федерация...

Право же, запаха тоталитаризма в этих документах не уловило бы и самое изощренное обоняние. Его там и не было.

В своих выступлениях Явлинский не уставал повторять, что, если проект получит в основном одобрение Государственного Совета, можно будет сразу же начинать переговоры с зарубежными странами и их международными организациями о массированной поддержке с их стороны, которая облегчила бы экономическую стабилизацию сегодня и ускорила бы кардинальные преобразования экономической системы, которые намечались во всех республиках и в первую очередь в России в ближайшем будущем.

План действий на этом направлении тоже был представлен членам Госсовета — теми же Силаевым и Явлинским на первых же заседаниях.

Прежде всего следовало договориться о солидарной ответственности всех входящих в экономический Союз республик за внешний долг и другие экономические обязательства Советского Союза, что открывало бы каналы для гуманитарной помощи, краткосрочных кредитов, инвестиций и других форм экономического содействия, включая и вступление в Мировой банк и Международный валютный фонд.

Западу, в ходе всех этих обсуждений, ожидавшему ответа на вопрос, с кем же иметь дело в этом новом государстве, которое все чаще называло себя Союзом суверенных государств, предполагалось ответить: с Внешэкономбанком — он от имени всех республик будет заниматься проблемой внешнего долга и с Комитетом Силаева, представляющим и

по задачам, и по составу своему все республики, — интенсификацией и регулированием всех форм долговременного экономического содействия.

Все это было обсуждено и в принципе предрешено на двух заседаниях Госсовета — 5 и 16 сентября. Последнее, помню, закончилось поздно вечером. Так что, когда я действительно чуть ли не из зала заседаний двинулся в аэропорт, чтобы отправиться на 46-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, я имел в кармане ответы на все вопросы, которые могли бы быть мне заданы, и с легким сердцем готовился обрисовать мировому сообществу новый облик и ближайшее будущее своей страны, на которое взирал с известным оптимизмом, несмотря на полный комплект кризисов, охвативших ее.

Революция есть революция, говорил я, даже если вы назовете ее «бархатной», как в Чехо-Словакии. На то и переходный период — помогите нам только его пережить.

И я нимало не стеснялся обращаться к мировому сообществу за помощью с трибуны Организации Объединенных Наций и в ходе многочисленных встреч и бесед.

Я не уставал повторять вслед за Маргарет Тэтчер, с которой познакомился в Нью-Йорке: мировому сообществу стоило неимоверных человеческих жертв и колосальных материальных расходов разгромить фашизм в Германии и милитаризм в Японии, помочь устроить там нормальную жизнь. Уничтожение коммунизма не стоило Западу ни крови, ни денег. Они в России сделали это сами — по сути дела, без жертв. Было бы величайшей близорукостью не прийти им теперь на помощь со всей нашей экономической мощью.

Картина событий в нашей стране, как я ее рисовал, производила впечатление на собеседников, понимавших, что все мы в этом мире сидим в одной лодке, побуждала их начать действовать, переходить от расспросов к поискам эффективных ответов.

Я и сейчас подтверждаю, что нимало не блефовал в те дни. Я и сейчас полагаю, что объективные потребности нашего развития повелевали идти именно в том направлении, которое избрал съезд и подхватил на первых порах конституированный им Госсовет. Субъективные факторы, однако, как было доказано еще раз, играют не меньшую роль, чем объективные закономерности, в том, какой путь в конечном счете будет избран, какой курс взят.

Да, в те дни, когда я сидел в МИДе и думал о том, что же я скажу во вторник 4 ноября на заседании Госсовета, у меня было немало причин утвердиться в предположении о том, что судьба МИДа, как бы она ни была важна сама по себе, —

лишь карта в игре, где ставки несравненно крупнее. Доказательства этого не заставили себя ждать.

В длинном перечне вопросов, которые значились в повестке дня Госсовета, мой — о реорганизации МИДа — стоял в самом конце, вместе с вопросами о трансформации других центральных органов управления — Министерства обороны, МВД, Управления внешней разведки и т. п.

А началось заседание с вопроса, которого вообще не было в повестке, — о положении в стране. Я-то знал, что Михаилу Сергеевичу не терпится поделиться впечатлениями от своих бесед с королем и премьер-министром Испании, Президентом и госсекретарем США. Они, действительно, имели прямое отношение к тому, что Госсовету предстояло обсудить.

— На Западе боятся распада Советского Союза, — говорил Горбачев, ссылаясь на своих высоких собеседников и посматривая в мою сторону. — И я могу подтвердить, что именно это и было лейтмотивом всех разговоров в Испании.

Они не могут понять, что с нами происходит. Именно тогда, когда мы бесповоротно и безоговорочно вступили на путь демократического развития, расчищаем завалы тоталитаризма... СССР, говорят они, надо сохранить, как одну из опор современного мира. Гонсалес прямо сказал: Европе и миру нужен Союз, тот самый Союз суверенных государств, за который вы и руководители республик выступали на съезде. Он с особой остротой говорил об этом, потому что появились в прессе спекуляции о судьбе МИДа, о судьбе нашей единой внешней политики. «Что, — спрашивали они меня, — члены Госсовета меняют свои позиции, отказываются от того, что они говорили и решали на 5-м съезде?»

Вот слова Буша: «Мы заинтересованы в вас. Мы готовы вам помочь. Но участие капиталом требует гарантий. Нам сказали — имейте дело с Комитетом Силаева, он представляет все республики. А потом появляются ваши президенты и каждый просит для себя...»

— Я, — продолжал Горбачев, — информировал Буша, что наши двенадцать министров договорились, имея мандат Госсовета, согласованно действовать в отношении внешнего долга, но уже на следующий день в Мадрид стали поступать сообщения, что эта договоренность, извините, липовая — у того полномочий не было, тот изменил свою позицию. Мир же смеется над нами. Или берется за голову. А помощь стоит... И такие примеры на каждом шагу. Та же канитель идет с договором об экономическом Союзе. Я хочу, чтобы вы высказались по этому вопросу.

Мне импонировало то, что говорил Горбачев, и я не без

злого торжества ожидал, что скажут члены Госсовета. Но они молчали. Сидели, глядя прямо перед собой или в стол и молчали. Как второгодники на нелюбимом предмете. Создавалось впечатление, что их сейчас волнует другое. И не трудно было догадаться — что.

Дело в том, что стул справа от Горбачева, где всегда сидел Ельцин, сейчас пустовал. Борис Николаевич запаздывал. Горбачев решил начать без него. Из рядов приглашенных раздался, правда, возглас, что, мол, без Ельцина такие заседания вообще проводить нет смысла — кажется, это был Егор Яковлев, назначенный Горбачевым после путча руководителем Центрального телевидения, — но никто не отреагировал.

Ельцин появился только на двадцатой минуте. Дежурно извинился и занял свое место. Горбачев удержался от комментариев, хотя, чувствовалось, далось ему это нелегко. Он только сказал, что вынужден будет повторить кое-что из уже сказанного. И перешел к комментариям недавней речи Бориса Николаевича Ельцина в российском парламенте. Это была та самая памятная всем речь, когда он объявил что Россия приступает к экономической реформе и начнется она в конце года с либерализации цен.

Высоко оценив в целом сам факт перехода «наконец-то» к реформе, одобрав основную ее направленность, Горбачев тем не менее критически высказался относительно непроработанности и скороспелости некоторых ее положений. «Так всегда бывает, — заметил он, — когда запаздываешь». Присутствующие переглядывались — роли поменялись, и теперь уже Горбачев упрекал Ельцина в медлительности. Горбачев напомнил, что Ельцин критиковал, и справедливо, в свое время Рыжкова, а сам повторил его ошибку — заранее сообщил о предстоящем освобождении цен.

«И вот вам результат. Мне дали справку: в Москве ежедневно продавали 1800 тонн хлеба, а вчера продали 2500 тонн. И стоят очереди, и хлеба нет. То есть люди выделили из речи не основу ее, основа, я уже говорил и повторю, хорошая, серьезная, а только вопрос о ценах. И пожалуйста — очередная паника...»

Закончив выступление, Горбачев еще раз предложил высказаться. Молчание.

Ельцин, глядя в стол:

- Давайте пойдем по повестке дня...
- По повестке, по повестке, — облегченно загудели другие.
- В повестке дня, — жестко сказал Горбачев, — вопрос о

текущем положении в стране. По этому поводу я и предлагаю высказаться.

— А у меня в повестке дня,— голос Ельцина стал наливаться хорошо знакомой собравшимся густотой,— у меня в повестке дня первым вопросом разработка соглашений к договору об экономическом сообществе.

— А у меня в повестке дня,— перебил было его Горбачев, но тут уже вмешался и ранее выступавший в роли посредника Назарбаев:

— Я думаю, Михаил Сергеевич,— сказал он миролюбиво,— все, что вы сказали, правильно. Но у нас же вся повестка дня об этом. Так что мы и высажемся по ходу дела.

— Пожалуйста,— сухо бросил Горбачев,— о соглашениях к договору об экономическом Союзе. Кто доложит? Явлинский?

Явлинский вышел на трибуну и с никогда не изменяющей ему интонацией — причудливая смесь саркастического напора и юмористического отчаяния — стал говорить, что к этому вопросу Госсовет обращается уже четвертый раз. Здесь, хоть и с горем пополам, о чем-то договариваемся, а разъедутся члены Совета — и все откатывается назад. Вот и экономический договор. Михаил Сергеевич уже упоминал. Вроде о чем-то договорились. Условились парafировать, а теперь хоть все снова начинай. И есть ли смысл говорить о дополнительных соглашениях к договору, если нет ясности в отношении его самого? Цивилизованные мы люди или нет?

Ну и так далее... Человек в высшей степени деловой, экономист-математик, приверженный точности и определенности в цифрах, словах, поступках, наделенный к тому же изрядной долей юмора, который особым образом окрашивал для него изнутри все происходящее, Явлинский просто изнемогал на этих заседаниях, где ему как архитектору экономической политики страны на том этапе ораторствовать приходилось больше других.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно — эта меланхолическая строка поэта, пожалуй, лучше, чем что бы то ни было другое, передавала его настроение. Настроение человека, который, с одной стороны, отдает себе отчет, что стоит за правое, несравнимое ни с чем по важности дело, а с другой — потерял уже последнюю надежду, что окружающие способны его понять. И многие члены Госсовета вели себя так, как будто задались единственной целью — подтвердить его опасения.

Обсуждают, например, проект постановления о согласо-

ванных действиях по стимулированию и приему гуманитарной помощи. Есть ли проблема неотложнее?

Премьер-министр Украины Фокин говорит:

— Мы согласны, что необходимо принять такой документ. Но точный и ясный ответ лишены возможности дать, так как мы этот документ пока не проработали.

Председательствующий (Силаев или Явлинский):

— Но ведь ваш представитель участвовал в работе комитета, которому поручено было...

— Да, участвовал, но в роли наблюдателя...

— Почему же вы не дали ему полномочий?

— Это моя ошибка.

Обсуждается вопрос о совокупной ответственности республик за внешний долг страны. На прошлом заседании вроде бы обо всем договорились, на нынешнем встает Ислам Каримов, тогда еще Председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана.

— А как же мы можем брать на себя ответственность, если мы не знаем, сколько придется на нашу долю?

Явлинский, понурив голову, всем своим видом красноречиво показывая, что терпения у него уже совсем не осталось,— сколько можно толочься на одном месте?! — поднимается и идет к трибуне.

— Поясняю. Сколько придется на ту или иную республику, мы не знаем и не можем знать, потому что когда бывший Центр занимал, он таким вопросом не задавался. Это мы должны между собой решить. Наших заимодателей на Западе это не касается. Для них важно, чтобы мы подтвердили свою совокупную ответственность. Без этого с нами просто никто больше дела иметь не будет. И тогда все, чем мы с вами тут третий месяц занимаемся, впустую. Не будет гуманитарной помощи, не будет кредитов, не будет инвестиций... Будет катастрофа...

В конце концов о чем-то договаривались все же в Кремле и отказывались от договоренностей по возвращении домой. И на очередном заседании объясняли это позицией Верховного Совета, давлением оппозиции, предстоящими выборами или референдумами.

Кравчук, например, со всей доступной ему искренностью признавался, что настаивать на необходимости собственной армии для Украины его побуждают предвыборные соображения — лозунг в республике популярный, нельзя позволить конкурентам на нем сыграть. Став президентом, однако, он эту идею продолжал отстаивать с еще большим пылом. О национальной армии твердил на заседаниях Госсовета Мутали-

бов. Но это не спасло его от отставки за то, что он ее не создал.

Слушая ораторов, я невольно воспроизвожу в памяти их недавнее прошлое, то немногое, что уже известно о них. За некоторыми исключениями, вроде Левона Тер-Петросяна, классического диссиденты, все они — люди с солидным партийным прошлым. Первые годы перестройки застали их на вторых, даже третьих ролях, перед самым путчем многие были уже первыми секретарями республиканских ЦК. И пожалуй, в логике их поведения ничего не изменилось. Привыкнув истово выполнять указания «верхов» — своих ли, республиканских, или московских, от которых зависела их собственная стабильность, — они теперь с той же истинностью и из тех же соображений внимают воле «низов», общественного мнения, в чьей роли может выступить республиканский парламент и оппозиционная партия и просто демонстрация или митинг недовольных тем или иным шагом руководства.

Но есть ли на свете такие «низы» и такие общественные слои, которым выгодна та разруха, которая все больше воцаряется в стране? Кто выигрывает, кроме лиц и элит, заинтересованных лишь в укреплении, несмотря ни на что, собственных позиций, от учащающихся столкновений на национальной почве, от возведения таможенных барьеров между республиками, от введения искусственных денег, разрыва традиционных производственных и экономических связей? От того, что Запад, видя эту неразбериху, все откладывает и откладывает решения по оказанию нам крупномасштабной помощи, в необходимости которой там тем не менее все убеждены?

Заседания Госсовета проходят под аккомпанемент президентских выборов то в одной, то в другой республике. Если есть президент в России, почему не быть ему в Туркмении или Азербайджане? Идем семимильными шагами к демократии, а кандидаты в президенты, как правило, бывшие партийные секретари, на безальтернативных выборах получают по 90—95 процентов голосов избирателей.

Нет, говорю я себе. Их бог — не «низы» и не общественное мнение — в высоком смысле этих понятий. Их идол — конъюнктура, которой они поклоняются с привычным для людей их партократической школы рвением.

Ну а что же Борис Николаевич?

На заседаниях Госсовета он молчаливее других. Если берет слово, то после того, как все остальные уже выскажутся. В перепалки, за редким исключением — вроде только что упомянутой, — не вступает. И вообще, казалось мне иногда,

смотрит и прислушивается ко всему происходящему как бы со стороны, из каких-то одному ему ведомых далей. Во время перерывов, когда остальные члены Госсовета вместе с министрами и другими участниками заседаний устремлялись в оскудевший кремлевский буфет, где обеды — за «трешку», Горбачев увлекал его с собой, в недра своих апартаментов, где они перекусывали тет-а-тет, продолжая обсуждать наболевшие вопросы.

С одной стороны, такие приглашения импонировали Ельцину, потому что он не очень-то любит сливаться с толпой. С другой — нервировали его, потому что там Горбачеву удавалось добиваться от него больше, чем на многолюдных заседаниях. Стихия Ельцина — трибуна, митинг, многолюдье, а не встречи в узком кругу. Здесь он с его непосредственностью и внушаемостью часто уступает своим более бойким и поднаторевшим партнерам.

Мне вдруг приходит в голову представить, что случилось бы, если бы на месте председательствующего, которое сейчас занимает Горбачев, вдруг оказался Ельцин. С ответственностью не только за Россию, а за весь Союз? Как бы он себя повел? Не сомневаюсь, на посту президента всесоюзного он показал бы себя ничуть не меньшим демократом, чем он был им на посту Президента Российской. С той же приверженностью к радикальным экономическим реформам, к рыночной экономике, частной собственности. Таким же бескомпромиссным, как и все новообращенные, противником коммунистического режима и всех его видимых и невидимыхrudimentов...

Одного только, уверен, но самого важного акцента не было в его программе, окажись он тогда человеком № 1, только на союзном уровне, — идеи суперсуверенизации России.

Как же она родилась и развивалась?

Вспомним, на знаменитом Пленуме ЦК КПСС в 1987 году, где Ельцин впервые поднял свой бунт против Горбачева, о ней речи и в помине не было. Как и о бунте против коммунизма. В этом можно убедиться, заглянув в текст его выступления, опубликованного еще «при жизни» Советского Союза. Но еще лучше обратиться к совсем недавним воспоминаниям Шеварднадзе. «О чём шла речь? — говорит он. — О славословии, о стиле работы Горбачева. Были замечания о темпах перестройки. Но сами принципы не ставились под сомнение. Поэтому сказать сейчас, что надо было идти не «по Горбачеву», а «по Ельцину» я не могу».

Свидетельство Эдуарда Амвросиевича тем более заслужи-

вает доверия, что он самого себя корит за свое тогдашнее поведение, свое и Александра Николаевича Яковлева: «Когда было первое выступление Ельцина на Пленуме, мы сочли необходимым на него отреагировать. Реакция была довольно острой...» И добавляет чистосердечно: «Мы ведь тогда не имели даже элементарных представлений о правилах и нормах политической борьбы в цивилизованном обществе. Решительные меры — да. Сказал Генсек — это закон. Вывести из Политбюро — и все. Так все были воспитаны, и это довело над нами».

Ельцин первым, уже на третьем году перестройки, поднял бунт против этого «воспитания» — и в этом его подвиг. Шеварднадзе подтверждает, что не будь тогда на Пленуме такого жесткого отпора и всех последовавших за этим нелепых антиельцинских мер (тем более что позднее-то и не такое выслушивали и Генсек, и «его соратники»), не было бы и «феномена Ельцина».

Демократ в Ельцине проснулся стихийно, в пору ломки его личной судьбы. Но проснувшись, этот ситуационный демократизм, помноженный на незаурядность и мощь натуры, потребовал для себя стратегического пространства. Таковым оказалась Россия, где в отличие от Советского Союза вакансии были как раз открытыми. Овладев этим пространством, то есть будучи избран на абсолютно демократической основе сначала Президентом Верховного Совета РСФСР, а потом и Президентом России, он вскоре убедился, что как не построишь коммунизм в социалистическом окружении — популярная поговорка времен застоя,— так и в гражданское, демократическое общество одной, отдельно взятой республикой, даже самой большой, не войдешь.

Впрочем, со временем и такой шанс появился. Им оказался, как это ни парадоксально, августовский путч в Москве. Не будь Россия к тому времени тем, чем ее сделали Ельцин и его команда, не защитить бы ей страну от диктатуры взбунтовавшихся партократов, кегебешников и язовского генералитета. Отстояв же страну для демократии, Россия, в лице ее Президента, сама вознамерилась стать ею. Изданные в целях борьбы с путчем указы о подчинении большинства властных структур и институций Советского Союза российской юрисдикции, не торопились отменять, когда экстремальная ситуация вроде бы миновала. Казалось, был только единственный способ стать суверенным самому и избавиться от обременительной опеки подуставшего уже инициатора перестройки и его соратников — дальнейшая суверенизация России.

Демократия и суверенитет России — эти понятия ста-

ли синонимами в представлении многих миллионов людей.

Путчисты тоже постарались, правда, от обратного, в этом направлении. Ведь гайки свои они начали закручивать во имя сохранения Советского Союза, страны единой. Так и Советский Союз и тоталитаризм тоже стали словами-синонимами в обыденном сознании. Не услышанными остались слова Киссинджера: границы Центра и республик, тоталитаризма и демократии не обязательно совпадают.

Когда в пору своей предвыборной кампании Ельцин бросил автономным республикам России: «берите себе столько суверенитета, сколько сможете осилить»,— он вряд ли мог предполагать, что этот призыв обернется когда-нибудь бумерангом. Тогда же он явно мостил дорогу не автономии, а самой России. Родился лозунг (говорят, его автором был Геннадий Бурбулис): Россия — правопреемница Советского Союза. Но он в свою очередь напугал таких же демократов в других республиках, которые дотоле видели реализацию суверенитета своих народов и в рамках СССР. Их испугом воспользовались бывшие партийные боссы в республиках. Подыгрывая сепаратистам, они отмывали свое большевистское прошлое.

Оттого не клеились так дискуссии, к которым тщетно призывал Горбачев. Оттого и работа этого столь удачно в принципе найденного органа напоминала пароксизмы автомобильного двигателя, который заводят на сильном морозе, чтобы потом, проехав два-три километра, снова заглушить.

Это стало особенно заметным, когда в середине ноября 1991 года Госсовет приступил к обсуждению проекта Союзного договора, возобновил, как любил повторять Михаил Сергеевич, Ново-Огаревский процесс.

Тут даже министры — лишние. Нас приглашают туда часами к пяти. Наши вопросы — а это опять-таки МИД, реорганизация вооруженных сил, министерства внутренних дел, КГБ — на десерт.

Ново-Огарево, еще недавно никому не известное. Если ехать из Москвы по Рублевскому шоссе — некогда правительенная трасса,— то, не доехав правительенного же санатория «Барвиха», надо свернуть направо, а там, километра через полтора, пойдут одна за другой милицейские заставы, армейские посты. Первый зеленый забор, второй... Два двухэтажных дома, то ли из дерева, то ли кирпичные, того неопределенного стиля, которому в архитектуре и науке о домостроении так и не придумали названия. Просто — правительственные особняки, возбуждающие воображение непосвященных и нагоняющие скуку на тех, кому доведется их

посетить. В одном из этих домов, левее от ворот, заседают члены Госсовета — идет Ново-Огаревский процесс. Министров с их вопросами пригласили пока в дом направо. Там можно чайку попить в ожидании, поиграть в бильярд.

Играем, пьем чай, кофе, интересуемся друг у друга недавним прошлым этих неуклюжих строений. Кто-то говорит, что это была дача Андропова, кто-то утверждает, что здесь жил и Горбачев. Обычный вялый треп коротающих время людей. Наконец кто-то из обслуживающего персонала или из охраны приносит весть: закончили, приглашают министров. Мы переходим в соседний дом. У его дверей уже собралась пресса. В самом доме — большой холл внизу, устланная неизменной красной дорожкой лестница, ведущая на второй этаж, в зал заседаний...

Президенты, как пчелы из потревоженного улья, высекивают из дверей — кто к телефону, кто — переговорить с поученцем...

В боковых комнатах стайками — охрана, помощники, секретари...

Минут через десять все возвращаются в зал. Судя по распаренному, но довольному лицу Горбачева, обсуждение было результативным. Он держится бодро и уверенно. Оттого, может быть, и наши вопросы проходят «пурей», но об этом чуть ниже. То и дело звучат ссылки на только что принятый Госсоветом документ.

Наконец Горбачев, обращаясь к коллегам-президентам, говорит, что теперь надо спуститься вниз и провести пресс-конференцию. Это энтузиазма ни у кого не вызывает. Кто-то, кажется, белорус Шушкевич, предлагает, под одобрительный гул, делегировать на встречу с журналистами Горбачева. Он возражает и в конечном счете увлекает за собой всех, кроме Муталибова, который курит в сторонке: «У меня сегодня статус наблюдателя».

Мне здесь делать больше нечего, я сажусь в машину и репортаж о пресс-конференции слышу уже по радио. Бродя действительно все довольны результатами. Союзный договор президентами одобрен. Теперь они посоветуются со своими парламентами. И через неделю, десять дней снова встреча в Москве — для подписания. Что ж, дай Бог.

Поздно вечером мне звонит Горбачев, поздравляет с завершением «мидовской эпопеи» — до нашей последней встречи с ним остается всего шесть дней — и в торжествующей, возбужденной манере рассказывает о своих схватках с «вождями». Как сначала «не пошло», и он сказал, что подаст в отставку, и даже покинул комнату — решайте сами. Как они

потом явились за ним — Ельцин и, кажется, Шушкевич. Как «вышли», наконец, на согласие. Будет Союз.

Союз суверенных государств — федеративное демократическое государство, которое будет осуществлять свою власть в пределах тех полномочий, которыми его добровольно наделяют участники Договора. Каждый из них, то есть каждая республика, входящая в Конфедерацию, также является суверенным государством и сохраняет за собой право на самостоятельное решение всех вопросов своего развития.

Конечно, в тот поздний час он не так уж последовательно и системно излагал мне существо одобренного документа. Но на следующий же день прислав свеженький экземпляр со своим автографом.

По вполне понятным мотивам Горбачев в тот поздний час упирал на то место в Договоре, что свидетельствовало — бывший Союз не распадется на 12 или 14 или какое-то число государств, а остается при всей самостоятельности его составных частей единым политическим, экономическим, правовым и так далее пространством.

— Будет, — с воодушевлением говорил он, — Президент, будет вице-президент, будет единый парламент, Госсовет, правительство...

Именно поэтому я позднее внимательно, с текстом в руках, проанализировал документ с другой точки зрения. Не возвращаемся ли сгоряча к прежнему, к чреватому тоталитаризмом, мертвящим единобразием централизму?

Нет, такой опасности, на мой взгляд, не было. Признавая приоритет личности в соответствии со Всеобщей Декларацией прав человека и другими общепризнанными нормами международного права, присягая на верность принципам гражданского общества, демократии, отцы-основатели конституировали право каждого государства, входящего в Союз, самостоятельно на основе вышеуказанных постулатов определять свое национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и управления, сохранять и развивать национальные традиции.

Вступая в Союз, участники Договора устанавливают сферы совместного ведения и заключают соответствующие соглашения и договоры — об экономическом сообществе, о совместной обороне и коллективной безопасности, о координации внешней политики...

Государства — участники Договора обеспечивают свободное развитие и защиту всех форм собственности. Подробнее о твердой приверженности рыночной экономике и частной собственности сказано уже в подписанном Договоре об эко-

номическом Союзе — детище Григория Явлинского. Участники Договора передают в распоряжение органов Союза необходимое для осуществления возложенных на них полномочий имущество, которое тем не менее остается их совместной собственностью. Земля, недра и другие ресурсы — собственность государств — членов Союза и используются ими в рамках их собственных законодательств.

Что ж, Михаила Сергеевича, Бориса Николаевича и других членов Госсовета можно было поздравить с таким документом.

Увы, через десяток дней они собираются снова и, по сути дела, откажутся от того, с чем согласились в памятный день 14 ноября 1991 года. И на встречу с журналистами придет на этот раз один Горбачев. И с растерянной улыбкой будет убеждать прессу, а через нее страну и мир, что не все еще потеряно. Что единая страна все равно остается, а совместное обращение Президента и членов Госсовета к парламентам республик следует рассматривать, как их подписи под новым вариантом договора... Теперь дело за союзным и республиканскими парламентами...

Я узнал об этом уже из сообщений радио и телепередач. До моего отъезда в Лондон оставалось два дня...

Гром грянул 8 декабря 1991 года. В тот день после двухдневного совещания в таком же, видимо, как в Ново-Огареве, особнячке в Беловежской Пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич обнародовали документ о создании Содружества Независимых Государств из трех славянских государств и о «закрытии» Советского Союза и всех его институций.

Наступала новая эра. Меня она застала уже в Лондоне, за неделю до вручения верительных грамот Ее Величеству Королеве Елизавете II.

По мере того как развивались бурно все эти события, мне понятнее становилось, что же, собственно, происходило вокруг МИДа СССР, начиная с того примечательного дня, когда Борис Николаевич предложил сократить его в десять раз. И почему все так повернулось со мной.

Не хочу затрагивать здесь мелочных игр, ущемленных самолюбий. Остановлюсь на главном.

Нет, Ельцин ничего не имел против меня лично. Наши отношения, начавшиеся в Стокгольме, в трудную для Бориса Николаевича пору, и продолженные потом в Праге и, наконец, в Москве, сохраняли, как и раньше, дружеский и деловой характер. Но вот союзное внешнеполитическое ведомство, руководитель которого развел столь неуемную деятельность, становилось просто-таки бельмом на глазу. Не то

чтобы не устраивала сама внешняя политика, которую предлагал и проводил МИД. Наоборот! Линия на деидеологизацию, гуманизацию, pragmatism импонировала демократическому руководству России. Председатель внешнеполитического комитета Российского парламента В. И. Лукин с благословения Президента с удовольствием принял мое приглашение стать членом коллегии МИДа.

У этой линии, поддержанной теми акциями, о которых я успел или не успел еще рассказать, был только один недостаток, но весьма серьезный, с точки зрения россиян,— она проводилась от имени союзного государства, союзного президента, и, что греха таить, порой только она, эта внешняя политика, МИД и его министр и напоминали миру, что Советский Союз еще существует и сегодня не имеет ничего общего с тем монстром, каким он был до августовского путча.

Помню, по возвращении моем с Ближнего Востока Петровский уже в аэропорту положил в мой «красный чемоданчик» записку — отчет о прожитых без меня в Москве днях. Читал прямо в аэропорту: «В одном из разговоров с Михаилом Сергеевичем Ковалев выразил ему благодарность за то, что было отменено прекращение финансирования МИДа СССР». Это еще что за новость? Поднимая голову от бумаги.

— Да-да, было такое. Мы уж тебя не стали беспокоить. Минфин России так распорядился. Михаил Сергеевич разговаривал с Борисом Николаевичем. Тот дал отбой.

На следующий день позвонил Ельцину, чтобы рассказать о поездке, а заодно и подивиться вместе с ним тому, какие еще благоглупости могут случаться в нашей стране, и как хорошо, что находятся мудрые государственные мужи, которые могут все это поправить.

— Тут, действительно, наш министр финансов Лазарев сработал под одну гребенку,— добродушно промолвил Ельцин,— мне Михаил Сергеевич позвонил, и я его поправил.— Он сделал паузу, и я уж собирался прощаться.— Но все равно,— добавил Ельцин неожиданно,— пусть это рассматривается как сигнал...

— То есть как? — только и нашелся я спросить.

Предложение о десятикратном сокращении МИДа было, таким образом, вторым сигналом непонятливому министру.

Сидя уже на заседании, я постоянно ловил себя на том, что думаю не столько о своем предстоящем выступлении перед членами Госсовета, сколько о прошедшей утром коллегии МИДа.

После предварительных разговоров с Горбачевым и Ельциным у меня стало спокойнее на душе. Но еще в Мадриде

меня задели сообщения о панике, которая в очередной раз поднялась в МИДе, призывы «спасаться, кто как может», из-за которых я вынужден был на день раньше оставить-таки горящие ближневосточные дела.

А я-то миндальничал, когда на меня со всех сторон давили и требовали по-комисарски расправиться с коллективом, который, по словам прессы, заразился трусостью от своего бывшего руководителя.

Я решил, что в понедельник перед заседанием Госсовета обязательно соберу коллегию и скажу все, что я о таких панкерах думаю. Ну и пригласу прессу, нашу и зарубежную. Пусть не в кулуарах, а от меня все услышат. А заодно расскажу, с какой программой иду на заседание Госсовета. Прежде всего им, конечно, захочется услышать о внутренних перестройках. Так вот — будет Совет министров иностранных дел Союза и республик — высший консультативный орган, где мы будем рассматривать крупные проблемы с учетом интересов независимых государств, чтобы не попадать в трудное положение, как было с Афганистаном или с той же резолюцией о сионизме, когда министры среднеазиатских республик вправе были посетовать, что с ними не проконсультировались заранее, хотя, по существу-то, все потом согласились, что действовали мы правильно... Для повседневной корректировки политики будет создан постоянный секретариат СМИД, в посольствах — полномочные представители республик.

Ну и, конечно, с учетом нынешних трудностей, да и с

точки зрения здравого смысла, и центральный аппарат и посольства придется сократить примерно на одну треть, в основном за счет «соседей». При сокращении дипломатов будем, естественно, учитьвать профессионализм, а также моральный настрой. Что это такое, спросят. Вот для этого я и оттачивал мысленно свой коронный пассаж. Сейчас я не смогу воспроизвести его буквально. Но, помню, я сказал тогда — сам донельзя взволнованный тем, что сейчас от меня услышат, с дрожавшими губами, что вообще-то было непростительным для министра, а на деле и производило самое большое впечатление — примирно следующее. Что-то не видно и не слышно было массовых петиций в дни путча, когда на карте стояла судьба страны. Не слышно было и критики министра, которого одолел «дипломатический недуг», так что он оставил на произвол судьбы все министерство, и мы теперь третий месяц вынуждены объясняться в прессе, а то и в прокуратуре РСФСР. Тогда протестующих были единицы. А теперь, когда опасность подстерегает не стражу, а всего-навсегда

го наши портфели, тут и массовое паломничество, и петиции, и требования отзывать министра с Мадридской конференции, где идет одно из самых драматических дипломатических сражений эпохи.

В конце концов я имел на это моральное право, потому что делал все, чтобы не разгромить МИД вслед за разгромом путча. А тогда немногие отличали «высотку» на Смоленской площади от «стакана», как в народе называли памятник Дзержинскому перед зданием КГБ.

Я закрыл коллегию, не начиная прений: уже опаздывал в Кремль. Петровский только успел шепнуть мне по дороге к лифту — это то, что нужно было. Это — на уровне Праги. Ну вот. А на Госсовете, как ни странно, обсуждение наших предложений прошло даже спокойнее, чем я ожидал.

Выслушали меня, выслушали Горбачева, который решительно поддержал все мои предложения. В прениях первым выступил Борис Николаевич. Сказал, что если, мол, у него и были кое-какие сомнения, то доклад министра развеял их. То, что предлагаются — заслуживает одобрения. Главное — продумана система координации работы с министерствами независимых государств. «Ну а то, что сократить придется на одну треть, так это — не в десять же раз, — он благодушно улыбнулся, давая понять, что вопрос с «метафорой» таким образом исчерпан. — Это только на пользу пойдет. Прямо скажем, — тут голос его окреп, налился медью, — есть с кем расстаться, а кое-кого, скажем, и выбросить. В том числе и из посольств. Какую они абракадабру иной раз пишут и как ведут себя многие во время путча, всем известно. Будем надеяться, что у нового министра силы воли хватит нашу линию проповести. Рука у него крепкая. Я это по Праге знаю.

На этом прения закончились. Я уже усвоил — демократия демократией, равенство равенством, а с Борисом Николаевичем даже в этом уважаемом собрании мало кто спорить отваживался. Предложения были приняты на этом заседании «за основу», а на следующем — за четыре дня до моей отставки — окончательно.

В игре были уже совсем другие ставки. Сохранится Союз, — рассуждал, по всей вероятности, Борис Николаевич, — реорганизованное министерство сможет успешно выполнить свою миссию. Если нет, то в том виде, как оно нам сейчас представлено, оно сослужит хорошую службу и самостоятельной России. Так оно, кстати, и случилось, когда после создания СНГ именно Россия была признана мировым сообществом страной — продолжателем Советского Союза во внешней политике. И структура та же. Да и политика.

Так что наша пресса преувеличивала так называемое противостояние МИДа и руководства России, когда аршинными заголовками встречала каждый следующий, реальный или мнимый, поворот в судьбе министерства.

Поезд промчался мимо, а на перроне все еще звонили в колокол то за упокой, то за здравие.

— Союзный МИД — с новым министром и неясным будущим.

— Высотка на Смоленской превращается в Дом советов. — Землетрясение на Смоленской площади (это когда прозвучало требование сократить МИД в 10 раз).

— Судьба МИДа решается в эти дни.

— Ельцин предложил Панкину похудеть в 10 раз.

— Судьба союзного МИДа остается неясной.

— Панкин сократит МИД сам. Но не без помощи Ельцина. (После первого заседания Госсовета.)

— Я ускользнул от эскалата. Худой, обритый, но живой.

(После второго заседания Госсовета.)

Горбачев раскладывал тот же пасьянс на свой лад. Ему все больше становилось понятным, что одной внешней политикой не поддержать угасающий престиж союзного государства. А тут еще «Независимая газета» с таким аншлагом: «Внешняя политика союзного руководства активизируется в отличие от внутренней». По мнению автора, слова Пастernaka, которыми заканчивалась моя речь в ООН, — «услышать будущего зов» — получили довольно быстрый отклик в беспрецедентной инициативе президента Буша в области ядерного разоружения. Точно так же, как и ответное выступление Горбачева «не в последнюю очередь явилось следствием переговоров и заявлений в Нью-Йорке». «При помощи МИДа, — писал автор, — удалось активизировать, наконец, фактор внешней помощи». Ну и так далее.

С другой стороны, утверждала газета, «хотя нынешними внешнеполитическими инициативами мог бы гордиться и МИД элохи Шеварднадзе, сегодняшнюю внешнюю политику Советского Союза можно рассматривать и в другом ракурсе: если и не как набор благих пожеланий, то максимум как комплекс благородных шагов, не подкрепленных, увы, стабильной внутриполитической и экономической базой. Отсюда и серьезный разрыв между внешней и внутренней политикой».

Перспективы проектируемого им Союза суворенных государств все с большей неизбежностью приводили Президента к выводу, что уже в недалеком будущем внешнеполитическому ведомству придется иметь дело с бывшими республи-

ками, а здесь больше шансов на успех у Шеварднадзе, который, как ни говори, половину своей карьеры провел на посту партийного лидера одной из самых «трудных» и поэтому были для членов Госсовета и ближе, и предсказуемее. Не случайно, чуть ли не на следующий день после своего второго вступления в должность министра, он заявил, что отменил все зарубежные поездки и собирается вояж по суверенным республикам Союза. Но времени на это уже не было отпущенено и ему.

Мне Президент предложил должность Государственного советника по внешнеполитическим делам, которую он намеревался специально создать.

— Это — как Яковлев, — добавил он, желая подчеркнуть значимость сделанного им предложения. Ему ясно виделся американский варант. Панкин — Скоукрофт, Шеварднадзе — Бейкер. «Будем работать втроем». По-своему он был прав. Но я отказался:

— Не хочу и не смогу быть помощником.

— Но советник — это другое. Помощник у меня — Чечняев.

Нет, по сравнению с советником, положение посла, как и положение министра, пусть и на несравненно более скромном уровне, давало больше возможности оставаться самим собой. Президент согласился со мной, но, желаю, видимо, еще раз подчеркнуть искренность своих намерений, назначил меня членом политического консультативного Совета, в который тогда входили и Яковлев, и Шеварднадзе, и Явлинский...

Наш первый разговор на эту тему состоялся, как я уже говорил, 18 ноября 1991 года. Назначение в Лондон — 19-го. 26 ноября я был уже в столице Соединенного Королевства. Через две недели меня ждало новое испытание. Снова — выбор.

Встрече в Беловежской Пуще, как известно, предшествовал референдум на Украине, в ходе которого большинство населения высказалось за ее независимость. Точно так же немногим менее года назад высказалась за сохранение Советского Союза. Действительно ли они исключают друг друга — два эти ответа? К тому времени мы уже так запутались в терминологии, что только толковать итоги очередного референдума, действительно, можно было по-разному. Так что когда и Ельцин, и Горбачев повторяли, что без Украины не мыслят Союза, они произносили одни и те же слова, но вкладывали в них разный смысл. По Ельцину, Россия не оставалась иного выхода, как последовать примеру Украины. По Горба-

чеву — Украина и после референдума не была отрезанным ломтем.

Наступил последний раунд их сотрудничества-противоборства. «Люблю-ненавижу» — формула, открытая еще античными греками.

Сейчас мало найдется даже среди самых отъявленных фаталистов людей, которые бы решились утверждать, что развитие государства, обществ, народов, судьбы отдельных людей — инвариантны, детерминированы.

Для миллионов и миллионов людей, наблюдавших за этим единоборством издалека, ход событий и вправь казался фатальным, предопределенным. Одни, веря в идею Союза, не сомневались в конечном успехе Горбачева, для других столь же несомненной представлялась победа Ельцина. Затем и другим, поубеждению их сторонников и противников, — веление времени, лигатуры судьбы. Мое положение в эти три месяца — между августом и декабрем, подарило мне редчайшую возможность воочию увидеть, как и под влиянием чего работают механизмы, колесики и шестеренки истории, убедиться, что ее стрелки, словно у часов на Спасской башне или на Биг Бене, могут указывать точное время, а могут притормозить или, наоборот, побежкать вперед.

Я утверждаю — до того самого момента, когда грянул гром из заповедной Беловежской Пущи, Запад продолжал поддерживать Горбачева, делал ставку на него и его идею обновленного,бросившего ярмо тоталитаризма демократического Союза. Беседы в Мадриде — одно из последних свидетельств этому. То, что он мог ошибаться, неоправданно медлить, противоречить самому себе,— казалось Западу простильным и поправимым.

Через неделю после моего появления в Лондоне в посолстве собрались эксперты-политологи, специалисты по нашей стране. Что потянуло их на наш огонек? Наверное, редкая возможность откровенно поговорить с «человеком оттуда», он только вчера еще варился в самой гуще того котла, за температурой которого с замиранием сердца следит весь мир. Мне они напомнили пожарную команду, которая, оглашая улицы города тревожными гудками, спешит на помоинь, пренебрегая сигналами светофора и тесня на обочину пешеходов и осадной транспорт.

— Надо, — говорили они, видя, как изо дня в день захлебывается Ново-Огаревский процесс, — надо круто повернуть его движение. Не 10 или 9, или 11 плюс 1, а сначала 10 или 11, или 8 (дело не в этом в конце концов), а потом 1. То есть пусть сначала президенты независимых государств

сами договорятся между собой, как они видят взаимодействие своих государств и какую роль отводят координационным органам. И потом придут с этим в Кремль, к Горбачеву. Только пусть они и президенты заранее объявят, что решили пойти таким путем. Чем меньше сюрпризов в вашей и без того уже взбудораженной стране, тем лучше.

Мне их рассуждения показались резонными. Как говорится в одной из популярных песен: «Нормальные герои всегда идут в обход». К одной и той же цели, а ею оставался Союзный договор и сохранение столиц необходимых для нашего развития единых пространств — политического, экономического, оборонного, внешнеполитического, тех самых, вокруг которых был все эти три месяца Государственный Совет,— можно, действительно, двигаться различными способами.

— Это, — настаивали англичане, — единственная возможность ввести в берега, во всеобщих интересах, набравший уже критическую скорость центробежный процесс.

Я послал срочную шифровку в Москву. Ответа не было. У Горбачева опять нехватило воли. У Ельцина — снова выдержки. Извечное наше революционное нетерпение. В результате родился СНГ.

С трибуны 46-й сессии Генеральной Ассамблеи я говорил о «новых рисках нового периода истории» и к их числу относили вирус национализма, к которому «все или почти все мы оказались не готовыми...». Очистительные бури прошумели над просторами Центральной и Восточной Европы, принесли многообещающую свободу, возродили достоинство, самоуважение, веру в высокое предназначение человека на Земле. И не стремление к свободе виной тому, что всплеск враждебности на национальной почве охватил мир, как вспышка давно забытых эпидемий. Древние, заглушенные было инстинкты пробудились в новой, не для них создававшейся среде. И всему этому сопутствует угроза экономического хаоса, накал социальных противоречий, беженцы, болезни».

Нет, не спешу записываться в пророки. Менее всего думал тогда о нашей стране, хотя помнил и о Нагорном Карабахе, и о Южной Осетии, и о Молдавском Приднестровье. Перед глазами был образ неотвратимо вплывавшей в ужас гражданской войны Югославии... Но то, что в моей речи, более чем годовой давности, квалифицировалось лишь как угроза — стало теперь повседневной реальностью, нависшей над благополучием, правами, да и самой жизнью уже миллионов.

Происходящая по стечению исторических, объективных и субъективных, обстоятельств подмена одного понятия другим

гим — демократии — независимостью, национальной или государственной, — вот, на мой взгляд, причина тех бед, которые переживают сейчас вместе с нами многие страны Восточной и Центральной Европы. И то, что вирус национализма поразил именно те страны, где на протяжении десятилетий господствовала коммунистическая диктатура, — самая Убедительная иллюстрация этого. Ну а то, что на поприще национализма обрела второе дыхание бывшая партийная номенклатура, — это уж сугубо наша, советско-соалистическая особенность.

В медицинской науке есть такое понятие — «меченный атом». Определенным образом атом запускают в организм человека и, благодаря «мечке» на нем, следят за его путешесствием сквозь ткани, сосуды, органы, проверяя его прходимость здоровье и болезнь организма. Таким «меченым атомом» представляется мне Гейдар Алиев. Проследив зигзаги его карьеры, можно многое узнать об истинной природе того, что по ошибке называют национализмом. Верный и ревностный сподвижник Брежнева — мало кто из республиканских лидеров мог так угощать Леониду Ильичу — он процветал и в короткую пору Андропова, да и в годы перестройки не сразу впал в немилость, постепенно проходился со своими регалиями первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджана, первого заместителя председателя Совета министров СССР, члена Политбюро. Но вот, казалось бы, и конец карьеры. Ах нет! До сих пор считалось, что только Ельцину в условиях прежней административно-командной системы удалось вернуться к политической жизни. Okazyvается, демократическая система, только рождающаяся на развалинах тоталитаризма, способна возвращать из не-бытия и фигуры совсем другого покрова.

Словно старый конь при звуках боевой трубы Алиев ожидает при первых же признаках обострения отношений между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. Вот, оказывается, кто первый ревнитель интересов этой автомойской области, а заодно и всей республики в целом. Мы обнаруживаем его сначала в рядах выбранного уже народным волеизъвлением парламента Азербайджана. Затем он — президент Нахичеванской республики, где всеобщую популярность снискал попыткой «национализировать» находившиеся там воинские части Вооруженных Сил СССР. И не было в эту пору большего обличителя советской власти и бывшего коммунистического режима, чем этот бывший член Политбюро.

Но вот под давлением народного фронта республики по-

дает в отставку президент Муталибов. Тоже в прошлом партийный деятель крупного масштаба, он оказался, с точки зрения «оппозиционных сил», все же недостаточно бескомпромиссным в борьбе с Арменией за Нагорный Карабах. И Верховный Совет Азербайджана, свергнувший Муталибова и взявший на себя всю полноту власти, избирает заместителем председателя Алиева Гейдара Алиевича.

Когда с той же трибуны Генеральный Ассамблеи ООН я сказал, что восемь республик, которые на протяжении трех недель после путча объявили о своей независимости, — бежали не от Союза как такового, а от угрозы реставрации тоталитаризма, кто-то из моих друзей добавил: «И от угрозы демократии».

И теперь приходится принять эту поправку.

Роковой ошибкой было бы думать, что такие, как Алиев, примеривавшийся и к посту президента независимого Азербайджана, и, к примеру, такие деятели, как «черные полковники» Алексис и Петрушенко, Лигачев и генерал Макашов, стоят по разные стороны баррикад. И тех и других привлекают одно — власть.

Только Макашов — за восстановление тоталитаризма на просторах всего бывшего Советского Союза, а Алиев, так ему выпало, готов, так уж и быть, удовлетвориться восстановлением былого господства в одной, отдельно взятой республике или даже республичке.

Большевизм в моем представлении — это не только принадлежность к известной партии ленинского типа, которая вроде бы перестала уже существовать. И не только идеология. Это шире, чем мировоззрение. Это, скорее, один из архетипов человеческой природы вообще. И как мы находим вдалеких и совершенно непохожих друг на друга современных языках общие элементы, доставшиеся им от какого-нибудь прародителя, наследующего не один десяток тысяч лет, как «меченные атомы» большевизма, мы обнаруживаем там, где никак не ожидаешь их встретить.

И коль скоро в силу каких-то закономерностей, о которых нет возможности сейчас говорить, скопление этих атомов, как существо обломков звезд в той или иной галактике, достигло критических величин именно в нашей стране, то мы и по сю пору, после стольких уже социальных и политических взрывов, призванных их развеять, страдаем от них больше, чем другие страны.

Под большевизмом, говоря проще, я понимаю, как это ни парадоксально, потребность меньшинства господствовать над большинством. Ленин ведь, за исключением одного эпизода в

истории партии, как раз и давшего ей название — большевистская, никогда не была в большинстве. Он был романтиком своеобразия и вседозволенности для «сплоченного меньшинства», его мистической, основанной на силе внушения власти над большинством, которое Ленин чаще предпочитал называть массой. Массу можно лепить, ваять и выстраивать в нужном тебе порядке.

Большевизм — это пренебрежение к другому мнению. Готовность идти к цели направлением, нетерпение достичь ее. Сталин, помнится, разъяснял Лиону Фейхтвангеру, что в принципе-то социалистическое государство ставит перед собой те же цели, что и буржуазно-парламентарное. Только вот у рабоче-крестьянской власти времени нет на все эти парламентские штучки, на выборы, оппозицию, альтернативы в голосовании... Фейхтвангер, а уж, кажется, мудрее и изощреннее его не было тогда среди интеллектуалов Европы, горько обогащенных еще и опытом фашистской Германии, поверил ему, не увидел родства двух империй зла.

Не так ли и сегодня на Западе — модно аплодировать развалу Советского Союза и приветствовать создание на его месте новых «суворенных», подлинно независимых, освободившихся от имперского давления государств. А в иных под шумок аплодисментов восстанавливаются или консервируются все те же ненавистные нам контуры империи зла. Выбранные, как и прежде, без альтернативы и подавляющим большинством голосов президенты не торопятся, например, с экономической реформой или провозглашением права на частную собственность. Зато ищут случая ввести чрезвычайное положение, обрасти чрезвычайные полномочия, приостановить, до неких лучших времен, демократические выборы, заменить существующие выборные органы какими-нибудь специальными «полномоченными». Чем, кстати, не ленинские и сталинские комиссары? И то же объяснение — нет сейчас ни времени, ни возможности играть в демократические игры. Вот победим — кого? зачем? — тогда и вернемся к демократии.

Гадаем до сих пор — знал или не знал Горбачев о попытке путча в Литве в январе 1991 года или закулисных переговорах относительно разгрома демонстрации в Тбилиси в 1989 году. А в 1991 году ветеран партийного строительства, бывший первый секретарь ЦК партии Молдавии, а ныне первый свободно выбранный президент независимой Молдовы объявляет в стране такое чрезвычайное положение, вводит такую диктатуру, о которой не помышляли и гекачисты. А из-за чего? Из-за того, что русскому меньшинству в При-

днестровье захотелось того же от Молдовы, чего она сама захотела и добилась от пресловутого Центра.

Где тут логика? Для Молдовы независимость, а то и присоединение к Румынии, — шаг вперед к свободе и демократии. Автономия для гагаузов или русских в Приднестровье — возврат в прошлое тоталитарное прошлое.

А ведь за теми или иными символами, политики-административными терминами и понятиями — судьбы миллионов, десятки миллионов судеб, превращенных одним росчерком пера опять же в массы, которые мыкаются, неприкаянные, по бескрайним просторам бывшего Советского Союза, своей Родины, и выясняют, кто чай гражданин, кто в чай армии служит, кто теперь — коренной житель, а кто — национальное меньшинство.

И как всегда, горше других русским. Чуть ли не 30 миллионов русских, проживавших за пределами Российской Федерации, оказались вдруг то ли беженцами, то ли эмигрантами — с чем это сравнить?

Гневались на новые власти освободившихся от коммунистического ярма народов Чехо-Словакии, Венгрии, Польши, что слишком короткие, год-полтора, сроки дали они нам для вывода наших войск. А тут вооруженные силы СНГ (а потом — России) оказались оккупантами у себя дома — на Украине, в Белоруссии, в Молдове, в Грузии, где новый председатель ее Госсовета, один из инициаторов и архитекторов перестройки, разыгрывает карту вывода почти двухсоттысячного контингента. И куда? Все в Россию, где и так уже сотни тысяч семей офицеров не имеют крыши над головой.

В условиях искусственно созданной дезинтеграции, аллергии к интеграционным структурам Украины осталась наедине с Чернобылем, а Казахстан — с бедоту Аразского моря... И как раньше жаловались на веселые союзного Центра, так теперь все чаще и в СНГ, и за рубежом называют «большим братом» Россию.

Да и Черноморский флот, если бы его даже весь отдать, как того потребовал сгоряча Кравчук, Украина, что бы она с ним делала? Чем он, собственно, ей более необходим, чем то же тактическое ядерное оружие, от которого все теперь спешат избавиться? Тоже, кстати, дополнительное бремя для России, которое раньше было распределено более равномерно между республиками.

А сам Крым? Все знали, что Хрущев сморозил глупость,

когда под настроение «отдал» его Украине — как бы в аренду.

Но пока Россия с Украиной были — одно государство,

этой проблемы носила чисто умозрительный характер. Другое дело, когда они разводятся.

Такие примеры можно приводить без конца.

Не нами сказано — в одну воду невозможно войти дважды. Съезд народных депутатов СССР закончил свое бытие сначала патетически в Кремле 4 сентября 1991 года, потом — в виде фарса — в конце марта 1992 года в подмосковном совхозе Вороново.

Если и видеть реальные плюсы в появлении СНГ то zarównoе в том... что место Горбачева занял Ельцин. Хороши или плох Горбачев, велик он или мал, но он, как говорят в авиации, к тому времени выработал свой ресурс. И кажется мне, он и сам понял это — сразу после путча. Вижу теперь, что самое лучшее, что он мог сделать тогда — сразу уступить Ельцину место во главе Союза. Тогда бы и речи не было о СНГ.

Хороши ли, плох ли Ельцин, ему не миновать было использовать свой «ресурс», и именно понимание этого вело его все годы перестройки и месяцы после путча. Приводило и к озарениям, и поражениям, взлетам и провалам... Так или иначе теперь он стоит во главе нашей страны, пусть она и сократилась чуть ли не вполовину, подобно бальзаковской шагреневой коже.

Для нас, послов, создание СНГ было еще одним испытанием, еще одним выбором. И в силу всех упомянутых уже обстоятельств сделать его было труднее, чем в августе.

Вопрос о том, а не новый ли это путч — тихий и бескровный? — носился ведь в воздухе. Его задавали себе отнюдь не одни партийные ортодоксы, сторонники казарменного Советского Союза. Косвенным образом это признали и сами основатели Содружества, внеся со временем поправки в формулы первого своего документа. Вот и пришло беловежской тройке растигнуть этот процесс до конца декабря, пока Горбачев и союзный парламент не заявили, что процесс обрел легитимные формы.

В периоды кратких ломок, трансцедентальных изменений не все можно выразить и объяснить в терминах.

Попробуем вообразить, что августовские путчисты высутили бы с лозунгами демократии, права и рынка. Пожалуй, они бы не сидели в «Матросской тишине». Одни и те же люди носили Ельцина на руках за его служение демократии и готовы были отшатнуться от него после декабрьской встречи в Беларуси.

А между тем это один и тот же человек — в мучительных поисках стратегического пространства. Так что я бы теперь

не удивился, если бы, обретя всю полноту власти в России, занявшийся демократизацией экономики, Ельцин двинулся формально в обратном направлении, а на самом деле вперед — к более органической связью между странами СНГ, созданию реальных координационных структур, то есть всего того, что и было предусмотрено тем последним вариантом союзного договора, который смахнули со стола после встречи в Беловежской Пуще. И сейчас отсутствие, возможно, временное, в этом процессе Украины уже не напугало бы так, как в ноябре. Ее ведь, по сути дела, все равно нет. Уступка в виде СНГ не дала результатов, значит, надо искать новые пути. Новые ключи — к той же Украине. Опыт развития цивилизованных стран, на которые мы теперь поневоле оглядываемся, перестраивая свою жизнь на демократический манер, стран Европейского сообщества, к которым и в Западной Европе вдруг потянулись те, кто еще недавно сознательно держался в стороне, говорит, что сила — в единении, а не в разобщенности, в верховенстве общечеловеческих ценностей, таких, как парламентский строй, рыночная экономика, сурогатная сила права, а не в любовании этническими реликтами... Так, я надеюсь, будет и с нами.

— За кого вы? — спрашивали меня английские журналисты и, довольно жмурясь, ждали, что я отвечу.

— Я — за мой народ, за мою страну, — отвечал я.

Им я надеюсь послужить и этой книгой о своих ста днях в роли министра иностранных дел Советского Союза, которые почти полностью совпали с последними ста днями страны.

\* \* \*

Когда я в Лондоне смотрю по многочисленным телевизионным каналам программы новостей, они порой кажутся мне иллюстрациями к моей книге.

Сибхатулла Моджаддеи, с которым мы установили контакты в Нью-Йорке и говорили о перспективах создания переходного правительства в Афганистане, первым возглавил это правительство, торжественно въехав в Кабул после четырнадцати лет изгнания и борьбы.

Вместе с миссией ООН, с представителями ведущих политических, религиозных и этнических группировок он напряженно искал пути к согласию, примирению, цивилизованному развитию для этой многострадальной страны.

В Англии Джон Мейджор, сразу же после его переизбрания на посту премьер-министра страны, заявил в парламенте, что намерен сбросить покровы, «паутину секретности»,

как он выразился, с деятельностью внешней разведки: признал ее существование, назвал имя ее руководителя и заверил избирателей, что будет создано специальное законодательство, которое поставит эти органы под контроль парламента и исполнительных властей. Своевременный шаг вперед на пути разработки и международно-правовых норм для этого едва ли не самого коварного из всех видов человеческой деятельности.

Мелькнет на экранах телевидения знакомый облик Владимира Петровского. Мой первый «выдвиженец» стал заместителем нового Генерального секретаря ООН Бутроса Гали.

Жизнь показала, что щетными оказались попытки иных «вождей» наших бывших советских республик законсервировать тоталитарные порядки и номенклатурные нравы под предлогом борьбы за независимость. Когда в Грузии оппозиция вынудила Звияда Гамсахурдия сначала укрыться в подвале его президентского дворца, а потом и бежать, Владимир Максимов позвонил мне из Парижа и предрек, что не одного еще из такого рода лидеров ожидает подобная участь. Рокобайджанца Мугалибова и таджики Набиева. Демократия и свобода не нуждаются в искусственных границах и национальных перегородках.

Когда в сентябре прошлого года в Москве новые государства Балтии стали полноправными членами Хельсинского процесса, с трибуны Московской гуманитарной конференции звукали предупреждения, что вместе с правами они теперь приобретают и все обязанности независимых членов мирового сообщества. Увы, в своем развитии они не избежали серьезных деформаций законодательства о правах национальных меньшинств, и Россия пришлось обратиться к Европе с призывом задействовать в интересах соблюдения прав человека механизмы, созданные конференцией по человеческому измерению СБСЕ. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.

Россия активно продолжает свою роль сопредседателя на двусторонних и многосторонних переговорах Израиля с арабами, начатых в октябре прошлого года в Мадриде.

Вслед за министром иностранных дел ЮАР Питером Боттой, с которым мы подписали в Москве соглашение об установлении консульских отношений, в Москве побывал президент Де Клерк. Дипломатические отношения между Российской и ЮАР восстановлены и работают...

Вот только СМИД — Совет министров иностранных дел Союза и республик — пришло распустить в связи с распус-

ком самого Союза. Но сдается мне, мои бывшие коллеги все остнее чувствуют потребность в создании какой-то постоянной структуры для переговоров и встреч.

Закончить свою книгу я хочу ссылкой на польского филолога Софии Лешека Колоковского. Один из самых непримиримых борцов с тоталитаризмом написал похвальное слово... непоследовательности, которая для него является синонимом терпимости. «Раса непоследовательных людей,— пишет он,— продолжает оставаться одним из главных источников надежды на то, что род человеческий, быть может, сумеет сохранить жизнь. Потому что это та же порода, часть которой верит в Бога и в превосходство вечного спасения над мирными благами, но не требует возвращения костров для еретиков. Другая часть не верит в Бога и допускает революционные средства изменения в обществе, отказываясь, однако, от действий противоречащих моральной традиции, которая этих людей воспитала».

Терпимость — это тайное осознание противоречий, существующих в мире, и невозможности окончательных решений.

Сентябрь 1992 г.  
Лондон.

София Лешека Колоковской  
ОТС  
ХИЛИНА ЧОЛО  
ШПИК

## СОДЕРЖАНИЕ

Вступление первое — драматическое	2
Вступление второе — патетическое	4
Бумаги из «красного чемоданчика»	5
Эти жаркие дни в Москве . . .	72
Превыше всего! . . . .	82
«Пять принципов» Джеймса Бейкера	104
Дела министерские . . . .	13
Сентиментальное путешествие .	13
1. «Шведская модель» без социал-демократов	13
2. Прага: прошлое, которое становится будущим	17
Мы никогда не будем прежними	18
В Ближневосточном котле . . .	19
Мадрид — начало арабо-израильского диалога	22
Мадрид — последний саммит Горбачева	23
День последний — день первый?	23?

Борис Дмитриевич Панкин  
СТО  
ОБОРВАННЫХ  
ДНЕЙ

Редактор *Л Решетникова*  
Художественный редактор *Н Викторова*  
Технический редактор *Л Самсонова*  
Корректор *С Мироновская*

Сдано с набора 01.04.93. Подписано в печать 05.05.93. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 1 Гарнитура  
таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 17,15. Тираж 50 000 экз. Зак. 1869 С7

ТОО «Совершенно секретно» 121019, Москва, а/я 61

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы  
им. 50-летия СССР Министерства печати и информации Российской Федерации. 170040  
Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.



• СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО •